23/1-14

Индекс 70544

В ФОНД ПОМОЩИ ЖУРНАЛА «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Выслали в адрес редакции 50 р. Извините, что мало. Дожились мы, что и над нашим любимым журналом нависли грозовые тучи. Но ошибаются господа «демократы»: нас, подписчиков, почти 300 000, и если только по 10 р. в месяц посылать, то журнал будет жить. Через журнал я обращаюсь ко всем честным людям: Дорогие соотечественники! Товарищи! Не дадим погибнуть дорогому нам всем журналу! Если демократы и смогут задушить «Молодую гвардию», то и нам, его читателям, несдобровать, так как некому будет за нас заступиться.
Сохраним «Молодую гвардию» и будущее своих детей и внуков сохраним!

А.Л.БАРОНЕЦКИЙ и его семья (5 человек), г. Хабаровск

Преклоняюсь перед Вашим мужеством. Всецело с Вами. Понадоблюсь для защиты «МГ» — приеду драться. Шлю Вам помощь — 100 р. Буду посылать по сотне в 2—3 месяца.
Держитесь.

МУХИН А. В., г. Донецк-48

Послала 50 р. в помощь журналу. Продлю подписку за любую цену, т. к. люблю журнал «Молодая гвардия», потому что верить теперь «нашим руководителям» не могу.

ПЕСТОВА И. В., Воронежская обл., Семилукский р-н.

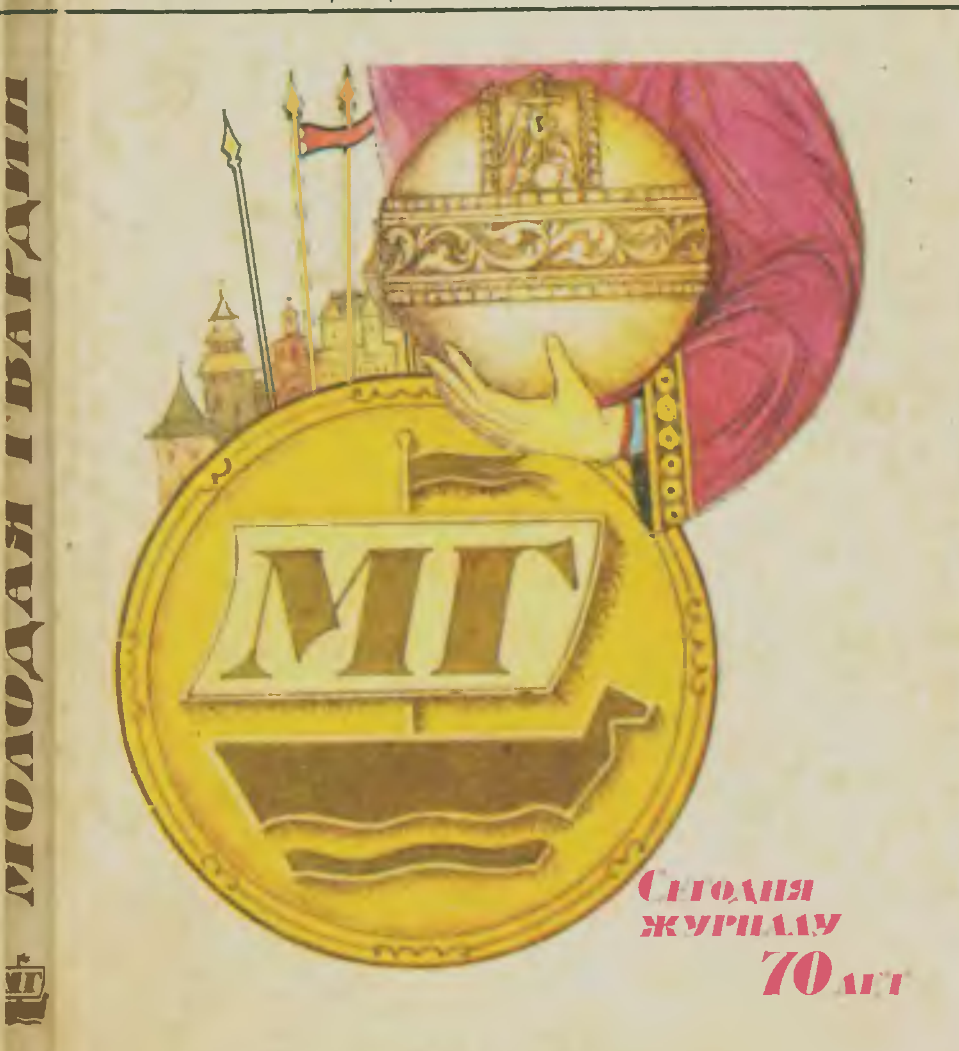
В фонд помощи журнала «Молодая гвардия» поступили переводы:
Аладьев Л. Л.— 25 р., г. Шахты; Алексеев В. Л.— 20 р., г. Якутск; Богословский Н.— 50 р., г. Москва; Болдырева Л. А.— 170 р., г. Москва; Верейкин И. В.— 242 р., г. Ярославль; Виноградова Т. М.— 40 р., г. Харьков-23; Волкова А. Г., Волкова С. Л.—100 р., г. Воркута; Гайфуллин Г. Х.—100 р., г. Златоуст; Галсайко И. Н.— 80 р., г. Старый Оскол; Даньяров Ю. С.— 100 р., г. Ашхабад; Захаров Л. А.— 50 р., Московская обл.; Иванова Н. Н.— 100 р., г. Кагалым; Кириченко Г. И.— 50 р., г. Ессентуки-30; Кочнев Д.— 50 р., г. Пущино, Московская обл.; Коврижин В. Н.— 40 р., г. Надым; Коваль А. Д.— 60 р., г. Калуга; Кокин В.— 10 р., г. Брянск; Конюхов В. Н.— 100 р., г. Петрозаводск; Кувалдина А. П.— 200 р., Тюменская обл.; Кузнецовы — 50 р., г. С.-Петербург; Макаров Г. М.— 20 р., г. С.-Петербург; Морозов В. И.— 50 р., г. Самара; Павловы — 25 р., Бурятская ССР; Подоняко Д. Ф.— 50 р., г. Москва; Русаков В. М.— 100 р., г. Феодосия; Рожков Б.— 500 р., Мурманская обл., п. Полярные Зори; Савостин В. Н.— 30 р., г. Воронеж; Семиколенова В. И.— 50 р., г. Москва; Смирнов А. М.— 100 р., г. С.-Петербург; Толяничев Н.— 30 р., г. Москва; Цыплакова Н. И.— 50 р., Московская обл.; Юрченко А. П.— 250 р., г. Чита.

Наш расчетный счет: 467449 в Тихвинском отделении Мосбизнесбанка, Москва, МФО 201533 АО «Молодая гвардия», для журнала «Молодая гвардия».
Благодарим наших читателей за поддержку.

1992 5-6 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ МГ



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ



МГ 70 ЛЕТ

В «МОЛОДУЮ ГВАРДИЮ»

Вот она, фраза из Апокалипсиса: «Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя!» Нет, мы уже более или менее точно знаем, когда ЭТО нашло на нас. Последней надеждой земного спасения был социализм. Он рухнул. И теперь мы ждем каждое наступающее утро, подобно нераскаявшимся изменникам перед Судным днем. И пока еще никто из придворных бульдозеристов, рушивших стены и фундамент, не посыпает голову пеплом и не уходит с покаянием ни в обманутый растерянный народ, ни в полумертвую природу, как уходят и уходили когда-то в монастырь замаливать страшные грехи.

Между тем наша экономика работает на последних оборотах — перед остановкой всех механизмов.

«Ты одной рукой рубишь его, древко знамени, а другой ловишь какое-то для нас еще неведомое древко»,— писал Тургенев Герцену в 1862 году (Письма, стр. 237, том 1-й).

Мы срубили древко старого знамени, но держим ли мы новое древко в руках? И что же это за древко? И древко ли это?

И тут я имею в виду божественную надежду в смысле жизни, где главное не знамена над головой, а другое: вера и разумение.

Пожалуй, бесспорно, что англичане понимают разум как здравый смысл, французы — как остроумие, русские — как раздумчивую неторопливость осмысления. Все это не одно и то же, как, скажем, хорошо отрегулированный конвейер производства газетно-политических озлобленных острот в адрес госпожи истории и русского народа,— здесь еще далеко до блеска разумения и роскошества экспромтов.

Лишь неторопливый ум хоть и делает ошибки в муках и сомнениях, но приближает будущее.

Я люблю журнал «Молодая гвардия», самый серьезный журнал из нашей периодики, за совестливость, отважную позицию, верность убеждениям и неиссякаемую молодость чувств.

В золотую пору вашего юбилея да поможет вам Бог!

Ваш Юрий БОНДАРЕВ

МГ 1992 5-6

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Основан в 1922 году

Москва, Акционерное общество «Молодая гвардия»

В НОМЕРЕ:

На первой странице обложки журнала: Композиция Г. Орлова и Л. Воробьевой «Молодой гвардии» — 70 лет».

«Молодая гвардия», 1992, № 5—6, 1—288

НАШ АДРЕС:

125015, Москва, Новодмитровская ул., 5а, телефоны редакции: для справок: — 285-88-58, 285-56-90, отдел прозы — 285-80-15, отдел поэзии — 285-88-40, отдел очерка и публицистики — 285-80-26, отдел критики — 285-80-14, отдел «Товарищ» — 285-89-66.

© «Молодая гвардия», 1992 г.



ПРАЗДНИК ГОРЕЧИ И НАДЕЖДЫ

Сегодня «Молодой гвардии» 70 лет. Но для нас, работников журнала, и для миллионов его читателей это горький праздник. Наша Родина, еще недавно могучая и великая, в том числе и литературными традициями и достижениями всех населяющих ее народов, ныне лежит в страшной разрухе. До катастрофического положения доведены многие периодические издания, среди них и наш журнал. Искусственно вздутыми ценами на бумагу, на полиграфические материалы (в 100 и более раз) правители-«демократы» толкают журнал на край пропасти. Но о себе ли нам беспокоиться, когда народ обобран до нитки, обнищал до предела, когда матери убивают своих детей, в лучшем случае подбрасывают их в детские дома, ибо кормить детей многим уже нечем. Дошло до того, что люди едят кошек, собак, в печати сообщается даже о случаях людоедства. Дожили...

А виновник развала страны, виновник геноцида народов и гражданской войны, полыхающей на обломках Союза, виновник мучительной смерти от голода и пуль детей, стариков, женщин, погубитель наших нравственных ценностей и в конечном счете — могильщик советской власти и социализма, проклинаемый теперь советскими людьми, бывший лжепрезидент и лжегенсек КПСС М. Горбачев, называемый ими не иначе, как величайший преступник всех времен и народов, этот «герой» Нобеля и Буша живет и процветает вместе с другими такими же перестройщиками-преступниками. Они как пили, так и пьют народную кровушку. И заботятся лишь о себе да о благополучии лжепредпринимателей, спекулянтов, преступных мафиозных кланов. Не потому ли, что это позволяет архитекторам перестройки, прикрываясь маской демократии, самим преступными способами фантастически обогащаться?

Таково положение в стране, в которой «Молодая гвардия» остается одним из немногих изданий, осмеливающихся говорить суровую и горькую правду о нашем прошлом, нашем настоящем.

«Молодая гвардия» — старейший в стране «толстый» литературно-художественный ежемесячник. За 70 лет жизни журнала какие только литературные страсти и социально-политические бури не бушевали на его стреницах! В яростных схватках тут сшибались акмеисты, имажинисты, рапповцы, вапповцы, лефовцы, троцкисты, коммунисты... Но журнал всегда был на стороне писателей, художников, политиков прогрессивных. Этим объясняется публикация на его страницах стихов, прозы, публицистики М. Горького, В. Маяковского, С. Есенина, А. Фадеева, Д. Фурманова, А. Новикова-Прибоя,

Серго Орджоникидзе, Н. Островского, В. Шишкова, Ф. Гледкова, М. Келинина, Я. Гашека, Р. Роллана, М. Исаковского, М. Шолохова, Л. Леонова и многих-многих других.

Этой традиции «Молодая гвардия» верна и на протяжении последних десятилетий. В журнале печатались и печатаются произведения лучших современных авторов — Ю. Бондарева, В. Федорове, М. Алексеева, П. Проскурина, И. Стаднюка, В. Бушина, М. Любомудрова, Э. Скобелева, В. Сорокина, Т. Глушковой, В. Чивилихине, А. Кузьмича, А. Долметовского, С. Воронина, Н. Федя, В. Фирсова, С. Острового, Э. Володина, Ф. Чуева, В. Смирнова, Д. Жукова, Ю. Сергеева, Н. Дорошенко, И. Лысцова, В. Пикуля, С. Викулова, И. Ляпина, О. Кожуховой, Ю. Калабухова, Е. Мысловского, М. Лобанова, В. Канашкине, В. Васильева, А. Кузьмина и Н. Кузьмина и многих-многих других, всех и перечислить невозможно. Десятки молодых талантов встали на крыло из гнезда «Молодой гвердии». Сотни начинающих авторов получили у нас свое литературное благословение.

В общем, на протяжении всех 70 лет журнал вел напряженные идеологические бои, покой его работникам только снился.

Тем более лишь снится этот покой сейчас, когда во всей серьезности встал вопрос о дальнейшей судьбе журнала, о его выживении. Наряду с экономическими проблемами, о которых говорилось выше, прибавились вдруг иные...

Задушить журнал экономической петлей господа «демократы» стараются все остервенелее, но это если и возможно, то долго. А им не терпится расправиться с «Молодой гвардией». И потому они попытались взорвать журнал испытанным провокаторско-диверсионным методом — изнутри.

Сами по себе такие попытки не новы, а в наше время они повторяются по одному и тому же сценарию столь часто, что поневоле приходишь к мысли о продуманной системе давления, интриг и расправы с инакомыслием, рассчитанной на раскол и размежевание патриотических сил.

Вспомним ситуацию с расколом и попыткой задушить в эфире невзоровские «600 секунд»... Или не прекращающиеся попытки дискредитировать в глазах общественного мнения и расколоть Российский фонд культуры, Союз писателей РСФСР (России), равно как и Московскую, Ленинградскую и ряд других писательских организаций, редакций газет, журналов, издательств. «Застрельщики» перестройки всех делят на черных и белых, чистых и нечистых, на консерваторов и неодемократов. По этому принципу массированному давлению и расколу подверглись многие патриотические движения и оргенизации России.

Так вот, все по тому же сценарию коллективу «Молодой гвардии» попытались навязать некое «альтернативное мнение» наши вчерашние коллеги, потребовав смены патриотического курса журнела. Рабочие, крестьяне, трудовая интеллигенция, одним словом, народ, для них быдло, с которым можно и не считаться, которым надо только управлять... Их популистский «демократизм» свелся к нехитрому замыслу: провозглесить монархизм ведущей идеей журнала, а под эту идею получить от новых предпринимателей и нуворишей определенные субсидии, которые, дескеть, и спасут журнал от экономического краха.

Что на это сказать... Не новая песня. Тяжелое время переживаем. Не каждому хватает сил, выдержки, е тем более стойкости и

убежденности пройти через испытания с честью. Наивно переубеждать тех, кто заблуждается сознательно. Кто вместо прямого и честного разговора избрал путь интриг и подсиживания. А что до нуворишей, так ни один из них после нашего тревожного обращения к читателям в № 1—2, 1992 г. не пришел в редакцию и не предложил для спасения журнала не то что миллион или два, а даже и двугривенного не дал. Зато шлют почтой и гелеграфом, может быть, последние свои сбережения самые простые люди, чей достаток по нынешним временам не укладывается в нормельные представления о минимальном прожиточном уровне.

На днях принесла свои скромные сбережения в редакцию женщина с Арбата, не назвавшая себя по имени только потому, что на работе ее окружают сплошь «демократы» и «демократки» — эти, по ее словам, могут и последнего куска хлеба лишить за симпатии к «Молодой гвардии». А недевно зашла в редакцию пожилая женщина, судя по всему, пенсионерка, Яковлева Нина Васильевна и от себя и от своей подружки Лопатиной Анны Леонидовны передала 131 рубль. Да для нас эти рубли дороже многих миллионов! И если даже петля экономического геноцида затянется на журнале, эти рубли народного вспомоществования ему, оставшись и в нашей памяти, и в пемяти тех, кто их собирел и жертвовал, будут продолжать работать в народном сознании не патриотическую идею единения и спасения Родины.

Нам не хотелось бы назыветь по именам наших «раскольников». Не столько потому, что они недостойны геростратовой славы, сколько потому, что урок, возможно, пойдет им впрок. Разумеется, они ушли из журнела — редакционная коллегия «Молодой гвердии» высказалась на этот счет решительно и однозначно.

Но одно имя — человека со стороны — мы назовем. Вчерешний наш автор журнапа, этот новый литературный приветизатор, поборник монархизма возомнил себя Лжедмитрием, безапелляционно заявив, что он готов возглавить журнал, готов за это привести миллионеров-спасителей... Имя этого литературного самозванце — Станислав Золотцев. Именно он выходит не связь с представителями, по его словам, «...коммерческо-делового мира (можно назвать их людьми Русского бизнеса) и промышленников... Каждый из них способен спасти «МГ», финансировать ее производство и обеспечить ее бумагой — но не в нынешнем ее облике (настеиваю — все еще несколько большевистском) и не с нынешним ее руководителем. Грубо говоря, мне они соглесны помочь, Иванову — нет...».

Интересно, что же это за «люди Русского бизнеса»? Уж не Боровой ли Константин Натанович один из них? Сей представитель «Русского бизнеса» уже, кажется, купил и контролирует Центральное телевидение?..

В общем, вот такое «подметное письмо» новоявленного литературного Лжедмитрия в ответ якобы «на предложение ряда членов редколлегии встретиться с ними на предмет возможности возглавить журнал» появилось в редакции. Но этот «предмет возможности» иссяк, не успев появиться... Дело, однако, в том, что сей Лжедмитрий в отличие от печально известного Гришки Отрепьева служит не монахом-чернецом, а является еще и нештатным секретарем правления СП РСФСР. Не исключено, что, потерпев очередное фиаско в захвате «литературного трона», он теперь решит (при заплечной поддержке миллионеров) возглавить и пи-

сательский «трон» России. Ведь у этих золотцевых мерилом всего являются рубли и доллары, поэтому-то они так безжалостно и рубят то, чего не строили.

Да, редколлегия «Молодой гвардии» осудила «демокретических» путчистов-монархистов, отвергла их попытки изменения патриотической линии журнела. И не только потому, что бунт наших доморощенных макакавок построен на чрезмерном честолюбии и болезненном эгоцентризме — качества, не которых, несомненно, сыграли «поджигатели» «Молодой гвардии». Декларируемый патриотизм ничего не стоит, если он не подкреплен делом. Стоило редколлегии журнала принять решение о прекращении выпуска журнале в журнале «Товарищ», а одно это дает нам годовую экономию в расходах по выпуску журнала на 7—8 миллионов рублей в год, как «патриот», редактор «Товарища», стал подзуживать коллектив на раскол. Другой «заговорщик» со всем своим патриотизмом не нашел возможности представить в юбилейный номер журнала ни одного принципиального материала по разделу публицистики. Вся их энергия ушла на подготовку бунта макакавок.

Особенно важно, что редколлегия отвергла не только раскольничество как таковое, но были отвергнуты также и предложения «путчистов» навязать журналу так называемую «антисемитскую линию». Совершенно очевидно, что это была попытка вовлечь журнал, его авторов и читателей в русло политической провокации крупного масштеба. Но таковы уж наши «патриоты» — не мытьем, так катаньем, а дай им развалить журнал.

Не дали и не дадим. И я пишу обо всем этом подробно и откровенно для того, чтобы многомиллионные массы читателей «Молодой гвардии» знали, в какой непростой обстановке приходится ныне работать коллективу журнала и кто в случае его гибели должен будет понести свою тяжкую долю вины перед читателями, перед литературой, перед Отечеством.

Здравые силы редакционного коллектива и редколлегии принимеют все меры, направленные на выживание журнала, на сохранение и развитие его творческого потенциала. И я от их имени заявляю, что линия журнале останется прежней, патриотической. Мы никогда не опустимся, как бы нас на это ни подталкивали, до проповеди антисемитизма (что как раз и выгодно сионизму!), ибо уважаем семитские народы, как и все другие, но, естественно, будем, как и прежде, разоблачать разрушительную сионистскую политику и практику порабощения всего мира, в том числе и нашей страны. И, как прежде, мы будем тверды, отстаивая принципы социельной справедливости и гражданственности, будем бороться за возрождение из пепла любимого нашего Отечества.

Да, с грустью отмечаем мы 70-летний юбилей «Молодой гвардии». Нам горько еще и от того, что в этом, юбилейном, номере сообщаем своим читателям — **чтобы выжить, мы вынуждены поднять цену за один номер до 40 рублей.** Другого выхода, увы, нет. Но питаем надежду, что с вашей, дорогие читатели, поддержкой и помощью обязательно переживем это тяжкое время, выдержим. И последующие журнальные праздники будем встречать с улыбками и радостью в глазах!

Будьте бдительны!

Анвтолий ИВАНОВ,
главный редактор журнала «Молодая гвардия»



Михаил АЛЕКСЕЕВ

«Молодой гвардии» — 70 лет. Странно соединились два эти вроде бы совершенно несоединимые слова: «молодая» и «семьдесят». Право же, 70-летнего почтенного дедушку никак уж не назовешь молодым, как бы он ни бодрился.

А вот журнал — юбиляр и в свои 70 годков молод, по-молодому, бойцовски бесстрашен, дерзок и смел в защите самого дорогого и бесценного, что может быть у человека, — его Родины, Отечества.

Наградою ему — горячая любовь миллионов наших соотечественников и сограждан, которые злою волею нелюбящих раскиданы по углам нелепейшего и несуразного сооружении под столь же нелепым названием СНГ.

Наградою «Молодой гвардии» надобно считать и лютую ненависть к ней и к ее честным отважным сотрудникам — нелюбовь тех, кто пустил по миру с протянутой рукой вчера еще величайшую державу мира.

Держись же стойко, юная 70-летняя «Молодая гвардия»! Мы, твои читатели и твои авторы, с тобой!

За тобою Правда, самая надежная и мощная твоя опора.

Доброго тебе здоровья на многие лета.

Неси высоко свое знамя и гордо держи голову в эти горькие времена лихолетья!

Эдуард ВОЛОДИН

В аспирантские годы напечатал я в «Молодой гвардии» малюсенькую заметочку о воспоминаниях фронтового разведчика — полного кавалера ордена Славы С. Бородулина. Это было мое первое выступление в печати, и я его помню до сих пор. Можно сказать, что с журнала началась моя работа в прессе. До сих пор не знаю, хорошо это или плохо, но судьба состоялась, и в ней свою роль сыграл этот добротный, дерзкий и открытый для собеседников «толстый» ежемесячник.

Как и в самой жизни, в нем было всякое. Что-то было проходным, что-то серым и не совсем вразумительным, что-то ярким и запоминающимся... Но то, что журнал был и остается со своей позицией и со своей точкой зрения на происходящее, — это ясно видели читатели и тех далеких 60-х годов, и ясно видят наши современники, сполна вкусившие прелестей перестройки и катастрофического «обновления».

Я остаюсь преданным читателем журнала и желаю ему долголетия и мужества — для возрождения России и воспитания молодежи — нашего будущего, нашей надежды.

Виталий КАНАШКИН,
главный редактор журнала
«Кубань»

В потоке нынешней печатной продукции, где властвуют претенциозное тщеславие и произвол, покладистость и холуйство, пасквилянтство, наушничество и аршинничество, а генеральный тон задает меркантильно-клеветническая беспринципность, возведенная в принцип, журнал «Молодая гвардия» — подлинный оплот живого российского духа, средоточие здорового народно-исторического разума и надежды.

Как феномен с сугубо русским обличием, этот журнал заявил о себе на рубеже 60—70-х годов, когда соскоблил псевдоморфозу с дутых литоракулов евтушенковско-аксеновского толка и за скепсисом их словопрений обнаружил самое циничное приспособленне к обстоятельствам. До сей поры мои сердце и душа сохраняют великую признательность Михаилу Лобанову, чьи блистательные статьи о просвещенных мещанах и литературных торгашах-прихлебателях явили преддверие Правды-истины. В то «относительное» время, когда баклановы-ананьевы-чериченки мимикрировали, лгали и внедряли в общественное сознание несусветный вздор о развитом социализме и советском простом человеке, публицисты «Молодой гвардии» сумели на страницах своего детища дать ход такому Слову, которое не просто указало россиянам путь реального воссоединения с собственной душой, а и вызвало к жизни постоянную динамику: русское национальное самосознание.

Хочется верить, что «Молодая гвардия» выстоит в схватке со зловредно-исторической чумой, а эпоха вырождения сменится эпохой возрождения.

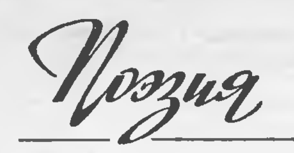
Галина ТЕПЛОВА

Поздравляя «Молодую гвардию» с 70-летием, я прежде всего поздравляю своих соотечественников с тем, что Слово, звучащее со страниц этого старейшего в нашей стране журнала, дает возможность сознавать себя Русским Человеком на Русской Земле, дает силы жить с Верою и Надеждой в Бессмертие Русского Народа, в настоящее и будущее Великого Государства Российского.

Спасибо и низкий Тебе поклон, «Молодая гвардия»!

Феликс ЧУЕВ

В наши дни, когда популярными действующими лицами стали предатели и перевертыши, «Молодая гвардия», безусловно, проигрывает в глазах тех, кому любезны сии деятели, ибо она не умеет изменять себе и своим читателям — молодежи разных поколений. Поэтому «Молодая гвардия» всегда Молодая и всегда Гвардия. А участь предателей в России, даже прикрытых благими намерениями, в конце концов всегда была позорной.



Евгений ЮШИН

ПЕСНЬ О РОССИИ

Запрягите розвальни мохноногим, рыжим.
Постелите-бросьте всклоченный тулуп.
И рванем что мочи — до Москвы — Парижа.
Облаками взбитыми — пена с конских губ.

И под лай собачий, и с искрой — по снегу,
С плящущей вожжою, с брагой по усам
Русскому привольно мчаться человеку,
Толстые сугробы жарить по задам.

И, подрезав свистом галок над ветвями,
Ощутить, вздохнувши раздымную высь,
Что попона потная пахнет муравьями —
Складной жизнью пахнет. Мы ль не любим жизнь?!

По дороге вабитой пьяные ухабы
Шубами свалились — меховейным сном.
Пышет пар от крупа, как от сдобной бабы,
Да летит над полем песня о былом.

О любови светлой да о доме ладном,
О стране-державе в роковые дни.
Все-то хорошо бы, все-то бы и ладно,
Только развалились розвальни мои.

Я сперва, конечно, раздобуду справу,
Вылажу полозья, выправлю оплек,
А потом, конечно, сколочу державу,
Чтоб не развалилась милая вовек.

И, подрезав свистом галок над ветвями,
Сквозь морозный озноб сможем ощутить,
Что попона потная пахнет муравьями —
Складной жизнью пахнет.
Только б сколотить.

Владимир ЦЫБИН

АРМАГЕДДОН

* * *

Мой век — это хаос и мгла:
безверье, бездумье, безвласть,
где старая ложь отошла
и новая ложь родилась.

Такая нам доля дана,
другие снести б не смогли.
Мы скорбную чашу до дна
испили за счастье земли.

На страшном пиру сатаны
то лгут, то талдычат, то льстят,
но слез заклейменной страны
ни время, ни мир не вместят.

Как братьям погибшим моим
одно суждено на роду,
что я пред судьбою нагим
Голгофою русской пройду.

Пройду — и забудут меня,
не страшно, что буду забыт,
ведь ужасом Судного Дня
по сирому миру сквозит...

* * *

Век двадцатый, век мой нищий
все отправил на помет,
за звездою на погосте
ворон ворона клюет.

Сколько перьев, сколько звона —
в хвост и в зрак,
с земли и влет —
там, где драка, нет закона:
ворон ворона клюет.

К гробовой прижался крышке
домовой, дрожа, как крот.
— Покар-раю! — до одышки
ворон ворона клюет.

Ворон сильный, ворон черный,
хочешь — жизнь мою развей,
но расслышит ли покорный
мир, вмерзаясь в мавзолей.

— Пропадаю, враг мой, ворон.
— Мочи нет, так клюй гранит,
где клейменая позором
правда мертвая смердит.

От Алтая до Синая
Кровь слепая, кровь больная
в венах времени течет.
Ворон ворона клюет...

* * *

Разбит гранит тяжелых статуй,
мертвы властители страны, —
и вот свободой бесноватой
по-рабски мы помрачнены.
Их, главарей новорощеных,
новокрещеных — невпрогляд...
Над смертью вод порабощенных
подвешен мертвый листопад.
И беспросветная морока
стоит все так же над душой,
лжет счастье. Сердце одиноко.
В чужом столетье ты — чужой.
Пусть глух и нем простор бесправный,
не зря ж о том, что сгинет мгла,
звенят над Русью православной
воскресшие колокола.
И мы живем в раструске резкой,
живем, перемогая зло,
хоть степью черной, печенежской
навылет нашу кровь прожгло.
И никаким вселенским грозам
родную даль не всколыхнуть,
покамест память под наркозом
тоской простеживает грудь.

Но свет
во тьме забрезжит тучной,
и ложь сгорит, и сгинет гнусь —
и русый Ангел неотлучный
над бездной молится за Русь.

* * *

Зверь вышел из проклятой бездны
и лапу простер вдоль земли —
и воины в латах железных
легли на песок, как кули.

Второй — лжепророк полыселый,
ладони простер вдоль земли,

над страшной пустынею белой —
и стали песчинки людьми.

...Вдруг небо свернулось, как свиток,
и выехал — в белом огне
с безмолвною, грозною свитой
Сидящий на белом коне.

И тут тишина зазвенела,
как будто в полете стрела —
и рать без конца и предела,
став черною пылью, легла.

Треть звезд в сером пепле лежала,
треть мира — в безмолвье конца,
и сдвинулось небо, бежало,
и сушь — от дневного лица.

И птицы слетались из чащи,
и сброшены были в сей срок
в тьму озера с серой кипящей
и зверь, и его лжепророк.

Неужто мы отданы зверю,
неужто мы все из песка
и ангел на Божью вечерю
сзывает не наши века?

Хоть сами с собой мы — в расколе,
но чудо души не прельстит
и истина — отзвуком воли
по сердцу нагому сквозит.

* * *

— Иди!
— Но в стуже запредельной
нет ни начала, ни конца,
и без того сквозняк прострельный
продул и выстудил сердца.

— Иди!
— Но вспять дороги нету.
— Иди и верь, и под пятой —
во тьме безверья землю эту
не мог покинуть Дух Святой.

Сны-карлики бегут во мраке
туда, где высветит гроза
страданье вод, забывших злаки,
и почек зимние глаза...

Москва

Вячеслав ГОРБАЧЕВ

ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ...

Современная притча

Жил на свете Иван. Ваня как Ваня, святая простота. Много чего повидал на своем веку, обо всем не расскажешь. А наша притча о том, что однажды, как сказал великий Алигьери, —

Земную жизнь пройдя до половины,
Он очутился в сумрачном лесу...

В лесу, значит. И туда Ваня метнется, и в другую сторону — лесная чаща дыбом становится. Ветви когтями рвут одежонку, шапку потерял, волосы клочьями сбились, глаза только и целы, а ни света-проспета, ни дорожки нигде не видать.

«Не иначе как водит кто-то», — решил Иван.

И только он так подумал, сзади смешок неровный, будто надтреснутая посуда задребезжала.

Оглянулся, а там — полянка с избушкой на курьих ножках, на крылечке Баба Яга собственной персоной. Корявыми руками о клюку опирается, нос, что крюк хороший, набок свесила, щерится провалившимся ртом, клыки торчат. Смотрит Яга на Ивана, ждет, пока малый очухается, но он, правда, не оробел, хоть и протек холодок под ложечкой.

— Чего тебе? — спрашивает. — Ты, что ли, меня водишь?

Яга покачала головой. Экий, мол, неразумный.

— Без меня, — говорит, — тебе отсюда не выбраться.

— Ну?! — сказал Иван, не то соглашаясь с ведьмой, не то ожидая, что дальше будет. А сам умишком своим наперед смекает, что так просто ему, видать, не отде-

латься, и ежели что... Ежели что, скажет дома, что с НЛО встретился. В Бабу Ягу нынче никто не поверит, а в НЛО — пожалуйста.

— Брешете вы все про НЛО, — словно подслушав, сказала Яга. — Нету ничего. А желания твои, — уже от двери бросила ему надтреснутым голосом, — исполню. Но сперва послужишь мне, милок...

Делать нечего. Бочком, с оглядочкой, втиснулся Ваня следом за Ягой в избушку, опасаясь, как бы от его появления не развалился куриный дворец на части. Но избушка, хоть и на курьих ножках и необихоженная, зачумленная по давности лет, оказалась справной, выдержала Ваню. Вроде как даже и вширь раздалась, чтоб было ему поподручней. Может, Ване это показалось, но если и не показалось, он бы не удивился, как не удивился холодному запустению вокруг, наготе, мотне столетней паутины в оконце. Одно слово — Яга, что с нее взять! Спросил только:

— Служебная, что ли, квартира?

— Была! — осклабилась Яга, усаживаясь на ветхую кровать. — Намедни догадалась, приватизировала ее у Гаврюшки Попова, дак теперь мне и черт не указ.

— Выходит, хоть вашему брату, лешим да ведьмакам, перестройка на пользу.

— Не скажи...

— Что так?

— Старость не в радость стала. Грек хромой по очередям загонял. Да не достанешь ничего, вот же что! — разговорилась Яга. — Бывалоча, где что ни дают, крикну только: ветеранка!.. — дак пропускают, расступаются, а теперь не то что на крик, а и на клюку, на клыки не обращают внимания. Поглядят на рожу да еще скажут: о-о, накрасилась!.. Тьфу!.. — сплюнула она незлобиво.

— Демократия... — флегматично заметил Ваня.

— Сколь я золы извела на вашу демократию, будь она неладна! — чертыхнулась Яга.

— А зола-то при чем? — осмелел за разговором Иван, даже посмеиваться начал. — Или ты лозунги демократам золой пишешь?!

— Держи карман!.. Хе!.. Я ее наберу горсть, дуну, она и блестит золотом. Где демократу, где демократке ручку позолотишь — тут тебе все двери и откроются.

То-то беда, что загребущих рук много — золы и той на всех не напасешься.

— А я по очередям сам бегаю, — признался Иван. — Иной раз домой придешь, штаны рукой держишь, а теща, тоже старая ведьма, допытывается: где был, где пуговицы потерял?..

— Все они одинаковые, — вздохнула Яга и посоветовала: — Ты сгоняй ее разок за сметаной! Как отрежет, перестанет допытываться.

— Не-е, — возразил Иван. — Моя не перестанет, пока язык к заднице не прирастет. Да и сомнут ее там.

— Сомнут, — согласилась Яга. — Я вон на помеле, и то еле ноги раз унесла. Увидала как-то две очереди в магазин и, главное, в одни двери. Думала, прошмыгну между ними, а меня в когти! Одни орут: во, большевичка проклятая заявилась!.. А другие: у-у, демократка паршивая!.. А кожу живьем дерут и те, и эти...

— Как же ты выкрутилась?

— Да как? Я, говорю, партизанка! И отцепитесь от меня, а то полосну из шмассера...

— Да, — поддакнул, соглашаясь, Иван, надеясь втайне, что все кончится разговором и обернется для него к лучшему. — Озверели люди, автомат только и признают. А ты, гляжу, хоть и Яга, а подкованная, полный ликбез прошла.

— Эх, милок, — возразила Яга. — Ликбез при да-авней власти был, когда ликвидировали безграмотных. Теперь, чую, наоборот пойдет. Человечьей кровью запахло. Как бы, говорю, грамотных не стали ликвидировать.

— Не должны... — осторожно возразил Иван. — Вроде же свои люди...

— Свои не свои, а чтой-то, я смотрю, ты мне зубы все заговариваешь? Нет бы работу сперва исполнить, после лясы точить!..

— Что за работа без угощения! — нашелся Иван. — Да мы вроде и не сторговались еще?..

— Вот улестишь мне, — усмехнулась Яга, — и у тебя выйдет по-загаданному. — Заметив, как жадновато блеснули глаза у Вани, она пригасила усмешку, посрожала. — Не до митингов нам с тобой, Ванечка. Ночь с воробьиный поскок, а до света много чего успеть надо.

— Темнишь что-то, Яга. А, Яга? Если пакость какую надумала, я ведь и рассерчать могу.

— Не боись. Не в печку же мне сажать тебя, такого костлявого. — И философски заметила: — Отощали человеки на Гаврюшкиных харчах. Русский дух из них совсем вышибло. И об чем ваше начальство думает?! Но и то верно: какой ни есть, а мужик, и выбора у тебя, милок, нету. Печку истопишь — раз. Воды нагреешь, помоешь, спинку потрешь мне — два. А третье... утешишь Ягу как бабу. Не то ведь дьяволы засмеют. Скажут, век Яга прожила, а секса и не попробовала.

Ваня так и сел на лавку с открытым ртом. Старая, видно, совсем из ума выжила или разыгрывает его? А у самого волос на голове поднялся. Вот, думает, попал так попал в переплет... Уж лучше бы с НЛО встретился!..

— А чего?! — уговаривает Яга. — Уж ежели тебе, Ваня, без разницы, какая власть на тебе ездит, дак не все ли равно, на какой доске сам скачешь? Наше-то ведьмачье отродье в кои веки раз человеком попользуется, так и то вы в пузырь лезете, а Русь вашу эвон сколько вождей топтало, а вы только губами шлепаете. Эх, попользовались вами, попользовались... Ведь вот даже и пуговицы с твоих штанов Мишка Меченый содрал, у тебя же — теща виновата... А небось попросила бы вождева хайка услужить, дак не отказал бы? Рад был бы, рад!.. Чем я-то хуже? Да и не задарма. Бутылка-то, глянь, уже откупорена...

И впрямь на столе, вся в испарине от холода, дымилась бутылка «Горбачевки» (он такой сроду не пробовал!), с пылу с жару шипела на сковороде картошка с салом, огурчики плескались в блюде с рассолом.

— Дела-а... — промолвил Ваня, а сам уже и чарочку налил, и опрокинул, и огурчиком хряснул. — А не сбрешешь насчет желаний-то?!

— Вольному воля, — усмехнулась Яга. — Хочешь верь, хочешь не верь. А вернешься домой пустой, что теще-то скажешь?!

И чего-то еще она говорила ему, да у Вани голова уже кру́гом шла, он лихорадочно соображал, что бы такое заказать Яге, чего бы такого пожелать эдакого, чтобы не зря, значит, чтоб не продешевить...

Ну, как бы там ни было, а печь он истопил, Ягу искупал и третью работу выполнил. Дурацкое дело не хитрое. Завернул подол ведьме на голову да завел лемех в борозду, рванул старую дернину так, что в скулах заломило. Старался, на пьяную голову, до остервенения.

Ах, Ваня, Ваня!.. О чем думал, садовая голова... И тут его водил кто-то. Ходила душа по глубинам. Как тяжелый гарпун в рыбьем боку, тянуло ее из одной безысходности в другую. Старая жизнь кувырком. Новая наперекосяк. Что же это? За что?! Почему?.. В омерзении к самому себе, понимая, что кем-то обманут, что с ним поступают не по справедливости, не по чести, он терзал старую ведьму, как будто только она была виновата в этой дурацкой перестройке, во всеобщей продажности, в том дьявольском совращении, которое совершалось сейчас с ним помимо его воли, его желания, необходимости.

Тупо болело сердце. Тупо изнывала душа, подцепленная на гарпун неведомым рыболовом, который, однако же, рано радовался своей добыче. Пусть он, думал Ваня о себе, человек пропащий, но все равно, пока струна, натянутая гарпуном, держит на привязи и самого рыболова, наваждение не бесконечно и до конца не властно над ним. Он еще посмотрит, на какую приманку его взяли, чем Яга рассчитается...

Очнулся он утром. Солнышко вовсю светит. Яга на крылечке сидит, дожидается. Ваня глаза от нее отводит, но — смотреть не смотрит, а и своего не забывает.

— Целую ночь, — говорит, — ты меня эксплуатировала, пора рассчитаться. Как насчет желаний-то?

— Загадывай, — отвечает Яга покорно. — Исполню.

— Первое, — напыжил Ваня грудь, — чтоб машина была. «Жигуленок», красный, и чтоб с ключами, как положено.

Яга клюкой махнула — и тут же заросль непролазная недалечь от избушки сама собой проредилась, дорога видна стала, и на ней «Жигуленок» новенький, красный, так и переливается жаром.

— Второе... чтоб лежал там «дипломат», сотенными набитый.

Сказать не успел — на задней полке автомобиля «дипломат» появился, и даже через стекло видно, что тугой, не иначе как набит купюрами.

— Третье... Третье, — Ваня почесал затылок, не зная, что еще сообразить такое, чтобы не жалеть потом, что мало попросил. — А-а, насыпай червонцев в багажник, не порожняком же ехать!..

Машина так и присела на задок от тяжести. Из-под замка багажника выбилась наружу красненькая, трепещет на ветру.

Ваня и спасибо не сказал, кинулся скорей к «Жигулевку». Машина все ближе, червонец все ясней — новенький, с полоской! — а Баба Яга окликает его с крылечка:

— Ваня, Вань! — Он оглянулся. — А лет-то тебе сколько?

— Сорок пять! — сказал Ваня и опять к машине, чуть не бегом.

— Эхе-хе, — вздохнула Яга. — Сорок пять мужику, а все в сказочки верит...

«Тебе бы такую «тачку», — машинально подумал Ваня, — не то что в сказку, а и в черта поверишь!..»

Добежал Ваня до машины и нет бы за руль сперва да на газ, да деру, а он к червонцу потянулся, жалко стало, что вылетит, пропадет зря. И хвать его! Доволен. А глянул ближе — обыкновенный листок у него в руках, осиновый. Красный, правда. И ни «дипломата» за стеклом, ни багажника, ни «Жигуленка» — нет как нет. Дорога осталась да пень поперек дороги, и только слышно, как рядом где-то свистит на станции электричка. Оглянулся Ваня на Ягу, на избушку — тех и след простыл. Лес стеной, черные сучья топорщатся, и что-то задребезжало исчезающе в дымном мареве.

...Много ли, мало времени прошло с тех пор, зато теперь Ваня наш, святая простота, как заходит речь о чудесах перестройки и как ни убеждают его, что есть, есть эти чудеса, только, мол, руку протяни, упрямо качает головой и одно твердит:

— Брехня все. Нету ничего. Я-то знаю...

Но никому не говорит, что́ знает, почему не верит... Может, потому, что, как сказал великий Алигьери, —

Земную жизнь пройдя до половины,
Он очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.

Утратив. Правый. Путь.





Юрий СЕРГЕЕВ

БЕРЕГИНЯ

ПОВЕСТЬ

Вовсе не литературная фантазия

Писатель Юрий Сергеев известен своими книгами «Королевская охота», «Самородок», «Становой хребет».

Все его книги написаны на жизненном материале. Автор долгие годы работал в Якутии геологом и начальником старательного участка на Алдане.

Новая повесть «Берегиня» основана на достоверных фактах и историческом материале о судьбе русского золота.

Кряжистый, бородатый старик неделю домогался встречи с министром МВД. В бюро пропусков уже вздрагивали, когда окошко застилала лохматая шкура белого медведя, а голубые глаза из ее косм дерзко вонзались в лицо дежурного. Бас двухметрового деда пастырно гудел:

— Мне к министру!

— Генерал не принимает, — устало отвечал милиционер, — вам же сказано, что можете поговорить с заместителем.

— Не-а... мне надобно к самому, однако...

— Батя! Генерал не принимает, вы напрасно тратите время и отнимаете его у нас.

— При-п-мет... У меня государственное дело. Я не отстану.

Дежурный раздраженно сорвал трубку телефона и проговорил:

— Товарищ подполковник, этот дед снова буянит... Да-да... Маркелыч, опять... Я все ему объяснил. Есть! Сейчас его проводят к вам.

Молоденький лейтенант дернул за рукав старика и строго вымолвил:

— Пройдемте!

— Да на кой хрен мне ваш подполковник! — взъярился дед. — Мне к министру!

— Пройдемте-пройдемте... там все решат, — заученно твердил провожатый.

— Ну и конто-о-ора, — покачал сивой головой лешак и подхватил с пола замызганную котомку.

Одет был Маркелыч неподходяще для Москвы и высоких приемов. На плечах распахнутый плащ из грубого брезента, под ним виднелся застиранный и рваный свитер, полосатые штаны из матрасовки неопределенного цвета, а на ногах — невероятного размера кожаные сапоги из лосины. Лейтенантик мальчишкой смотрел на него снизу вверх и нервно озирался.

Шли они бесконечными коридорами с бесчисленными дверями. Чистенько, уютно и просторно в новеньком здании Министерства на Житной.

— Эко, сколь народу напихано тут! — изумленно ворчал на ходу дед. — И всем работу придумывать надо... Беда-а...

Встретил их в кабинете молодой лощеный подполковник, строгий и надменный. Кивнул головой на стул.

— Присаживайтесь... э-э, представьтесь, пожалуйста.

— Александром Маркелычем меня величать... В тайге кличут Могутным, — грузно плюхнулся на стул. Вдруг резко вскинул голову, бесшабашно улыбнулся и пропел медведем: — Докель мучить-то станете?! Ить не отступлюсь, так и знайте. Я чё, из Приморья за тыщи верст сюда понапрасну перся? Мне к министру — и баста! Хучь на куски тут порвите, а слово ему скажу.

Подполковник указал глазами лейтенанту на дверь и резко проговорил, твердо пялясь на гостя:

— Министр в командировке... говорите все мне, я ему передам ваши проблемы, получите письменный ответ... гражданин Могутный...

— Не бреши... Я утречком видал, как он подкатил на машине, только не смог прорваться. Берегете ево, как царевну!

— Перестаньте ерничать. Говорите по делу, у меня нет времени.

— А чё говорить-то? Мне к министру, — невинно пялился дед и весело ухмылялся в бороду. .

Подполковник отвел глаза, небрежно закурил заморскую сигарету из цветастой пачки, печально посмотрел в окно, сурово нахмурил брови. Назидательно промолвил:

— Если мы... всех с улицы... будем тащить к министру... у него рабочий день рассчитан по минутам... нашелся тут, ходок!

— Гнать вас, братцы, надобно отсель поганой метлой... Дать кажнему по широкой лопате и на работу в помершие деревни. Ишь! Кабинетов не счесть, все забиты... ряхи красные поотъели на дармовых харчах... о лбы хучь поросят бей! А толку-то? Ить, ни хрена не делаете! Токмо казенные штаны понапрасну изводите, протираете. У меня дело, паря, государственное, не твово ума дело! Секретное! Веди к министру! Это вам не при Брежневе. Горбачев сменил генерала, и я поверил... Веди!

— Дед! А ведь мы тебя посадим за оскорбление органов... — уверенно проговорил подполковник. — К министру ему захотелось! Уж шел бы сразу в ЦК.

— Там ворья много, неспособно мне...

— Шизик, — вяло отмахнулся подполковник рукой. — Посадим!

— Не-а... Не посадите. Мне девяносто третий годок стукнул. Ежель уж с революции самой не посадили ни разу, знать, и счас не выйдет... Ить вы супротив ГПУ — бабы!

— Почему же... поса-адим, — потянулся милиционер к телефону, морщась от дыма сигареты.

— Вста-а-ать!!! Сосунок!!! Перед тобой полковник генерального штаба Дубровин Александр Маркелович! — рявкнул старик и хохотнул. — Вот так-то, паря.

Перепуганный милицейский чиновник действительно неосознанно вскочил, оторопело глядя на статно сидящего деда. Тот разительно переменился, разом смахнул притворную маску, и прорезалось в нем что-то властное, решительное, военное.

— Что вы себе позволяете?! — гневно задохнулся хозяин кабинета.

— Ты вот что, сынок... прежде чем пугать гвардейского офицера Русской армии, пожалованного самим императором золотым оружием за храбрость... проверь-ка по своим каналам, был ли такой полковник Дубровин... Счас я под другой фамилией... Потом будем гутарить. Проверь-проверь, а вдруг и взаправду был? Вдруг у меня, братец, не шизофрения, а дело государственной важности... ведь выгонят тебя, дурака, с насиженного и теплого местечка. Я при оперативном штабе Колчака служил, даю наводку для скорой проверки... пусть поднимут дела. Проверь, — дед кивнул головой на телефон, — я ить из рук самого Александра Васильевича, кстати, умнейшего и доблестного офицера, боевые награды получал... есть у меня военный орден за Великий Сибирский поход... крест за храбрость от атамана Семенова, тоже не совсем придурка, как вы его рисуете в книжках и газетах... Вот они, родимые. Через всю жизнь пронес, — старик бережно извлек из-за пазухи сверток и высыпал редкие награды на стол, — проверь! Мне к министру! Звони на Лубянку, там ребятки вышколены и дело знают, в один миг тебе подскажут, что к чему...

Подполковник набрал номер телефона и попросил дать справку из архива КГБ. Молча перебирал на столе награды, отводил взгляд. Лицо его палилось краской и тихой злобой. Старик это приметил.

— Не ярься, сынок, я уж больше ничего не боюсь... остынь. Раз тебя тут держат, исполняй разумно власть и не гоняй людей. Ить они за вашу советскую власть сколь голов поклали, сколь бед натерпелись? Имей совесть человечью! А то чё ж получается? Произвол волюнтаризма, вынуждаете думать по линеечке. От этого и идет развращение. У людей пропала охота трудиться и думать, надеются на власть. Небось помнишь, как писал Салтыков-Щедрин: «А что, если управление городом поручить мерзавцам?»...

Зазвонил телефон. Подполковник слушал, хмурил брови, резко проговорил:

— Раз был такой полковник Дубровин у Колчака, так и забирайте его к себе! Какие тут шуточки?! Могу этапировать... Ну, честное слово, здесь, вот сидит у меня, жизни учит.

— Никуда я не пойду, — устало встрял в разговор Маркелыч, — хоть што со мной делайте, дайте министру слово сказать...

* * *

Через светлые приемные заместителей наконец-то провели Дубровина к двери министра. Какой-то суетливый полковник назидательно и трепетно шепнул в его заросшее волосьем ухо, привстав на цыпочки:

— Шесть минут! Не больше!

— Ла-адно, — отмахнулся пятерней Маркелыч и вошел в кабинет.

Его вплотную сопровождали трое молодцеватых ребят с настороженными глазами. Бог весть что может натворить дюжий старик. Отняли и проверили еще в коридоре вещмешок, охлопали сильными руками, нет ли оружия.

Маркелыч от самой двери пытливо разглядывал генерала. Тот царственно восседал за огромным столом, в окружении множества телефонов. Ухоженный, улыбчивый, с цветастой колодкой орденских планок во всю грудь генеральского мундира. Смотрел на посетителя как на диковинку.

— По какому вопросу? — озабоченно проговорил он, подписывая документы в красной папке. — Вы что, действительно полковник царской армии Дубровин, как мне доложили? — он отодвинул папку и с интересом стал разглядывать принесенные заранее награды старика. — Что-то не верится, как с того света!

— Он самый... говорить буду один на один, убери... этих, — Маркелыч небрежно кивнул головой на сопровождающих.

— Говорите-говорите, это проверенные люди из моей охраны.

— Нет. Уберите их, или разговор не состоится. Понимаешь, министр, — дед по-хозяйски уселся в мягкое кресло и налег на стол грудью, не отнимая глаз от лица генерала, — понимаешь, сынок, помирать мне скоро, а гнетет большая тайна... большая! Исхворался душой я. Нельзя с ей помирать. Не имею права... не дозволяет совесть! Надо исповедаться и снять с себя крест! Убери их! Речь пойдет о Колчаке и... золотом запасе России!

— Так-так, интересно... Понял... Выйдите из кабинета, — строго приказал провожатым министр и торопливо отложил в сторону награды. Внимательно, с легкой усмешкой оглядывал деда. — Слушаю вас.

— Так во-от... Отступал я с Каппелем на Иркутск... Когда он обморозился и умер на моих руках, а верный ему Ижевский полк увез по КВЖД тело в Харбин, где и похоронили его с любовью и почестями в часовне военной Иверской церкви... Кстати, Ижевский полк состоял полностью из простых рабочих, я шел с ним под Уфой с гармонями в атаку, и... сметали красных. Этим они развеяли еще в ту пору всю классовую догму Маркса и Ленина о братстве пролетариев в моем сознании... Каппель сумел им втолковать правду о революции: кто ее и для чего делал...

— Революцию сделала партия...

— Увы, мой генерал, у меня живые факты истории, а вашими устами говорит теория... оставим стравленный и погубленный русский народ в покое... ты красный генерал, я белый полковник...

— Ближе к сути дела.

— Лиховал я и у Семенова в Маньчжурском отряде, бежал от сумасбродной храбрости и дури — Унгерна, попал в банду под Благовещенском. Крепкая банда, организованная талантливым и дерзким атаманом. Четыреста сабель, пулеметы, железная дисциплина, похлеще, чем у Унгерна. Исполнял я должность начальника штаба при атамане. Славно партизанили...

— Суть вашего дела, покороче, меня вызывают в Кремль, — значительно проговорил генерал.

— Подождут... Так во-от... В одном из налетов отбили мы у обнаглевших чехов, кои виновны в смерти тысяч и тысяч русских воинов... Они угнали весь подвижной состав паровозов при отступлении Колчака, и солдаты наши раненые вымерзли в теплушках и снегах от Омска до Байкала... отбили у этих «братушек» похищенное ими золото русской казны...

— Много? — глаза министра загорелись.

— Да уж не мало, — Маркелыч заметил нервный интерес генерала, и это его насторожило. — Я стану говорить только о части ценностей... так во-от... У атамана была полусотня охраны из забайкальских казаков. Пуще всего стерегли они большой, окованный медными полосами дубовый сундук, ловко замаскированный под зарядный ящик на задке пулеметной тачанки, запряженной денно и нощно четверкой первейших лошадей... Сундук был полнехонек золота... Кроме должности начальника штаба, исполнял я, при особом доверии атамана, обязанности казначея... под мундиром, на гайтане ключ от замка тяжелого носил, караул сам проверял... Ответственность! Служака я был отменный при старом режиме... Лихой! Заодно хранил в сундуке с золотом свой дневник, три клеенчатые тетради. Их я досель почитаю более ценными... Если бы сейчас издать записки полковника Генерального штаба... Живая история там, страшная трагедия в лицах, с ясными прогнозами плодов революции до сего дня... Удивительно, но я все предугадал... Что очень легко уничтожить богатство, но очень трудно уничтожить нищету...

— Покороче, мне на заседание Политбюро...

— И во-о-от... Пристигли нас войска ЧОНа, явно осведомитель был заслан в банду, каждый наш шаг они знали... Обложили в тайге севернее Благовещенска... Бой идет смертный. Подскакивает атаман на своем Воронке и сует мне что-то в руку, горячо шепчет на ухо, нависнув с седла... глаза бешеные, радостные боем... Гутарит:

— Отбери десяток служивых казаков охраны, скачите в лес и заройте сундук с казной... Потом чай затей и брось им в котелок эту горошину... Замаскируй! Мы еще сюда вернемся!

Дал адрес в Харбине, Нанкине... и ускакал. Лихой был атаман, на бой весело шел... Приказ есть приказ... Сам я отобрал старослужащих, бородатых, самых верных и чтоб непременно дети были... Через лес вырвались с казной. Глядь! А впереди цепи красных! «Наза-ад!» —

командую... Суматоха! Пульки уж над головами посвистывают. Какой тут чай?! Красные, слава Богу, остановились на опушке леса в засаде, не сунулись... Обложили... Мы отошли к приметной сопочке, и говорю казакам:

— Братцы! В прорыв пойдем ночью, а сейчас привал... Чайку бы сварганить! — Маркелыч вдруг застонал, прикрыл лицо ладонями-лопатами, глухо промолвил: — Будь он проклят, тот день, и вся ваша революция! Какой грех на душу взял! Пудовыми свечами... многими своими жизнями не отмолить... Спасал казну России... А им что, казакам-то, верили мне свято. Для них привычное дело... Костерок бездымный затеяли мигом. Я приказал зарыть сундук... Пока они яму шашками копали, я сам с котлом за водой сходил... размял там клейкий шарик и растворил в котле... Никто не заметил. Пока варился чай, замаскировали ухорон снятым дерном — век не сыщешь, не отличишь. Ведь все они охотники были, звероловы первейшие...

Вскипел чаек... Пьют, балагурят, сухари на ядреных зубах хрустят... Я отошел вроде бы по нужде, в ельник, а свою кружку оставил остужаться... Горе мне!!! Блазнятся они мне до сей поры! Проклятье Господне! Боже, прости меня... на суд твой явлюсь скоро. — Маркелыч истово перекрестился и опять поник, избегая взгляда министра, мучаясь, сгорая от стыда и боли, проживая в который раз тот страшный день. — Вернулся когда... спят мертвым сном богатыри, и пена изо ртов по бородам, лики сизые, языки прокушены... глядят на меня стынущими глазами и вопрошают словно: «Что ж ты натворил, ваше благородие... Как жить-то будешь?» Гос-с-споди-и! Страшный яд китайский... Скорый...

Сволок я их в теклинку вместе с оружием, ветками закидал, по-христиански и похоронить-то недосуг было, бой опять подступал... Угнал тачанку подальше. Место зарытия казны помню досель... Ночью пластуном пересек красную засаду, ушел в Маньчжурию... Харбин, Нанкин, Шанхай... Где только я не искал атамана по его адресам! Без толку... Видать, сгинул в том бою... Скушно мне стало на Китайщине, муторно без России. Пришел к ней... Ишшо в двадцать пятом году явился с дикими старателями на Алдан... Три раза документы менял, обличье и образ поведения... как только не прикидывался... ни ГПУ, ни НКВД, ни КГБ взять меня не сумело, хоть на пятки иной раз больно наступали, едва успевал ушмыгнуть. А теперь уж и страха нет, мой век прошел... Работал на ваш социализм исправно, два ордена отхватил за прилежание, персональную пенсию. Первый секретарь крайкома Черный... смешно... когда орден Ленина в Хабаровске мне вручал, оркестр играл... чуть я не раскололся, глядя на дурацкую суету и помпезность. От Черных людей — почет страшен! Грех! Да уж ладно, все к одному. Главное, есть дети, семеро... внуки, правнуки. Только фамилию носят другую, беда... Может, они отмолят мои грехи. А мне покоя и смерти нет! Достань этот клад, министр! Определи в казну России, может, откуплюсь перед ней? За что погубил людей, ее верных сынов — казаков?! Не стоит все золото их! Проклятье! — Маркелыч затрясся в тихом плаче, и вдруг на его плечи легли руки генерала.

— Успокойтесь... Пройдемте ко мне в комнату отдыха, попьем чайку, можно и покрепче...

Пальцы у Дубровина тряслись, горячий чай выплескивался через край фарфоровой чашки на колени, но он словно не чувствовал этого.

— И много там золота? — дошел до сознания старика голос, голос ласковый и горячий, как китайский чай. — Ведь вы оговорились, что в сундуке только часть... где-то есть еще?

— Много... полный сундук. Вдесятером еле с подводы стянули. Поперва ево найдем, а потом будем глядеть дальше, как вы с этим ишшо распорядитесь.

— Место помните?

— Найду! Непременно найду! Рядом двугорбая сопка, курумник, у подножья косогора есть камень приметный... недалече от нево и зарыто... Правда, с той поры там не был, была страшная тяга поглядеть, костушки казаков по-людски перезахоронить, да пересилить себя не мог... Страшно там быть. Смертно! И еще, мое самое главное условие наперед, — Дубровин посуровел, выпрямил спину, испытывающе ловя взгляд министра, — самое главное мое условие передачи клада государству...

— Какое?

— По закону, мне обязаны выплатить двадцать пять процентов стоимости клада? Ведь так?

— Так... Я посодействую.

— Мне нужны письменные гарантии.

— Да получите вы свою премию, — хохотнул министр, — разве моего слова не достаточно?

— Нет, браток, дело очень сурьезное, и ваша власть дурить народ обучилась лихо... Потом концов не найдешь.

— Я так понимаю, что будет огромная сумма, куда же ты ее собрался тратить, Маркелыч?

— С твоей помощью... как только клад отыщем и начислят мой пай, я хочу заказать и построить большой памятник... хороший и дорогой. Можно под Уфой его поставить, на месте боя... можно на Волочаевских сопках, где лег Ижевский полк... Только позвольте мне это сделать. Иначе я не укажу клад! На этом горестном обелиске будет скорбная надпись всем напрасно погубленным русским людям... и белым... и красным: «Тут нашли вечный покой сыны России. Каждый из них боролся за свои идеалы. Да рассудит их Бог — кто из них был прав!»

— Подобная надпись есть в Испании...

— Франко умница... отец нации, он знал, что делал. Давно пора и нам осознать трагедию, примирить павших братьев... Страшен крестный путь наш... «Лес рубят — щепки летят»... Миллионы людей перемололи... Как страшен психоз идей!!! Психоз толпы и пророков падших! Слепой гнев толпы... умело подогреваемый и направляемый. Будут мне гарантии установки памятника?

— Будут... Это все не так просто, надо посоветоваться с Михаилом Сергеевичем. А что скажет Политбюро? ЦК?

— Генерал, будем искать клад либо нет? Я поверил в идею перестройки, потому и пришел! Горбачев обратился лицом к церкви, только что подписал указ о борьбе с пьянством, оно уже довело народ до оскотинения. Я надеюсь... он поймет. Реабилитацию надо начинать не с 37-го года, когда перебили участников предыдущих репрессий, заткнули им пулями рот, а с начала революции и гражданской войны.

Министр позвонил кому-то и приказал:

— Лучшего врача из кремлевской поликлиники приставить к Дубровину, номер «люкс» в нашей гостинице с питанием, купить новую одежду в магазине, — генерал смерил взглядом фигуру старика и, усмехнувшись, добавил, — в магазине «Богатырь»... Немедленно зайдите ко мне! — Он положил трубку и стал ходить по мягкому ковру вокруг деда, строго приказал: — Больше ни единому человеку не проговоритесь о своей тайне! Это мой приказ! Письменные гарантии получите незамедлительно. Я поговорю с Михаил Сергеевичем... Ставьте памятник!

Старик не отозвался. Сидел отрешенный в хрустящем от тяжести кресле, печально смотрел заслезившимися глазами мимо генерала в те далекие годы... Что виделось ему? Непитый чай лился на пышный ковер из судорожно сжатой в кулаке чашки китайского фарфора...

* * *

Спецрейс из Домодедова. Десяток рослых парней в геологических штормовках, с теодолитами и полосатыми рейками в руках, гуськом поднялись в пустой салон особняком стоящего самолета. Потом к трапу подъехала черная «Волга», из нее вышли еще трое и тоже скрылись в самолете. Трап сразу же убрали.

Дубровина назойливо опекали чернявый врач и медсестра, одетые тоже в зеленую амуницию с ромбиками на рукавах «Мингео СССР». Взблескивая большими очками, врач беспричинно лез к старику, щупал пульс, совал какие-то таблетки и требовал их проглотить.

— Отвяжись, ради Бога! — брезгливо отстранял его Маркелыч. — Вот же влип. Да не помру я! Еще тебя переживу, суета... сроду лекарств вашенских не потреблял. В тайге всю жизнь провел, на волюшке. Спиртик, токмо ваш медицинский, на пантах выстоянный, пью с устатку. Женьшенем балуюсь. Золотым корнем... Бабки, в деревнях, как меня углядят, так сразу по закуткам своим разбегаются, кормилицы свои берегут... А ты мне это непотребство суешь... Отвяжись! — Маркелыч тяжело вздохнул и уселся в кресло: — Фу-у... а где остальные люди-то? Неужто министр для нас такой агромадный самолетище подогнал? Эт сколь убытку!

Пухленькая, красивая и стройная медсестра, лет тридцати, с золотыми сережками в ушках и кольцами с каменьями на пальчиках, вдруг поймала на себе внимательный взгляд старика и замерла. Это был дерзкий и сильный зов мужика, благородный и притягательный. Своим пронзительным бабьим чутьем она потрясенно осознала, что слова о бабках не бахвальство, что в нем скрывается что-то такое... властное, способное повелевать и увлечь, заверить в надежности. Она смутилась и отвернулась к иллюминатору, вглядываясь в кипень облаков под самолетом.

Изломанная душа Вероники Недвигиной, после двух неудачных замужеств, пустых истерик «интеллигентных» хлюпиков в случайных связях, барства пациентов к ней в престижной поликлинике, сюсюканья подруг с постоянным вожделением о богатстве и связях, давно ждала такого взгляда, такой надежности и покорности перед ним...

«Чушь какая-то, — подумала она, — еще мне не хватает влюбиться в девяностолетнего деда... чушь!» Родом она была из станицы Недвиговки Ростовской области. С неимоверными трудностями пробилась в Москву, на престижное место в лучшей поликлинике страны... дом — полная чаша и... пустой. Холодный без семьи, без детей. Два медика, которые при ее помощи, на ее хребте, стали кандидатами наук, — всё учились, рожать запрещали до защиты диссертаций, а потом их лихо уводили томные девочки из богатых семей.

Она поежилась и закрыла глаза, страшно и одиноко стало от своей беспомощности перед волчьей жизнью, перед неопределенностью и слепой зависимостью, даже от этого холодного самолета, ревущего в пустом небе. Сломается что-то в нем, хрупнет мертвое железо... И ничто не спасет... рухнет она тряпичной куклой на землю, и — все. И твердо решила, что никогда больше не сядет в самолет. Пусть выгонят с работы... Пусть! Нет сил смотреть, как вибрирует в пространстве конец хрупкого крыла.

Через этот горячий взгляд древнего мужика она в полной мере ощутила вдруг всю никчемность прожитых лет, их пустоту и обман, всю свою жертвенность доверчивой бабы, потраченную впустую на слюнтяев, всю пошлость и скотство бездушного «траханья» (слово-то какое пустили в оборот), ярко увидела мелочность и мерзость сплетен, животную суету у корыта с кормом, дешевый ажиотаж нарядов и покупок, престижа и блата, за которыми идет страшная плата растления тела и души, самой жизни. На Веронику вдруг нашло какое-то помутнение, страшная обида на весь мир за свое одиночество, жалость и боль пронзили ее. Разом выветрилась обычная циничность, отработанная годами. С испугом почувствовала отвращение к себе самой, к накрашенному и напудренному лицу, к тошнотворному запаху французской туалетной воды. Как со змеи, с нее вдруг больно и мучительно стала сползать кожа-маска преуспевающей женщины и открылась беззащитная, ранимая казачка Верка Недвигина, правнучка кошевого атамана, фамилию которого и носила досель станица.

— Да что это со мной?! Колдун старый, всю душу вывернул, — прошептала она и вдруг почуяла неодолимое желание еще раз испытать на себе его взгляд. «Куда меня везут?!» Она резко встала, отодвинув чемоданчик с медикаментами, прошла в туалет. Захлопнула двери и раскурила дрожащими руками сигарету. Захлебнулась дымом и раскашлялась до слез. Потом долго смотрела на себя в зеркало, машинально поправляя руками прическу и вытирая краем платочка поплывшую краску с ресниц. Печально глядели на нее из зазеркального небытия, из далеких космических миров пустые, вымороченные работой, усталые до отупения глаза. Они были огромны... вопрошали, трепетали, звали к бунту и непокорности судьбе. Вспыхивали в них решительные и безрассудные искры от пламени дедов-атаманов.

Когда привела себя в порядок и возвратилась в салон, то испуганно, украдкой оглядела спящего Дубровина. Он походил на библейского пророка: седая борода лопатой поверх добротного костюма, сивые густые брови, буйная, изжелта-сизая грива волос на голове. Лицо безмятежно, с легким румянцем и почти без морщин, даже лоб. Трудно поверить, что этому человеку за девяносто лет. Вероника уселась в свое кресло. За иллюминатором — синь... солнце, жуткий простор и пустота одиночества. Самое страшное в мире — женское одиночество, самое безысходное и болезненное, самое ранимое и безутешное.

* * *

В Благовещенске их ждал вертолет. Тайную экспедицию встретил сам начальник УВД, один. Проводил к вертолету и молча откозырял. Турбины уже работали, в салоне громоздились ящики с продуктами, палатки, резиновые лодки и все необходимое для работы в тайге. Когда вертолет взлетел, майор Гусев, командир группы поиска, развернул военную карту, изданную еще до революции картографическим отделом корпуса военных топографов, и обратился к Дубровину:

— Укажите на десятиверстке место поиска. Я еще путаюсь в этих дюймах... в одном дюйме — десять верст... Лучше бы наш военный планшет взяли.

Старик молча ткнул пальцем, внимательно сощурил глаза. Гусев предупредительно сунул ему большую лупу. Дубровин усмехнулся и промолвил:

— Очков ишшо не одеваю... вон у этой сопочки присядем, вроде бы она... — рокотал он, заглушая свист винтов и гул турбин.

— Нам нужно точно, без «вроде», вертолет за нами прибудет по радиовызову, к вечеру его надо отпустить, чтобы не привлекать внимания местных жителей. Мы геологи, и все... Будем пешком искать.

— Ясно дело, вот надлетим над сопкой, точно скажу. Северный склон ее в осыпях к реке. Признáю!

Молодые спецназовцы пялились в окна, весело балагурили в ожидании приключений, романтики. Из оружия в группе было два охотничьих карабина и пистолет Стечкина у Гусева. Один из парней еще в воздухе настраивал войсковой миноискатель и еще какой-то хитрый прибор.

Долго кружились над зоной поиска. Гусев открыл иллюминатор, и Маркелыч внимательно глядел вниз. Там проплывали сопки-близнецы, вокруг них вились бесчисленные ручьи. Голубеющая тайга марилась к горизонту в полуденном зное.

— Кажись, вон та сопочка, — ткнул пальцем в пространство Дубровин, — скажи, пусть ближе подлетят.

— Черт их разберет сверху-то, — смутился старик. — За полста с лишком годов тут лес выдул до неба, да и вырубки... надо садиться. Пешочком сподручней.

Вертолет медленно опустился на поляну у небольшой реки. Смолкли турбины, остывающий свист винтов буровил набрякший запахами тайги воздух. Дед первым спрянул на землю и молчком пошел к сопке, врач еле поспевал за ним, путаясь в не кошенной веками траве.

— Да отвяжись ты от меня! — громыхнул голос Маркелыча. — Вот надоел!

— Не имею права, вдруг вам будет плохо.

— Гусев! Забери ево, не то утоплю в реке!

— Доктор! Не беспокойтесь, — окликнул его Гусев, — ничего с ним не случится, возвращайтесь!

Врач нехотя повиновался, оглядываясь на уходящего Дубровина.

— Ему надо побыть одному, придет, — успокаивающе проговорил Гусев, разделся до пояса и стал шумно умываться у берега.

Спецназовцы дружно последовали его примеру. Дед вернулся только к обеду. Оглядел загорающих на траве спутников и уверенно проговорил:

— Она... выгружайте скарб, — устало присел на валежину. Ему подали разогретую на костре банку консервов, большой ломоть свежего хлеба и кружку чая. Старик с аппетитом умял, а чай выплеснул на траву и вдоволь напился прозрачной и холодной воды из реки.

— Таежник, а чай не любишь, — заметил это Гусев.

— Вовсе ево не потребляю... мутит от пево, — проворчал старик, — водица скусней. Ишь! Ты гляныl Харпусы играют на плесе, с голоду не пропадем. Леску и крючки у вертолетчиков возьми, они все поголовно завзятые рыбаки. Вот и прилетели... Здравствуй, землица... вот и свиделись, а я уж не чаял...

* * *

Когда стих гул вертолета за сопками, разбили лагерь из трех палаток. Медсестре выделили маленькую, двухместную, отдельно. На дно палаток настелили душистой травы, развернули новенькие спальные мешки, сколотили из жердей общий стол у кострища и скамейки. Маркелыч руководил устройством бивака, а потом вырезал удилище и нахлестал полное ведро хариусов. К поискам решили приступить на следующий день. Солнце медленно ушло за окоем, тихий теплый вечер подступил к костру. Привольно развалившись на брезенте, Маркелыч безотрывно глядел на огонь, запашистая уха кипела в ведре над пламенем, дымок сладостно резал глаза.

— Курорт! — проговорил молодой, здоровенный парень с веснушками по носу. — Красотища... тут и Ялты не надо.

— Смертный бой тут был, сынки, — глухо отозвался Маркелыч, — русские люди в дьявольском помутнении друг друга люто изводили... шашками на капусту секли, дырявили из пулеметов и револьверов, сшибали насмерть из винтов... Братоубийство, не приведи Бог вам такое испытать, а ведь могёт быть... Все те же дьявольские призраки правят миром, бредят идеей о вселенском владычестве... Марксы создают теории, а вот тут, в просторной тайге, где на тыщи лет всем места хватит, бьются в дикой злобе простые люди. Помирают неведомо за что.

— Товарищ Дубровин, вы что, против советской влас-

ти? — с легким смешком спросил верткий доктор, взблескивая красными от огня стеклами очков.

— Я против дураков! Ведь мне пришлось неделю ломиться к министру... простому человеку в вашей Москве ходу нет, это что же за советская власть? А в любой вшивый райком вашей партии, где завсегда на видном месте прописано, что она и ум, и честь, и совесть нашей эпохи, — совсем не сунься, в колхоз ежели выехал первый секретарь, то на сраной козе не подъедешь к тому партийному вождю... Это за ево спесь тут чоновцы головы клали? Это за нево революцию делали, бились в гражданской войне и голодах, опосля в лагерях гинули, на фронтах с немцами?! Никогда помещики и баре не позволяли себе такого. Уж я свидетель. Меня газетками вашими не совратишь... Тот же вчерашний Брежнев? Срам один! Весь обвесился орденами, как деревенский дурачок. Совесть-то хучь была у нево? Скромность Царя, вами убиенного, в сравнении с генеральным секретарем — предел святости, скромности и разума. Да что говорить! Много дров наломано, ох как много... Больно за Россию, за державу великую и богатую. Разорили... В деревнях поруха, вымирают кормильцы, пахотные земли в запустении, и все ломимся к мировой революции, а сами скоро с голым задом будем. Догматизм идей мертвых и фанатизм воплощения чужих теорий — вот что надо рушить. Отрекаться немедля! Опомниться надо, покаяться перед убиенными напрасно людьми в гражданской бойне. Помирить навеки красных и белых... Братьев. За этим и прилетел сюда...

Вероника Недвигина смотрела через костер на Маркелыча. Страх и жалость шевелились у нее в душе к этому могучему, наивному в своей правде старику. Впервые она слышала такие крамольные и смелые речи и понимала сердцем, что прав он. Ловила на себе взгляды разомлевших в отдыхе мужчин, взгляды оценивающие, многозначительные, раздевающие. Нет покон и здесь. Верным делом, этой же ночью кто-то полезет в палатку к ней, кто-то станет божиться в любви с первого взгляда, чтобы потом небрежно похвалиться в Москве своей победой над единственной женщиной, что он оказался проворнее всех, всех удачливее.

Под свежую уху врач выставил литр спирта, и ужин закончился весело, даже с песнями. Как ни уговаривали Маркелыча, пить он отказался, ушел в палатку и лег

поверх маломерного спальника отдыхать. В темноте позванивали комарики, путались в бороде, дурманяще пахло вянущее разнотравье подстилки. Дубровин задумался: «Может быть, зря открылся с золотом? Профукают ево в Москве, разворуют. Может, правильней оставить его навеки в земле, подальше от соблазна людского? Так нет... жалко, пропадет! Может, на него завод какой нужный построят, дома людям возведут... И дневники... Если бы не они да не пришла тоска памятник установить, может быть, и не решился на такое дело».

Уж больно хотелось ему прочесть былое, полузабытое, такое далекое, как в иной, неземной жизни... Может быть, когда понадобится людям истина гражданской бойни: с фамилиями, фактами, количеством штыков и сабель с обеих сторон, причинами поражений, подлинными приказами с росписью Колчака, Семенова, Унгерна... В сундуке с золотом осталась кожаная офицерская сумка, набитая документами и оперативными картами тех лет, тщательно собранными полковником Дубровиным. И дневники...

У костра шумели, подвыпивший доктор читал какие-то длинные и несуразные стихи. Там была новая жизнь, новые люди пришли на страдалицу землю. Люди сытые, заметно ленивые от этой сытости и власти. Понравились Дубровину молодые русские парни, служащие в каком-то особом отряде милиции. Крепкие, мускулистые, по-военному исполнительные и расторопные. Так и уснул в воспоминаниях Могутный...

* * *

Когда Вероника улеглась в прохладный спальник в своей палаточке и начала дремать, как она и предвидела, заявился пьяный доктор. Нащупал ее во тьме, самоуверенно и нахально предложил погреть в спальнике. Она, долго не разговаривая, наотмашь треснула по белеющему пятну лица крепкой ладонью и приказала убираться. Доктор выругался, задом выполз из палатки, напоследок пригрозив, что разберется с ней на работе в клинике.

Тошно стало у Вероники на душе, грязно. Она долго не могла уснуть, а когда провалилась в забытье, то пришло чудное видение... Она летела над желтой землей и видела сверху огромную массу людей. Они ей не казались толпой, каждого человека она видела отдельно.

С ужасом понимала она, что вместе стоят — мертвые и живые. Она узнавала многих из них. Людское море заливало землю от горизонта до горизонта. Все они были красные, огненные на желтом фоне... Страшно было Веронике, холодило сердце. А она все летела и летела, и не было конца красным людям... Сон был настоль пронзительным, ярким и пугающим, что пробудил ее глубокой ночью. Бешено колотилось сердце. Вероника выскочила из спальника и опрометью кинулась к потухающему костру.

Так и просидела у огня до утра, боясь вернуться в палатку.

Четверо суток Дубровин ходил в одиночестве вокруг сопки. Не мог найти памятного камня и той теклинки, куда сволок померших казаков. Извелся весь, осунулся лицом и сгорбился. Не давался в руки клад, видимо, смертный грех отводил, кружил и не дозволял прикоснуться к ухороненному золоту.

Утром, на пятый день, Гусев не выдержал:

— Дед, может быть, ты все придумал? Так признайся лучше, не мучай себя и нас.

— Молкни, паря! — осерчал Маркелыч. — Видать, присели мы не у той сопочки, к северу еще была пара двугорбых... прикажи свернуть табор, и двинем туда. Скарб можно лодками резиновыми по реке сплавить, как раз в ту сторону текет. Прикажи! Каменная осыпь тут не та, курумника нет.

— Давай вызовем вертолет и перелетим?

— Погоди, не булгачь людей... Тут всего верст пятнадцать, за день переберемся. Я в дороге пригляжусь, зацеплюсь глазом за приметы. Давай пехом.

Вторая сопка оказалась тоже не та. Двинулись к третьей. Маркелыч долго оглядывал ее от берега речки и неуверенно обронил:

— Кажись, она...

— Маркелыч! — раздраженно проговорил Гусев. — Если и это не та сопка, вызываю вертолет!

— Дело хозяйское, дак приказ не исполнишь... вызывай, улетай, а я тут остаюсь. Все одно сыщу. Мне вашего золота не надо, а тетрадочки свои в котомке унесу. Улетай!

Разбили бивак, старик опять ушел с лопатой к сопке. Вернулся затемно, успокоил:

— Кажись, нашел... утречком станем копать.

С запада наплыла низкая туча, и до полуночи молотил мелкий дождь. К утру разведрило, ударило яркое, теплое солнце. Вся группа гуськом пошла к сопке, на плечах несли лопаты. Росная трава как-то особо благоухала, отпар цветочного настоя шибал в ноздри. Старик остановился на небольшой полянке, отмерил от вросшего в землю камня десяток шагов и очертил лопатой квадрат метра четыре на четыре.

— Где-то тут! Копайте.. должно быть не глубоко, шашками рыли яму... Принимайтесь за дело.

Врач за время поисков и переходов приучил всех к редким и удивительным таблеткам в желатиновых разъемных капсулках. Этот секретный «допинг», как он его называл, сразу прибавлял силы и снимал усталость. Он опять засуетился, все ребята получили заветные таблетки и проглотили их, по очереди запив водой из фляжки. Только один Маркелыч упорно отказывался от допинга, плевался и ругал врача в лохматую бороду. Силенок ему хватало своих.

Дружно принялись рыть землю, а старик со своей лопатой ушел в лес к небольшому овражку, густо поросшему кустарником и бурьяном. Выкопали яму с метр глубиной, но никаких признаков сундука не обнаружили. Кликнули Маркелыча. Землекопы удрученно стояли вокруг ямы и выжидающе смотрели на него. Гусев опять подступился с сомнениями:

— Дед! Может быть, хватит нам мозги вправлять?! Никто здесь ничего не зарывал, веками суглинок слежался. Может быть, ты ошибся?

— Сказано, копайте! Золото имеет норов в землю уходить... всяк старатель знает. Ройте! — сердито оглядел всех и опять ушел в кусты.

Только к обеду, на глубине двух метров шестидесяти сантиметров, лопаты ударились о твердое. Гусев спрыгнул в яму, осторожно разгреб руками землю и увидел почерневшие дубовые доски, окованные медными полосами. Дальше работали осторожно. Обрыли сундук со всех сторон, он был закрыт на проржавевший амбарный замок. Позвали Маркелыча. Тот скоро пришел, встал медведем на краю раскопа, строго промолвил:

— Гусев, убери лишних людей из ямы, то, што вы счас увидите, не для слабонервных. Поддень ломиком замок, ключ я утерял... кажись, в Шанхае...

Гусев и его помощник сорвали замок, поддели лопата-

ми крышку. Медленно, со скрипом и скрежетом, она откинулась, и открылось нутро сундука. Все замерли... Хлынуло солнце из земли... По самый верх сундук был набит золотой посудой, монетами царской чеканки, иконами, табакерками и портсигарами в дорогих каменьях, золотыми ложками, причудливыми сосудами... В углу чернела потрескавшейся кожей пухлая офицерская полевая сумка и рядом маузер в колодке...

— Вот это да-а-а, — тихо проговорил кто-то из молодых ребят, — тут же золотья на миллионы!

— Ему нет цены, — отозвался Маркелыч, — это золото государственной казны, золото царей наших... Глядите не уворуйте! Сам порешу, коли возьмете хоть малость... Это золото не наше... Принадлежит России самой! Все просчитайте, опишите. А может, и не надо, у меня в сумке опись есть, подай иё, Гусев...

Дед открыл сумку и вынул пожелтевшие листки, заполненные каллиграфическим почерком. Внимательно просмотрел их и уверенно заключил:

— Все занесено в реестр до монетки. Тут одних десятирублевок царской чеканки, ежель перевести с фунтов, будет сто пятьдесят девять килограммов, общий вес золота с окладом редких икон, посудой и прочей художественной мелочью более двадцати пудов... Вот так-то, ребятки... Оприходуйте, опечатайте в холщовые мешки, что загодя я велел припасти, и повезем это добро в Москву, в Гохран иль в Оружейную палату, куда надобней, там определим...

Старик бережно извлек из ссохшейся сумки три толстые тетради в клеенчатых переплетах и торопливо стал их листать, радостно проговорил:

— Слава Богу! Можно прочесть, — опять уложил тетради в сумку, завернул ее в снятый с себя пиджак и отнес свой драгоценный архив в сторонку.

Опись клада длилась до вечера. Гусев сам извлекал из нутра сундука золотую вещицу и диктовал помощнику ее название, после чего она тщательно взвешивалась на специальных аптекарских весах и упаковывалась в мешок. Вечером он сверил опись Дубровина и свою, все вроде сошлось точно.

Уставшие, перемазанные суглинком люди ужинали прямо у разверзнутой ямы, получив с устатку от врача по стаканчику спирту и привычной таблетке-допингу. Врач был непривычно спокоен, поблескивал стеклами тяжелых очков, важно расхаживал возле кучи мешков, опломбированных и пронумерованных алой краской. Вероника забеспокоилась о старике, который опять надолго ушел в лес, и направилась к нему. Ее догнал врач, сунул в руку желтую таблетку.

— Выпейте немедленно, Вероника Александровна, на вас лица нет... Конечно же, такое увидеть! Какие драгоценности! Какие там кольца в шкатулках, ожерелья, подвески с бриллиантами, изумрудами... С ума можно сойти! Выпейте, я приказываю!

— Сейчас, сейчас, — она видела глаза врача, и что-то в них настораживало, пугал какой-то лихорадочный блеск, шизофренический гипноз, его не могли скрыть даже очки, — сейчас выпью, только найду Маркелыча.

— Выпейте немедленно, — жестко настаивал врач и узил глаза.

— Я прекрасно себя чувствую, — проговорила она и вдруг услышала сдавленный крик от раскопа, — что там случилось?

— Все нормально, ребятки радуются, я им весь спирт отдал. Выпейте! — врач оглянулся и вдруг бросился назад.

Вероника пожала плечами, повертела в пальцах желтую капсулу и выбросила ее в траву. Старика она застала за работой. Маркелыч сделал свой раскоп. На траве валялись ржавые стволы кавалерийских карабинов, казачьи шашки в истлевших ножнах, на дне ямы груда почерневших костей и черепов. Маркелыч все укладывал ровнехонько, вздыхал и трясся в плаче, когда Вероника неслышно подошла к нему. Испуганно оглянулся на нее и сник.

— Вот он, девка, грех-то мой... Порешил людей зазря... Неотмывный грех, — он сбросил в яму все оружие, оставил только одну шашку с сизым потемневшим лезвием, с едва заметными кольцами по нему, — это моя, возьму на память... Редкой златоустовской стали булат, никакое время ее не берет, хучь счас в бой с ней иди... даже остроту не потеряла. Ухватистая, бриткая! Бывало, в конных схлестках не было от ней спасу... австрияков рубил до седла... до седла и красных... что было... зачем? Вызверили народ и кинули друг на друга. Супостаты! — Он быстро закидал неглубокую ямку землей, отер шашку о траву и перекрестился над холмиком. — Простите меня, казаки... отдаю золото России... за нево

смерть приняли, а может, иначе мне надо было сделать... Бес попутал! Простите, родимые... Пошли, девка. Попрощался я, крестик какой-никакой соорудил над ними, теперь можно помирать. Пошли на бивак...

Издали доплыл зовущий голос врача. Маркелыч шел впереди, сжимая шашку под мышкой. Вероника едва поспевала следом. Старик выглянул из кустов и вдруг резко остановился, сильно и больно дернул за руку, пригнул к земле медсестру. Простонал, обернувшись к ней бешеным взором:

— Беда-а-а, девка! Один доктор... боле никого не видать. Я ить чуял, што так и будет! Беда-а-а...

— Что случилось? Что вы глупости говорите, какая беда? Пустите же мою руку, я пойду!

— Тихо! Неразумная баба! Ты только поглянь, как он с карабином рыщет... Беда! Ты вот што, мимо могилки беги к реке и ухоронись, из кустов не высовывайся... Нет, погоди. Сюда бежит, ляжь! Коли што случится со мной, уползай, не показывайся ему на глаза, порешит!

— Да что вы плетете?! Ведущий терапевт в Кремлевке!

— Потому и не показывайся, — зло шипел дед, — ах, я старый дурак! Куда сунулся, в самое паучье гнездо... Кому там нужен памятник русским людям! Ну не-е-ет... хрен вы получите! Лежи, не пикай, — старик проворно сунул шашку за спину под пояс брюк, пропорол ею дыру в штанине сзади и встал во весь рост с этим хвостом. Вышел на поляну в предвечерние сумерки...

— Дохтур! Дохтур! Там врачиха малость покалечилась, ногу в курумниках изломала, черт ее занес в каменья за цветками!

Он шел открыто на врача, слегка прихрамывая, размахивая грабастыми руками. Вероника с ужасом смотрела на него, на все это и ничего не понимала. Но какая-то необоримая, магическая воля Дубровина заставила ее повиноваться, вжаться в землю и затаиться. Доктор пер на старика со вскинутым карабином, его нервный, язвительный хохоток доплыл к кустам.

— Здра-сте, господин полковник, а мы вас ждали...

— Где остальные ребятки, на бивак ушли?

— Там! — доктор кивнул головой в темнеющее небо. — Сейчас ты, старый хрен, отправишься их догонять... Значит, ножку Вероника сломала... Ах! Как жаль... бабец еще хоть куда... Жаль, придется ее тебе с

собой за компанию брать, но сперва я с ней побалуюсь...

— Не дури, вражина, ить тебе этого золота не вынести, не скрыться с им... Тут все милиция прочешет... Не дури!

— А теперь, полковничек, раскалывайся! Где еще схоронил колчаковское золото и сколько!

— Тебе этого мало?

— Мало! Завтра прилетят мои люди, и мы на дыбе вытряхнем из тебя тайну, да и специальные лекарства у меня есть, все расскажешь от психотропных укольчиков — с самого рождения! Ведь ты сказал генералу, что сундук — малая часть золота. Раскалывайся, или пристрелю! — Врач для испуга выстрелил поверх седой головы и спешно передернул затвор. — Ну?! Считаю до трех! Ра-аз... два-а...

— Ладно! Твоя взяла... есть ухорон в озере, шашнадцать подвод в полынью разгрузили золота, всех возчиков потом вырубили начисто.

— Где эти озера?!

— Дак на словах разве покажешь, а без меня никто не знает, — старик сделал пару шагов вперед, мрачно глядя на черную дырку ствола в трех метрах от себя и на горящие кровью очки от заката, переступил еще шажок.

— Не приближайся! Убью!

— Так же мы вроде сговорились, што укажу озеро. Отсель недалече... пару часов на вертолете... Монеты были в ящиках, прям с ними вместе и топили... золотье шибко тяжелое... шашнадцать подвод... это тебе не казачий сундук. — Могутный сделал еще шаг и вдруг радостно рявкнул через голову доктора: — Гусев?! Эт чё он надо мной вытворяет?! Под винтом держит! По какому приказу?!

Доктор резко обернулся к раскопу, вглядываясь, а когда начал поворачивать голову на Маркелыча, услышал над собой резкий соколиный свист, а потом хряск своей ключицы... ребер. Карабин сам выпал из правой руки, а левая, с косой половиной тела, отвалилась и ударила мертво по коленям. Голова еще работала в диком недоумении, он еще видел лицо разъяренного старика перед собой и невесть откуда взявшуюся окровавленную шашку, он еще услышал его громовые слова, перед тем как потух кровавый закат в глазах, залитый ослепительной тьмой:

— Баклановский удар тебе... собака!

Брезгливо вытирая шашку о заморскую одежду убитого, Могутный обернулся к кустам и громко пророкотал:

— Верка-а! Беги сюда скорей, скорей! Могет быть, кто ишшо живой там из ребяток?.. Отхаживать надо!

Вероника послушно выбежала на поляну, козой сиганула от разрубленного наискось врача и заорала дурниной.

— Перестань блажить! — ловко поймал ее Дубровин и легкой пощечиной хлестанул по лицу. — Охолонись! Беда, девка... Потравил он весь народ своими таблетками, видать, другие подсунул... Я сразу все понял... не зря он приручал к им... Ох, собака! Опять моя вина! Опять смерти за этим проклятым золотом вьются. Беги! Беги к яме скорей! — Сам поспешал за ней.

А вот и раскоп... Сведенные судорогой, валялись на траве все десятеро. По остановившимся глазам и синюшным лицам Недвигина сразу поняла, что помочь этим людям уже ничем не сможет. Она пьяно бродила меж ними, пытаясь нащупать пульс на холодеющих тяжелых руках, тонко, по-бабьи выла и опять плелась вокруг ямы. Вася, тот самый молодой, веснушчатый, крепыш, видимо, в смертных судорогах упал вниз на раскрытый зев сундука, обнимая его руками. Гусев успел вытащить пистолет, но не смог вставить обойму, она светилась тусклыми гильзами у него в кулаке.

— Сердца послухай! Послухай! Неужто все... Боже ж ты мой! — Дед сам кинулся расстегивать зеленые геологические штормовки, мял ухом еще теплые груди молодых ребят и наконец отступился. — Всех порешил! За это дерьмо, — он с силой пнул звякнувший мешок, подошел и обнял вздрагивающие плечи медсестры. — Успокойся... в страшную карусель мы попали, тут очень большие чины замешаны... Надо быстрей уходить.

— К-к-куда?!

— Мне-то один хрен помирать, а ты девка молодая... жить надо... Ребят в этой яме зароем, золото по реке сплавим и перехороним.

— Как зароем?! Надо сообщить в милицию!

— Ду-ура! Иль ты не видишь, што самая верхняя милиция тут замешана?! Дура! Откель этот очкарик прознал, што я говорил министру об останнем золоте? Слухай во всем меня, иль сгибнешь почем зря... а помирать тебе никак нельзя... ни в коем разе... Ты ишшо не ведаешь, как ты нужна, девка! Каменная, булатная стань, слезы иссуши, чтоб ни одна хворь, ни одна пуля тебя не взяла... Ты наследница Русского золота! На-а-асле-едница-а!!! Поняла?! Ты должна ево принять от меня и передать России, когда люди в ней при власти будут, а не звери... Поняла хоть?

— Что вы говорите?! Какая наследница! Надо сообщить...

— Молкни! Бери за ноги вот этого...

— Зачем?

— Сказано, бери! — Старик опахнул ее жесткой силой своих глаз. — Вот так-то... Слухай меня, выбору у нас нет...

Он уложил всех вокруг сундука по дну ямы, прикрыл им лица одеждой и взялся за лопату. Вероника уже сама подняла лопату с земли, стала бросать суглинок в раскоп. Работали молча, почти до полуночи. Ущербная луна нависла в зените. Ее тусклый, дьявольский свет озарял мертвенно две согбенные тени. Когда зарыли и заровняли, Могутный притащил бурелома, комьев мха и наспех замаскировал раскоп.

— Хватит! Утром подправим... пойдем того гада в кусты оттянем. А потом на бивак, и спать! Нам силы нужны, девка, много сил...

Они перетащили хлюпающее кровью тело врача в овражек, старик наскоро закидал его землей, тихо ругаясь в бороду:

— Шашку о тебя осквернил... поганый... Да штоб тебе пусто было... дьявол! Сколь горя наделал...

Пришли в пустой лагерь. Маркелыч разжег костер, разогрел в нем банки с тушенкой, поставил перед Вероникой. Делал он все неспешно, уверенно и молча. Приказал сурово:

— Ешь!

— Не могу, какая уж тут еда...

— Сказано, ешь через силу!

Она опять безвольно повиновалась, не разбирая вкуса, глотала горячую тушенку, слезы текли по щекам, все тело колотило дрожью, зубы выстукивали по ложке. Ужас от случившегося парализовал ее сознание, все казалось нереальным, как во сне... Ей чудилось, что вот сейчас очнется и увидит у костра знакомые лица ребят... Гусева, врача... Не могла вместить ее душа этих смер-

тей, не осознавала еще ни слов старика, ни происходящего. Она взглянула на Маркелыча, коршуном застывшего над жарким костром. Только сейчас заметила, что он в одной белой рубашке, порванной и грязной. Большие ладони его сжимались в кулаки, и опять безвольно распрямлялись сильные пальцы. Огромный и страшный своей мощью, он смотрел на угли, губы что-то шептали сокровенное, не слышимое ей. Вероника вздохнула, поднялась и заботливо укрыла его спину и плечи одеялом из палатки.

— Благодарствую... слава Богу, прошла у тебя паника... Беда-а, девка... надо нам держаться вместе. Мы теперь им лютые враги, станут ловить нас беспощадно, вот поглядишь... Завтра начнем сниматься отсель, и один уговор — слухать во всем меня. Такие дела не для жалостливого бабьего ума... Золото надо сплавить по реке хоть на пару верст, тут сыщут собаками... У нас с тобой очень важное есть дело, окромя бегов от них.

— Какое?

— Не все сразу, потом скажу... Иди спать, утро вечера мудреней.

— Какой теперь сон! Я боюсь... Зачем он отравил ребят? Он что, шизофреник, больной?

— Задание у нево было такое, с первого дня к таблеткам приручал... А потом дал яд в тех же капсулках... Сволочь. Сам он на такое бы не пошел, одному такой кус не заглотить, не спрятать, не вывезти золотье... Кто-то очень сильный и хитрый стоит за ним. Кто?! Иди спи... Мне подумать надо и тоже вздремнуть малость. Завтра тут не должно быть и следа нашего лагеря, все травинки распрямлю, все лишнее утопим в яме реки, в улове вот том, и поплывем, девка. Вот тебе оберег, держи, — старик сунул ей в руки тяжелый пистолет Стечкина, — хорошая машина, и патронов много... обойма вставлена, вот так взводится, вот предохранитель. Я разобрался, вот еще три обоймы запасных. — Могутный пристально взглянул ей в лицо своим пронзительным, голубым взором и тихо, приказом добавил: — Кто бы на нас ни вышел, кто бы ни попытался взять силой... бей наповал и не раздумывай!

— Да вы что?!

— Ты все поймешь, девка, у того порога, к коему я тебя приведу вскорости... и меня уложишь, ежель оступлюсь... дай только срок. Ты не понимаешь груза судьбы,

коий пал на твои бабьи плечи, а больше некому быть заместо тебя... время жизни истекает, исходит. Я же тебя насквозь вижу с перьвого дня; характер крутой, а все под слабую бабу подлаживаешься... добрая ты, от этой причины и невезучая, всяк на доброте и сердобольносги норовит ноги вытереть...

— Какая уж есть.

— Родом откель? — допрашивал дед.

— Донская казачка.

— В точку! — обрадованно просиял он лицом. — Тогда у меня на душе покой... Выдюжишь! Порода сломаться не позволит!

— Маркелыч, выпейте спирту, вы продрогли... заболеете, — она принесла свою фляжку и плеснула в кружку.

— Себе малость налей, ты тоже вся дрожишь. Помянем ребяток и-и... казаков моих... как все в жизни кругами повторяется, чудно мне... Лучше бы я помер, а жили бы они, смерти не ведали... Угораздило попереться в Москву! Досель не пойму, какой черт мне это на ухо нашептал, заставил? Пришла идея поставить памятник, накатила... — Старик выпил одним махом, раздышался и ушел спать в палатку.

Вероника хлебнула спирта, чтобы успокоиться. Обожгло горло, и тепло разлилось внутри. Она утерла губы рукавом и закурила. Долго сидела у огня, озираясь на шорохи в кустах. Тяжелая рукоять пистолета оттягивала ладонь. Красивое, хищное оружие привораживало. Когда особо сильно затрещало на другом берегу реки, Недвигина вскинула пистолет и ударила короткой очередью на шум. Кто-то испуганно рявкнул. Услышала обеспокоенный голос старика из палатки:

— Чего ты там смолишь? Это медведь с вечера лазит...

— Медведь?! — Она сиганула в палатку к нему, испуганно шаря во тьме рукой. — Ведь может нас задрать?!

— Эхе-хе-е... Медведь — невинное дитя перед свирепостью тех, кто за нами придет. Спи, девка, коль боишься, прилягай рядышком.

Она девчушкой в страхе приникла к нему и почуяла тяжелую ладонь, оглаживающую щеку и волосы. Эта отцовская ласка успокоила ее и усыпила...

* * *

Снег был голубым, а огромная лайка, запряженная в нарты, белой-белой на его фоне. Вероника ехала с Маркелычем по зимней тайге, лайка стремительно и легко несла нарты. Над их головами покоилось низкое звездное небо... Они летели по льду какой-то огромной реки, сжатой скалами в заснеженных лесах. Сказочная картина открывалась ей за каждым поворотом, за каждым кривуном... По берегам паслись дикие олени, копытя снег; он фонтанами вздымался и оседал... олени не боялись их и собаки. Огромная оранжевая луна продиралась через дебри лесов на скалах, пригашая звезды. Лайка оборачивалась на бегу и смотрела на Веронику умными, огнепными глазами... Гонка сквозь ночь в тайгу будоражила, на сердце было легко и привольно. Она чуяла, как крепко держит ее, обнимает могучими руками Маркелыч, не дозволяет упасть на крутых поворотах...

Ехали долго, неустанно неслась лайка и вдруг остановилась в верховьях глухого распадка. Старик соскочил с нарт и повлек Веронику за руку, громко и ликующе сказал:

— Смотри! Смотри! Смотри! Я привез тебя к царице Ели...

Вероника завороженно глядела на огромнейшую ель, вершиной своей уходящую в небо. Казалось, что она касалась звезд и они горели на ее бархатных, снежных лапах как украшения. Ель чуялась живой, могучей... вечной! Эпическая музыка лилась от нее, с неба, со всех сторон. Старик подошел к комлю и коснулся лбом шершавой коры огромного ствола. Вероника сделала то же самое, а когда подняла глаза, пробралась ими меж толстых ветвей к вершине... вдруг почуяла невесомость, устремилась душой туда, полетела и увидела звезду, лучистую, близкую и родную ей навек, знакомую с рождения... Уже с необозримой высоты она увидела белую лайку и стоящего подле ели старика. Они глядели на нее. И тут ворохнулась в ней такая жалость к нему, такая жуткая печаль, что вернулась... Лайка лизнула ей в лицо горячим языком.

Вероника вздрогнула и открыла глаза... Солнце поднялось над лесом, его горячие лучи лизали ее щеки через отвернутый вход палатки. Маркелыча не было рядом. Она испуганно вскочила и выглянула наружу. Старик сидел на корточках у берега, неотрывно глядел на бегущую воду, на живую игру солнечных зайчиков по ней. Река дышала, лилась, пошумывала на перекатах меж камней — пахла свежестью и жизнью.

* * *

Вскоре они уже работали. Маркелыч так тщательно замаскировал раскопки, что трудно было случайному человеку заметить это место, да еще надо было попасть на эту полянку среди лесов и сопок. Потом он повел ее к теклинке, со вздохом выдернул крест из могилы казаков, глухо промолвил:

— Господь заставил мучиться всю жизнь... Я их всю жизнь перезахоранивал... думал часовенку тут срубить над убиенными... Не довелось. Все пошло по второму кругу. Опять... — Он положил крест на могилку и прикрыл, замаскировал тонким дерном.

Вероника глядела на него, и ей стало страшно от той боли, той необратимости греха, что читались на лице и в глазах Маркелыча. Он ссутулился, померк весь. Истово крестился на все четыре стороны, стонущим шепотом молил Господа и души погубленных им казаков простить его, покарать самой лютой карой за неразумность и зло давнее... Словно черный смерч кружил его над окаянным местом: и пытал, и мучил, и терзал до умопомрачения.

С трудом увела его Вероника к биваку. Шел и вздрагивал спиной, понуро свесив голову на грудь. Опять промолвил с горечью безысходной:

— Господь заставил мучиться всю жизнь...

* * *

Все лишнее в лагере убрали, зарыли, утопили в улове с тяжелыми каменьями. Даже кострище Маркелыч замаскировал так, словно век тут росла трава и пламя не вздымалось. Накачали две новенькие лодки-пятисотки. На первой — палатка свернутая и рюкзаки с провиантом, сзади на буксир привязанная лодка с мешками золота. Маркелыч переоделся в старенькую одежонку, прихваченную из Москвы, костюм аккуратно свернул и ухоронил в тюк под себя. Кинул на плечи карабин, собрал из прочных дюралевых трубок байдарочное весло и царственно пригласил Веронику:

— Садись, королева... Время не ждет, — перекрестился спешно и отпихнул берег.

Плыли вниз по реке до сумерек. На ночь костра не разводили. Закутались на острове в палатку и уснули, грея друг друга. С рассветом опять тронулись в путь. Старик все оглядывал берега и наконец у одной приметной скалы причалил к косе.

— Вон в тех осыпях и зароем золотье... примечай, девка, шибко заруби в памяти это место.

— Примечаю...

Они осторожно разобрали навалы обомшелого плитняка и сложили мешки, сверху опять навалили камень. В двух шагах не отличишь. Одну лодку Маркелыч спустил и обернул резиной мешок с иконами, сокрушенно проговорил:

— Лодку мыши все одно посекут... иконы надоть быстрей вывезти отсель, могут отсыреть. А какая хорошая лодка, посудина справная... легкая, через перекаты сигает, хорошая лодка... справная, жалко...

— Хватит вам, — усмехнулась Вероника, — миллионы зарыли, а лодку жалко.

— Я ить охотник-зверолов, тигров сколь переловил, всю жизнь в тайге... Знаю цену лодкам. На ней ведь целиком сохача можно увезти. Справная посудина. Ниче... сама видала, разрезал надувные борта, и иконки в сухости теперь, сырость не проникнет. Токмо мыши бы поганые не прогрызли резину. Скоро заберем, коль сами живы будем...

На третий день пути услышали гул вертолета. Он кружил в верховьях реки, откуда сплыли. Маркелыч мигом пристал к берегу, выкинул в густой тальник вещи. Выдернув лодку на гальку косы, лихорадочно вывернул клапаны и спустил ее. Комом унес под ели, закидал мхом и лапником. И вовремя. Вертолет косо несся над самой рекой. Спрятавшись за стволы толстых елей, они наблюдали за ним через навесь хвои. Рев приближался, густел. Машина стремительно пронеслась с утробным клекотом над самыми верхушками деревьев и ушла вниз по течению. Вероника прижалась смятенно щекой к шершавой коре, явственно вспомнился недавний сон... Подняла глаза вверх и вдруг почуяла исходящую от дерева, вливающуюся в нее животворную силу, мощную энергию, пахнущую хвоей и смолой...

— Маркелыч! Вертолет нас ищет? Может быть, вы зря страхи нагоняете?

— Началось... Так могут и прихватить на воде... иль впереди засадку кинуг, — не отзываясь на ее вопрос, проговорил он, — нам бы ишшо пару ден сплыть, потом уйдем тайгой, — помолчал, взглянул на нее и все же ответил: — Погоди, скоро увидишь... скоро сама будешь чуять их за собой...

Они плыли всю ночь, натыкаясь на камни и мели, вымокнув до нитки и озябнув в сырости, сталкивая лодку, обводя ее вокруг препятствий. Перед утром, сквозь белесый туман над рекой, увидели огонь потухающего костра на берегу и озаряемую им точно такую же шатровую палатку, какими их снабдили в Благовещенске.

— Гляди, — прошептал старик, — палаточки-то с одного склада, редкие в тайге. Нас поджидают ребятки... Ищут. Тихо...

Около палатки маячила тень человека, он размеренно ходил. В отблесках костра ясно заалел приклад автомата.

Маркелыч и Вероника полулежали в лодке, плывшей сквозь низкую кисею тумана. Старик подвинул карабин к себе и настороженно глядел на часового. Булькала на близком перекате вода, зашелестели листья берез в утреннем ветерке. Река пахла сыростью, прелью.

Недвигина вполоборота смотрела на удаляющийся огонь, положась уж совсем на разум Дубровина. Она начала понимать, что судьба кинула ее в смертную игру, выхода из которой она не знала. «Что же теперь? Всю жизнь скрываться? От кого? Квартира в Москве, работа... Что же делать?»

Глядела на merклый огонь, он уходил в туман, в небытие, как и вся ее прошлая жизнь. Зябко передернула плечами и отняла у Маркелыча весло.

Она стала грести с упоением, сильно и яростно, словно убегая от дымного костра своего прошлого, к яростному солнцу, вымахнувшему из-за сопок.

Могутный внимательно смотрел на нее, на эту перемену чувств, на вдохновенное лицо и устремленные к свету глаза. Она гребла до изнеможения, и он ей не мешал, пока не увидел на весле кровь от лопнувших мозолей...

— Ты чё это, девка, запалишься, — наконец отнял весло и стал грести сам, направляя лодку меж летящих

встречь камней гудящего переката, — отдохни... Чё с тобой!

— Да «ничё», — передразнила она его и устало опустила руки в холодную воду за надувные борта. Закрыла глаза, сладостно потянулась всем телом, — есть еще порох в пороховницах! Как говорил мой дед... Колдун ты старый... куда ж ты меня затянул? Куда мы плывем по этой реке?

— Хто иё знает... В новую жизнь, так думаю. У тебя она вторая будет... У меня третий круг...

* * *

Дневали они в издальке от реки, на сухой террасе, заросшей спелым сосняком. Маркелыч разгреб круговину хвои до самой земли и запалил маленький, бездымный костерок из смолистых веточек сосны. На нем и сварили из консервов обед. Летнее солнце скоро высушило одежду. Вероника стыдливо закрывала грудь крыльями огромного пиджака деда, полы его доставали колен. Старик же ее вовсе не стеснялся, крутился у огня в одних непомерных кальсонах, привычно готовил таежную пищу. Недвигина пристально смотрела на его могучий торс и поражалась. Ровная, загорелая кожа бугрилась мышцами, как у спортсмена. Ни старческой дряблости, ни морщин.

— Маркелыч? Ты в каком холодильнике с революции лежал? Ты посмотри на себя — строен и подборист, как мóлодец. Как это тебе удалось сохраниться?

— Я русский офицер, — коротко отрезал он.

— Но и офицеры к вашим годам стареют!

— Слово знаю... травки пользую, корешки... опять же панты маральи... женьшень и всю китайскую медицину у них перенял. Мне стареть и помирать нельзя было, и теперь нельзя, пока не передам тебе русское золото в сохран. Вот коль ты примешь, выдюжишь... сразу и помру.

— Не надо, ты еще лет полста проживешь с такой статью...

— Дай-то Бог... Ядрена корень, совсем ить нет охоты помирать, — лукаво ухмыльнулся он. — Бедовая ты, Верка... Страсть как правишься мне, адак годиков полста бы скинуть, враз бы умыкнул!

— Умыкни... от такого корня я бы с удовольствием родила богатыря... Вот же порода была, начисто извели...

— Извели... Это точно. Раньше красивый, дюжий народ был!

— Ну и что будем делать, как жить дальше? Вразуми!

— Спать... до вечера. Спать. Ты спи, а я покараулю.

Только Вероника задремала, как услышала хруст валежника, испуганно очнулась и увидела спрыгнувшего с оленя пожилого эвенка.

— Здравствуй, — приветливо поздоровался он и подсел к огню.

К удивлению Вероники, Маркелыч встретил чужака очень приветливо, подбросил свежих дровишек в костер и навесил котелок с водой. Добродушно заверил:

— Однако, чай будем пить!

— Цай хоросо-о, — довольно промолвил гость и закивал головой.

— Рассказывай, — обратился к нему Маркелыч.

— У-у-у! Шибко много люди вас ищут, — махнул эвенк рукой вверх по реке, — ба-а-альшая экспедиция... автоматами, собаки... шибко больсой нацяльник прилетел вертолетка... У-у-у! Полна тайга люди...

— Откуда вы знаете, что нас ищут? — встряла в разговор Недвигина. — Это не нас... мы — геологи.

— Не мешай, — отмахнулся Маркелыч и вдруг заговорил с гостем на эвенкийском языке.

Тот слушал, сосредоточенно кивал головой, посасывал папиросу. Потом стал азартно говорить по-эвенкийски, приветливо хлопал по плечу старика ладонью, обернулся к Веронике и произнес на русском:

— Амикана Маркелыч вся тайга знает... шибко давно хотел с ним цай пить, говорить... У-у-у! Шибко хоросый люча! Много эвенков спас, много добра делал таежному народу... Пасиба, пасиба! — Он вдруг вскочил на ноги и стал кланяться.

— Сядь, Карарбах... не к лицу поклоны-то, — урезонил его смущенный Маркелыч, — связку оленей надо! Проводник надо к Черным озерам. Доведешь?

— Хоросо! К вечеру оленей из стада приведу, к Черным озерам приведу... шибко боюсь туда ходи, злые духи там зывут, много людей пропадай... Тебя — поведу... Хоросый целовек ты, Маркелыч! Мой народ тебя эвенком зовет. На праздник оленя закалываем... Всегда вспоминаем.

— Вот тебе карабин, дарю, — расщедрился старик.

— Пасиба, сам чем будешь! Много злых людей твоему следу идет! Мно-о-ога...

— Плохих людей с твоей помощью надурим, а хороших, вроде тебя, нам не помеха. У меня есть именное ружье, — старик вынул из рюкзака маузер в кобуре и достал его. На рукояти сверкнула тонкая золотая пластинка с вензелями букв. — Вера, на прочти.

— «Доблестному полковнику Дубровину от адмирала Колчака», — громко прочла она, с интересом разглядывая оружие. Оно было ухожено и тщательно смазано. Когда успел Маркелыч его вернуть к делу?

— Шибко хоросый маузер, шибко хоросый, — закивал головой эвенк, — олень стреляй, сохатый бей, медведь — амикан стреляй, це-це-це.

— К Черным озерам доведешь, и его подарю... зачем он мне опосля. Для охотника маузер — мечта. Сам знаю.

Эвенк распрощался, ловко вскочил на оленя и скрылся в тайге.

— Он нас не заложит? — несмело спросила Вероника!

— Никогда в жизни! Любые пытки пройдет, а не подведет друга. Удивительный и благородный народ. Люблю их, как детей своих... Они и есть дети тайги: доверчивые, честные, скромные. Великие трудяги и следопыты. Всю жизнь в палатках и в сопках при любом морозе. Водочкой их власть ваша погубила. Страшнее чумы и оспы для них водка, вымирают от нее, дураками делаются. А какой народ! Светлый и мудрый. Последние штаны отдаст хорошему человеку, а плохого за версту чует. Дружен я с ними всю жизнь... Если бы не они, в тридцатые годы замели бы меня, и к стенке! Так на перекладных нартах уперли в дебри Джугджурского хребта... за тыщи верст. Там и жил в чуме их князька, оленей пас, золото добывал, за нево оружие им покупал, патроны, еду и медикаменты. Два сына и дочь у меня от дочери князя... как буган здоровенные, ни один олень их не держит, все выучились, завели семьи, в Хандыге живут.

— А вы с ними не встречаетесь?

— Почему же! Гости-и-ил. Я же на охоту из Хабаровского края иной раз забредал то в Якутию, то в Магадан... Широко люблю жить в тайге! Ходок был раньше отменный. Но пуще всего по рекам любил сплавляться. Завалишь пяток сушин, свяжешь покрепче и-и... попер вниз. Аж вихрь водяной сзади на перекатах! Страх один для нормального человека... Любо мне, девка, быть мужиком, себя испытать, смерти самой в глаза глянуть и объегорить иё... В таких переплетах бывал! А я знал, мне смерти нет. Берегиня у меня за спиной, крылами обнимала, ласкала и благословляла... Россия... ей имя. Если бы не вынудили меня всю жизнь партизанить и скрываться, то сколь добра бы своим трудом ей принес, сколь дел бы понаворотил, да и не только я... Нет русскому человеку, особливо патриоту, жизни при вашем строе... Задавить норовят, посадить самых лучших и разумных, грязью замызгать, сплетнями заплевать... Как ладана, боятся черти доморощенные и заморские, что возродится Россия, умом своим станет жить, а не идеями дьявольскими ихними, разрушительными и смертными для богоносного, наивного и законопослушного русского человека. Потому и не нравится эта власть, ибо чужие правят нами, ты только поглянь на их рожи. Нахальные, богомерзкие, злые к нашим родовым корням. Все на Америку пялятся, жирный кус там ищут. Беда-а, девка... Ты спи, ночью стану приучать тебя скакать на олене. Ох, наука же трудная! У нево шкура по мясу бегает, как не приросшая вовсе. Того и гляди брякнешься наземь... Эвенки и те с палкой ездят для придержу. Спи-и...

— Да уж... на те «рожи», как говоришь, я вдоволь насмотрелась, — задумчиво и печально отозвалась Вероника, — на женушек их и детушек... Бр-р-р, — она передернула плечами, как от холода, — все в коврах и цветах, отдельные палаты... любые лекарства для Кремлевки, персональные врачи. Во многом ты прав, Маркелыч... только сейчас я начинаю понимать всю пропасть, разделяющую их и народ... О какой заботе к России ты говоришь?.. Боже... Да они, как пауки в банке, друг друга грызут, все к власти ломятся, детей устраивают на теплые места, в престижные институты... Номенклатура...

— Сон разума у нашего народа, — со вздохом договорил Могутный, — обирают его до нитки, а он молчит и терпит. Докуда же терпеть! Ладно жрали бы в три горла и жили, дак не-ет... норовят всю историю нашу с грязью смешать, глумятся так, что радио тошно слушать, телевизор и вовсе не гляжу. Прямо в глаза брешут людям, и хоть бы что...

— Дальше не поплывем?

— Нет резону... Они нас на воде, как утят, подловят. Медвежьими тропами пойдем, через сопки и гольцы. Што

Карарбах на нас вышел — это судьба... Поверь мне. В самые трудные минуты жизни Бог мне посылает на выручку за мое доброе этот народ. Как шаман ихний чует, что мне худо, и повелевает идти на помощь. Спрашиваю: «Как нашел?» Отвечает: «Вертолетка кружит, люди чужие... хотел глянуть, что за человек бежит от них? Если бандит — под мох... может на табор выйти и людей обидеть, если хороший — помочь надо».

Вот и вся их природная философия... без институтов и академий. Будь преступник на нашем месте, положил бы он его из тозовки, мохом прикидал... не шали в тайге, тут женщины и детки тунгусов в палаточках, их беречь надо от лихих врагов. И не осуждай за такое... У эвенков своя честь и свой суд. Не пакости в тайге, на земле ихней. И все-е...

Карарбах пришел затемно. Переложил вещи во вьючные сумы из грубого брезента, на самого крупного учага Маркелыч приладил спущенную резиновую лодку, связанную на две половины. Эвенк аккуратно заровнял хвоей залитое кострище, для страховки еще полил водой, чтобы не загорелась его тайга, и взгромоздился на передового оленя. Шли ходко звериной тропой вверх по распадку безымянного ручья, впадающего в реку. Шли неведомым путем, ясным только для проводника. Вызвездившее небо висело над их головами. Вороника приметила светлую и скорую точку спутника, и опять недоуменно ворохнулось в голове: «Действительно, как партизаны... на своей земле». Ей вспомнилась уютная квартира в Москве, работа, подруги... невольно защемило сердце, затосковало по городскому шуму и суете и легко отпустило...

Она шла вслед за Маркелычем, тот галантно придерживал ветки, чтобы не охлестнули ее. Перед дорогой сам навернул ей портянки и надел сапоги, чтобы не сбила ноги. Пробовал усадить на оленя, чтобы не устала... Кавалер... «Что же делать дальше? Как жить? Куда ведет он? Зачем?»

* * *

С раннего утра и до самого заката над тайгой кружили вертолеты. Развьюченные олени паслись у палатки, натянутой в густом ельнике возле махонького ручейка. К вечеру все выспались, отдохнули, готовились в путь. Маркелыч степенно разговаривал с эвенком о житейских

проблемах: есть ли зверь в тайге, о том, как лютуют бамовцы-браконьеры, истребляют дичь и рыбу, много ягеля подавили вездеходами, снесли бульдозерами, куда будут кочевать осенью эвенки за соболем... В разговоре они нашли общих знакомых на пространствах от Благовещенска до Магадана и Якутска. Интересно все это было слышать Недвигиной. Она впервые столкнулась с таежниками, внимательно смотрела на них и жадно слушала, впервые за все эти дни после трагедии у раскопа на ее губах появилась легкая улыбка. Маркелыч заметил это и радостно забалагурил:

— Оттаяла, девка! Слава Богу! Ден через пять дойдем к озерам, и нас сам черт не сыщет, уж там отоспимся вволю... Рыбы-ы... про-опасть! — Маркелыч вынул карту из своей полевой сумки, испещренную пометками от химического карандаша, и стал ее внимательно разглядывать, прикидывать расстояние до озер. — Карарбах, а ну глянь, где мы находимся-то?!

Эвенк живо заинтересовался военной картой, цокал от изумления языком, мигом разобрался в хитросплетении рек, ручьев и сопок. Уверенно ткнул пальцем в карту и проговорил:

— Однако, тут палатка наса...

— Ну-у... я и не сомневался, как по ниточке идем к цели. Эвенки — лучший компас, — он достал свои заветные тетради и стал их листать, — ага, вот... моя эпопея у Унгерна... Боже мой, что за человек был этот барон! Сбежал в тринадцать лет из своего имения на японскую войну, получил там серебряный крест за храбрость... Потом на австрийском фронте лиховал... потом на год исчез напрочь... ходили сплетни, что он был личным посланником царицы у Вильгельма. Чушь! Стал генералом, а тут кутерьма революции. Занесло его в Монголию, правил ею, буддизм принял... В войсках дисциплину держал железной рукой: снасильничал над бабой или украл чё — расстрел... другой раз прикажет расстрелять за то, что не грабишь и не насилуешь. Непредсказуемый самодур! Влюбился он там в одну молоденькую учителку, русскую беженку. Охранял ее, волосу с головы не давал упасть, а она близко не подпущала, фыркала... Унгерн страха не ведал перед смертью, в бой сам шел и свирепел до ужаса от крови ли, от кровей ли своих рыцарских — неведомо. Самое любопытное, что с японской войны еще он таскал всюду и везде за собой старую няню-алкоголичку,

под присмотром коей вырос. Боялся ее как огня. Она его спьяну била, как дитя малого, чем попадя... Сдали его свои же, хотели выкупиться за него. Повязали и везли на фурманке к красным. А как их увидели и сдрейфили, умчались обратно на конях, оставив Унгерна связанным на повозке. Красный разъезд наехал, и гутарят меж собой: «Кто это там под тулупом лежит на фурманке?!» А он им строго оттуда: «Сволочи! Развяжите и постройтесь. Я барон Унгерн!» Такого страху нагнал, что привезли, не открывая шубы, к командирам своим. А на суду чё вытворял?! При расстреле?! За такое геройство — солдаты отказались в него стрелять. Какой-то комиссар пристрелил... Боже-е... Как этого человека оценить в истории? Кто его оценит? Изверг, палач, белый генерал, наместник Монголии — с одной стороны; бесстрашный воин, офицер, герой многих кампаний — с другой стороны. Умеющий любить женщину свято и безответно, боящийся, как дитя малое, своей пьяницы-няни — с третьей стороны. Кто он, Унгерн? Человек или зверь? В моих дневниках масса материала. Бездна! Если бы написать все как есть в книге да издать ее в России... Не позволят, захоронят в сейфы о семи печатях, а то и сожгут. А тут, окромя правды, ничего нет. Ни слова лжи! Все видено своими глазами и писано вот этими граблями, — Маркелыч удивленно пялился на свои корявые лапищи, — неужто и правда... это я был в тех годах?! Стоял во фрунт перед Колчаком, пил с ним водку на балу в Омске, шел в атаку с Ижевским полком под Уфой, закрыл глаза Каппелю, этому умнице и герою русскому... Не верится самому! Вера! Эти дневники я тебе завещаю... сохрани. Придет время, напиши по ним книгу или напечатай как есть: «Дневник офицера Генерального штаба», весь материал в твоих руках, с оперативными картами, фамилиями, званиями... причинами и бедой поражения русского дела в той страшной, братоубийственной войне... Только Каппель смог растолковать русскому простому человеку пагубу революции и кто ее принес на нашу бескорыстную землю. Я помню досель гимн Ижевского полка в штыковой под Уфой, как-нибудь спою. Рабочий Ижевский полк, похоронив Каппеля в Харбине, весь, до единого солдата опять ушел на красных и весь лег под Волочаевском. Орлы! Какие это были орлы, Вера... Убежденные, что красные продают Россию, жертвенно ради нее шли яростно в бой и принимали смерть... ради нее...

Таких бы генералов и полков побольше в то время, не было бы теперь равных в мире Отечеству нашему: по богатству, мощи и духовному совершенству. За это нас и загубили...

Эвенк внимательно слушал, прихлебывая чай из кружки, не отрывал глаз от Маркелыча. Вероника поняла, что личность старика в тайге давно обросла легендами, каким-то богатырским эпосом среди кочевого народа, ибо в узких прорезях глаз Карарбаха светился почти мистический ужас, трепет и любовь к Амикану, как его звали они.

* * *

Недвигина все же сбила пятки до мозолей, и поневоле довелось осваивать науку езды на оленях. Падала, опять садилась на крестец покорного животного и все же освоила таежный транспорт. Они шли день и ночь под ущербной луной, останавливались на короткие роздыхи, подкреплялись сами, наспех кормили оленей и снова в путь. Все реже налетали самолеты и вертолеты, видимо, беглецы выскользнули из зоны поиска.

К вечеру пятого дня затаборились на берегу обширного озера. Уже без опаски натянули палатку, отпустили пастись исхудавших оленей, одного из них эвенк зарезал и наварил большой котел мяса.

— Однако, сейчас мозгочить будем и набираться сил, — радостно прогудел и потер руки Маркелыч.

— Как это, мозгочить? — спросила Вероника.

— Сейчас Карарбах тебя обучит, мило дело!

Эвенк вынул из котла берцовую кость оленя, ловко ее расколол и подал женщине. Душистым парком исходил костный мозг.

— Спробуй, спробуй, девка! — принуждал Дубровин.— Сладость непомерная... лакомство первейшее у тунгусов.

К вечеру Маркелыч накачал лодку и уплыл с длинным шестом по озеру. Вернулся к биваку ночью, уставший и хмурый.

Карарбах радостно вскочил, что-то обеспокоенно залопотал по-эвенкийски, испуганно оглядываясь вокруг.

— Не бойся, не тронут меня твои духи, — он обратился к Недвигиной, сидящей у костра, она шевелила палкой угли: — Боится наш проводник... дело в том, что,

по их поверью, именно в этих озерах живут души умерших тунгусов. Через воду Черных озер уходят их шаманы, обернувшись в рыб, в нижний мир. Никогда звенки не подходят близко сюда. Злой дух Харги сторожит царство мертвых, и они страшатся его... На их языке это место зовется Долиной Смерти. Вот куда я тебя завел, Вера...

Дубровин долго пил чай из трав, потом глухо сказал:

— Завтра со мной поплывешь, одному несподручно... Лодка вертится, надо кому-то грести...

— Рыбу ловить будем?

— Рыбку, девка... рыбку золотую. Глубина аршина три, все равно сыщу место, — он принес к огню свои старые карты, долго разглядывал их, шевеля губами, что-то читал на полях.

* * *

Выплыли в туманный рассвет. Играла и всплескивала рыба. Недвигиной стало жутковато, припомнились слова о душах умерших. Вода была темная и тяжелая, страшила своей глубиной, магнитила, звала. Маркелыч догреб почти до середины озера и уступил место Веронике, сам взялся за шест. Он отвесно тыкал им в дно, указывая направление движения. Из глубины поднимались и лопались большие пузыри, обдавая серной вонью. Вероника ничего не понимала, послушно исполняла волю старика.

Лодка кружилась и кружилась по темной воде, дед неистово что-то искал на дне, может быть, тот самый вход в подземный мир, куда уплывают шаманы... Когда солнце поднялось над лесом, Маркелыч вдруг радостно вскрикнул, извлек из рюкзака замотанную в тряпку стальную кошку и стал забрасывать ее в воду. Раз за разом она выходила пустая, черная от донного ила, и вдруг капроновый шнур напрягся. Лодку слегка перекосило, и притопило надувной борт, старик рывками дергал на себя шнур. И вот он медленно поддался, пошел. Дубровин осторожно, но сильно выуживал из воды невидимую рыбину. Скоро Вероника увидела край небольшого ящика, оплывшего черным илом. Маркелыч с трудом перевалил его в лодку. Замечая место, суетливо вогнал шест глубоко в дно и обрубил его в четверть над водой.

— Греби к энтому боку... приметь место, вон гляди, насупротив нас край горельника, теперь стреляй глазом на костер, теперь в третью сторону на энти вон камни у старой сосны. Мы как раз на перекрестье, в центре. Греби скорей, терпежу нету! — Он вынес на берег тяжелый ящик и сорвал топором сгнившую крышку, обитую позеленевшим медным листом. Устало присел на мох рядом. — Иди сюда, королевна, привяжи лодку и отворяй ларец, — поманил рукой ее, — иди... Вот погляны!

Недвигина с любопытством подняла крышку и отшатнулась. Ровными столбиками, завернутые в истлевшую от времени пергаментную бумагу, ящик наполняли золотые монеты царской чеканки. Она достала несколько холодных и мокрых десяток с профилем Императора, с интересом разглядывала их, взвешивала на руке.

— Это сколько же стоит сейчас ваш ларец?

— Он не продается, девка... Малость придется занять отсель, нету у нас документов и ухорона. А тебе пора уж осознать мою щедрость. Не дай Бог, я ошибусь, и ты плохой человек, позаришься на богатство, а я вот вынужден открыться, помирать скоро... не могу с собой унесть. Сгодится оно, золото это! Я чую нутром, што ох как сгодится и добром помянут! Но ежели ты худая баба и плохо распорядишься русским золотом, Господь тебя покарает! Это я тоже ведаю... Сгибнешь! Помни! С этого дня ты — наследница! Берегиня! Там ево, — дед кивнул головой на озеро, — аш шестнадцать подвод сгружено. Эко?!

— Шестнадцать подвод?!

— Да-да... и кони отменные были, да и сани особого ладу. От семидесяти до ста пудов на кажнем возу... вот и прикинь, помножь на шашнадцать.

— И что же мне теперь с этим золотом делать?

— Береги... Как застареешь, чуять смертушку станешь, коли раньше оно не сгодится для России, то передай тайну доброму человеку... сыщи ево, как я тебя сыскал. Ить чую нутром, што ты не подведешь. Бог прислал тебя... Он все видит!

— Не захвалите, — вяло усмехнулась Вероника, пересыпая тяжелые монеты из ладони в ладонь, — вот махну с этим золотом за границу, яхту куплю, самолет свой, мужа из знаменитых артистов найду, буду жить в замке старинном, с прислугой и собаками, — она озорно косилась на деда, дразня его.

— Не бреши. Пустым словам волю не давай! Сурьезно гутарим, а ты шутковать надумала... Сотню монеток отсчитывай, в рюкзаке мешочек уготовлен, это нам на

обжитье... остальное вот тут прирою, место запомни накрепко, заруби в памяти, выжги железом каленым несмывное тавро... Когда России худо станет и опять люд начнут изводить... Когда война подступится к нам, может, и сгодится это золотишко на правое дело. Десять ящиков я отдал с другова места супротив Гитлера... ловко получилось, вроде как нашли рабочие в старом склепе... а путь я указал. Так и живу. Банкир?!

— Банкир! — усмехнулась Недвигина. — Банкиры — партизаны на своей земле... Страшно.

— Правильно гутаришь... нет русскому места в России, выживают, гонят в рабство, нищетой изводят... Все видно и знакомо. Беда, девка! Хучь бы один справный мужик русский пришел к власти, сын Отечества, умняк и Хозяин! Вот тогда сгодится золотое наследие, такому можно будет чуток пособить.

— А почему вы разговариваете как-то архаично? Ведь вы же полковник царской армии? Значит, было образование, правильная и культурная речь?

— За правильную речь в НКВД к стенке ставили, а особо в ЧК и ГПУ... за офицерскую выправку, за чистое белье. Комиссары знали свое дело... иной раз за белые и чистые руки расстреливали. Вот меня жизнь и обучила играть... а потом обвык. Сладок русский язык. И ты не чурайся ево... не слухай ученых советов, многое погубили под видом прогресса. Москва — еще не Россия! Пустой, сорочий и вульгарный язык босяков — не признак культуры, а признак вымирания, исчезновения нации, утери ею своих дедовских корней, родовых... Так-то, девка. Небось у вас на Дону язык сохранен в станицах?

— Сохранился, но молодежь стесняется его, норовят говорить по-городскому.

— Зря! Городские должны учиться у простых людей. Ладно, поплыли к биваку. Карарбах скоро вернется с охоты, свежиной побалует нас. Да пора выходить из лесов. Ухорон нам я уже надумал. Будем пробираться в Якутскую землю. Там на время затаимся, документы в Алдане старые друзьяки нам сварганят, обличье изменим... не впервой.

На биваке Маркелыч достал ножницы из своего рюкзака, бритву и уселся на сухую валежину. Разделся до пояса.

— Вера, а ну иди сюда. Смахни мне накоротко волосье с головы и бороду напрочь, стану бриться теперь.

Позаимствовал лезвия и бритву у покойного Гусева. Стриги!

— Да я никогда не пробовала стричь.

— Пробуй!

Вероника запустила пальцы в его гриву и начала осторожно срезать длинный седой волос. Со спины близко разглядывала могучий торс его и дивилась. Ровная, гладкая кожа без признаков старения; под нею играла, шевелилась сила.

— Не могу поверить, что вам девяносто три года! В Кремлевке довелось немало лечить донельзя изношенных шестидесятилетних, обрюзгших, жирных и слабых. А такого не встречала! Вас надо показывать врачам на симпозиумах.

— Я те травки открою такие божественные, что сама скоро запляшешь незрелой девкой, — усмехнулся Маркелыч, разглядывая клочья сивой бороды на ладони, — вот счас побреюсь и сватов к тебе зашлю... Мило дело...

После стрижки сел на корточки у воды и намылил лицо. Брился тщательно, долго приглядывал в маленькое зеркальце. Вероника разогрела на костре обед и вскипятила чай, а когда подняла глаза на вернувшегося от берега старика — обомлела... Весело глядел на нее вприщур розовощекий мужик.

— Ну-у-у! — только и промолвила в изумлении. — Да вас сроду не угадать!

— Дай-то Бог... токма угадчики будут шибко мудрые, мне бы ишшо росток свой сократить на треть.

После обеда он натащил к костру каких-то корней и трав, долго отваривал-томил их в котелке на углях костра и подступился с ножницами.

— Теперь ты усаживайся на бревнышко, твоя очередь.

— Может быть, не надо? Женская прическа дело тонкое, лучшие парикмахеры Москвы мне ее закручивали.

— Садись-садись... надо, девка. Шибко ты яркая и приметная и дюжесть красивая, для любого мужика соблазн от тебя пышет, а он шибко памятен... а ить на люди выходим. Постриг в монахини тебе произведу... нету уж у тебя жизни мирской с моей тайной, счас сама себя не угадаешь... И чтоб другим неповадно было... Надо!

Он ловко орудовал ножницами, срезая пушистые локоны, и довольно крякал. Потом принес в котелке остывший настой, низко склонил голову Вероники к земле и

стал осторожно втирать густую жидкость в кожу, перебирая меж пальцев мокрые, короткие волосы. Укутал ее голову полотенцем и проворчал:

— Готово! Через полчасика сполоснешь в озере и просушишь. Эко солнышко разыгралось! Любо жить на белом свете.

Все выполнив в точности, просушив шелковистый волос, она глянула на себя в зеркало и расхохоталась. Из брюнетки — превратилась в блондинку с естественно русыми волосами.

— Как это вам удалось?!

— Жизнь... Если бы ты знала, девка, как я чудил раньше... Из молодца мог в старца обернуться, в калику перехожего. Один раз весь Благовещенск ГПУ перевернуло, а я сидел в отрепьях у них на виду, на паперти, милостыню клянчил и язвы налепные на ногах казал... Всяко было. Жизнь!

Он тщательно собрал волосы свои и ее отдельно, потом резко соединил их и сжал в широких ладонях в один комок, завернул в тряпку и привязал тяжелый камень. Забросил в Черное озеро. Вероника внимательно смотрела за ним, она знала от бабушки, что волос надо зарывать, ибо колдовские силы могут навредить, сглазить, навести порчу, используя волос твой. Она не противилась этому соединению черных и седых локонов, напротив, она обрадовалась этому, почуяла слияние их, закружилась слегка голова, она ощутила погружение в холодную глубину и увидела огромную рыбу, икряную и тяжелую, трогающую плавниками тугой сверток на дне...

* * *

Карарбах подошел к костру неслышно, испуганно пялился на сидящих людей и цокал языком. Смятенно проговорил, озираясь вокруг:

— Собсем молодой Амикан! Девка полинял, как белка весной! Шибко страшно! Злой дух Харги... место худое, — ошалело тряс головой, щупал свое лицо руками, теребил жесткий волос.

— Не бойся... олень зимнюю шкуру меняет летом, зачем мне в такую жару борода и лохмы, сам срезал.

— Шибко худое место, — не унимался эвенк, бросив двух убитых глухарей к костру. — Кочевать на бор ната, убегать ната... Души предков ворчат... у-у-у сердятся, шаманы злятся... пропадай тут, помирая собсем! Озеро проглотит нас... Кочевать ната...

— Что ж, иди, Карарбах. Мы теперь сами выберемся. Из озера вытекает речка, по ней и сплавимся в Зею. Спасибо большое за помощь.

Карарбах заметался, забегал. Мигом собрал пасущихся оленей в связку и побежал с ними от костра, позабыв получить в подарок маузер. Солнце клонилось к вечеру, в тайге неумолчно пели птицы, плескалась, жировала тяжелая рыба в озере, сизый дымок костра вился меж деревьев. Густотравье источало цветочный дух вперемешку с запахом смолы разопревшего от дневного жара сосняка.

Вероника лежала на мягкой подстилке у огня и следила, как Маркелыч увлеченно таскает удочкой, на мушку из ее волос, крупных радужных хариусов в устье небольшого ручья, вбегающего в Черное озеро. Легкая голубая дымка окутала противоположный берег, густые ельники у воды. Пара гусей низко прошла с мощным шорохом крыльев над деревьями, переговариваясь. Ленивая истома разлилась по всему телу Недвигиной. Куда-то в далекое прошлое, как в забытый сон, провалилась Москва... суетная работа, трели телефонных звонков. Живой мир тайги обступил ее, баюкал, исцелял душу и наполнял спокойной силой. Она еще не ведала, что ее ждет завтра, но чуяла рядом с собой того человека, на коего можно положиться во всем и до конца.

Они ели уху из одного котелка, нежную рыбу. Вероника снова научилась улыбаться, отходил шок трагедии.

— Завтра поплывем, — прервал молчание Дубровин, — ох и любо мне сплавляться по рекам. За каждым кривуном что-то новое, неведомое до радости открытия.

Недвигина подошла к озеру, потрогала воду рукой, обернулась к дремлющему у костра Могутному и крикнула:

— В этом озере можно купаться?! Вода теплая...

— Мо-ожно, гляди не утопни... не заплывай далеко.

— Я девкой Дон перемахивала запросто на спор, не потону.

Она отошла подальше, разделась донага в кустах и осмотрела свое тело. За время скитаний в тайге сошел лишний жирок, фигура стала подбористой и стройной. С разбегу нырнула в прозрачную воду и поплыла. Долго купалась, плавала на спине, пристально глядя в голу-

беющее от востока небо. Она услышала призывной кряк и увидела выплывшую из прибрежной травы утку с выводком, кряква манила за собой суетливых утят, что-то им заботливо лопотала.

Солнце еще висело над горизонтом, красное, раскаленное. Недвигину вдруг неодолимо потянуло на середину озера. Она невольно повиновалась этому зову и быстро поплыла саженками, как в детстве через полноводный Дон. Костер удалялся, солнце коснулось горизонта огненным краем, и в этот миг она ухватилась руками за конец шеста, торчащий над водой. Она обвила его ногами, низом живота чуя шершавую кору, слегка передохнула и, набрав в легкие воздуха, смело нырнула в глубину рядом с шестом, открыв глаза. В детстве она слыла отменной ныряльщицей, даже среди ребят, за редкими голубыми раками, которые хоронились под земляными камнями у подмытого Доном обрыва.

Холодная и прозрачная до хрустальности вода озера казалась розовой от закатного солнца. Подступало черное дно. Она сразу же наткнулась руками на груду ящиков,оплывших скользким илом, хаотично наваленных курганом почти до самой поверхности. Загребая руками, она медленно шла, поднималась по конусу этого кургана, всплывала вверх, а когда, хватанув свежего воздуха и отерев ладонью лицо, встала на самом верху пирамиды, то вода ей едва касалась грудей. Конец шеста торчал метрах в пяти.

Недвигина стояла на подводном острове жесткой пирамиды из ящиков золота, пристально глядела на ускользающее солнце. И вдруг ей почудилось в его закатном свете, что стоит она по грудь в крови, даже тяжелый смертный запах бойни ударил в ноздри. Последний луч солнца всплеснулся за ощетинившейся лесом сопкой, и ей стало так страшно, как не было никогда. Она готова была заорать, когда рядом выпрыгнула метровая щука в погоне за мелочью, она ощущала ступнями ног мертвенный холод, адскую силу золота, его дьявольский магнетизм... чревом своим чуяла твердость и шершавость осинового кола, его только что обвивала ногами... Словно околдованная, пялилась на далекий огонь костра, как на единственно спасительную искру в подступающей мгле. Медленно подняла глаза на небо, неумело перекрестилась мокрыми перстами и прошептала жалостным, отчаянным криком:

— Гос-споль... спаси и сохрани!

Она обернулась от заката к востоку, жадно что-то ища. Яркая ее звездушка замигала, засветилась из бездны космоса. И пришел удивительный душевный покой... Сила небесная снизошла к ней, наполнила волей ее члены и мозг, решительно сорвала и заставила стремительно плыть на огонь, не боясь уже ничего, кроме потери этого света...

Вернулась к костру потрясенная, озябшая, дрожащая всем телом, судорожно кутаясь в геологическую штормовку. Дубровин подал большую кружку кипятка с отваром каких-то трав. Она отхлебнула маленький глоток и подняла на него взгляд.

— Какая чудесная заварка, душистая, пряная. Дадите рецепт?

— Я тебе все отдам и всему научу... Пей, согрейся. Этот шаманский чай целителен. Лучше и чище всякой водки бодрит. Пей-пей. В нем и свежий золотой корень, и гриб особый, и травка редкая, и корешки иные.

Она жадно выпила кружку, и, действительно, легкий и радостный хмель вскружил голову, ее обступили яркие краски и пронзительно обострилось обоняние. Ушли все страхи, хотелось танцевать, петь, говорить и говорить...

— Это что, шаманский приворот?

— Не бойся, сам ить пью, видишь... травки разные бывают, на них что хошь можно сотворить... и жизнь... и смерть... А этот отвар силу дает, радость. Иной раз в тайге умаюсь, еле ноги тащу. Так вот запаришь котелок, выхлебаешь — и опять ноженьки несут резвые. Я ить с тунгусами многие года жил, даже шаманить могу, коль нужда приспичит, ихний шаман меня обучил... потому и не боюсь озера... хоть и вправду место тут тяжелое, смертное. Ложись спать, завтра денек трудный.

— Не хочется, какой теперь сон, — она тихо улыбнулась, смежила веки и запела тихим печальным голосом старинную казачью песню, памятную с детства.

Дубровин завороженно прикрыл глаза, лежал у костра на боку, вытянувшись во весь свой гвардейский рост, сладко подперев голову рукой. Слушал, повторял про себя слова песни, едва шевеля губами, потом резко сел, свесив тяжелые руки с колен, пристально взглянул на поющую женщину, а когда она допела последний куплет, негромко промолвил:

— Помнишь, я обещал тебе песню Ижевского полка: с

этой песней мы шли в штыковую под гармони... Это был лучший полк Каппеля, весь из рабочих. Это были убежденные люди! Какая страшная трагедия гражданской войны прошла передо мной и записана в трех тетрадях! Трагедия! Были они патриоты русские, которые поняли, что Россию разложили, отдали на слом и продали ростовщикам. В этом убедил ижевцев Каппель...

Маркелыч напрягся, встал во весь рост над костром и глухо, надрывно запел... У женщины побежали холодные мурашки по спине. Это было не пение, а стон... это был гимн Ижевского полка... Глаза Дубровина огненно взблескивали, тулово склонилось вперед, разошлись руки, слогно он еще держал трехлинейку с отомкнутым штыком. Унимая внутреннюю ярость, он пел тихо, едва слышно, но показалось, что сквозь ночь... тайгу... годы... сквозь просторы России, гортанно и под могучий рев гармоней... чеканя шаг... шел Ижевский полк.

Сброшены цепи кровавого гне-ета,
С новою силой воспрянул наро-сд...
И закипела лихая работа,
Ожили люди, и ожил завод!
Молот отброшен, штыки и гранаты,
Пущены в бой молодецкой рукой...
Чем не ге-рои и чем не солдаты-ы,
Люди, идущие с песнею в бой!
Люди, влюбленные в снежные дали,
Люди из слитков железа и стали,
Люди, которым названье — Руда!
Враг не забудет, как храбро сражался
Ижевский полк под кровавой Уфой,
Как с гармонистом в атаку бросался
Ижевец, русский рабочий простой...
Время пройдет, над Отчизной любимой
Сложится много красивых баллад,
Но не забудется в песне народной —
Ижевец — русский рабочий солдат!

Дубровин постоял молча, медленно сел. Горько промолвил, глядя в алый огонь костра:

— По обе стороны баррикад... были жертвенные люди, отдавшие жизнь за свои идеалы. А в общем-то — за Рос-

сию. Я уже говорил, что, похоронив своего любимого генерала в часовне Иверской церкви Харбина, полегли ижевцы на Волочаевских сопках за Русь святую, поруганную и преданную... Убежденные... Жертвенные! И они оказались правы... Отечественная война выявила брехню догм о «классовой солидарности» и «белой кости». Отборные эсэсовские дивизии были сплошь из рабочих. Выдвинутый Сталиным «пролетарий» Власов — изменник, бросил на растерзание и убой свою армию в Мясном бору... А потомственный интеллигент «белый» генерал Карбышев — герой! Угнетенные и преследуемые «лишенцы», дети «кулаков» и «врагов народа» — встали за Родину. Перед проблемой «быть или не быть» Сталин откинул на второй план идею «мировой революции», понял заблуждение «об интернациональной солидарности трудящихся» и вовремя заключил союз с «проклятыми капиталистами» против Гитлера. Даже ликвидировал Коминтерн в сорок третьем году, а его пламенных борцов сгноил в лагерях. Маркс если не провокатор, то заблудший дурак... Поп-расстрига своего буржуйского класса, обнищал отец, вот он и обиделся... написал черт-те что в отместку, а нам расхлебывать пришлось, платить миллионами жизней, реками крови... Дурак! А с ним и все большевистские деятели. Твердо скажу, что собственность — за всю историю человечества была рычагом прогресса! Вот так-то, девка... Имеем мы с тобой сотни пудов золота — мы сила, можем повлиять даже на ход истории. А отдай ево сейчас умникам из ЦК... все промотают, распылят, проедят русское золото за океаном, пропляшут, а толку никакого. Думаешь, им мировая революция нужна? Им Россию подавай на съедение... А золото это — собственность России, каждого человека в ней... Если ей будет худо, начнется развал и понадобится помощь... оружие ее патриотам, ее гвардии... — отдай им! Не осрами звания казачки!

— Отдам!

— Я вижу в глазах твоих вопрос: «Как попало золото в Черное озеро, причастен ли еще к смертям людей, связанных с ним?»

— Да, расскажи... я хочу знать все.

— Непричастен! Бог свидетель... а дело было так... испей еще кружечку отвара, и ты сама увидишь воочию, ближе подступится то прошлое. Тут на мне греха нет...

* * *

...Скрип полозьев тяжело груженного обоза. От измученных лошадей валит пар, на передках саней укутанные в тулупы возчики с винтовками. Впереди ломит путь по целику конный разъезд. Снег еще не глубок, мороз хорошо сковал землю под ним. Обоз тянется безлесными распадками, долинами рек и ручьев.

Большая полынья посреди озера... Люди торопливо сбрасывают в воду тяжелые ящики, обитые медными листами... метет поземка... начинается густой снегопад. Полынью маскируют, облегченный обоз ходко идет по своему следу назад, сквозь метель. Уставшие и голодные лошади падают, бьюгся в постромках, их поднимают и снова в путь... Пурга заметает следы обоза. Люди спешат быстрее выйти к жилью, уже не поднимают, а пристреливают загнанных лошадей. Обоз становится все короче... Наконец все сани бросают и пересаживаются верхом на уставших коней... А снег все валит и валит... Небольшая деревня в три дома, скорее хутор... Тепло... горячая пища, самогон... Ночью хутор окружает сотня казаков... Какой-то человек в генеральском башлыке отдает приказ: «Вырубить красных партизан без суда и пощады!»

Приказ выполнен. Избы горят, валяются мертвые тела, застывают на морозе... Сотня уходит на Благовещенск. Уже никто не знает, где спрятано золото, некому указать...

* * *

Вероника сидит у костра с закрытыми глазами. она с ужасом смотрит в прошлое. Глухой голос Маркелыча доходит издалека, будит в ней и разворачивает все новые образы, она слышит крики боя на хуторе, гул пламени, звонкие выстрелы и хряск шашек, и страх берет от людской жестокости, необузданности, смерти... Она вздрогнула, невыносимо больно, страшно... Открыла глаза и спросила Маркелыча:

— Но как же вы узнали?!

— В газете «Гун-Бао»... она выходила в Харбине на русском и китайском языках, служил бухгалтером генерал Вишневский... Был он начальником штаба у второго Пепеляева в последнем белом походе на Якутск. На смертном одре он мне открылся, специально позвал меня из России, и... пришлось опять, уже в который раз, пересекать границу... Он руководил этой операцией по захоронению части казны империи... Все ждал, когда советская власть рухнет, что скоро вернемся на Родину... Увы... Вишневский очень почитал стратегию и военное искусство Чингизхана... При захоронении золота в Черных озерах устроил ликвидацию свидетелей по его примеру. Именно так Великий Монгол похоронил себя. По преданию, с ним в могиле были зарыты несметные сокровища. Закопали его в чистом поле верные гвардейцы... прогнали над могилой тысячные табуны коней, и найти Чингиза стало невозможно... Когда они поехали от места захоронения, их окружила и вырубила тысяча... Тысячу — вырубил тумен. Воля Чингизхана работала даже после смерти. Досель могила его не найдена... никто не нарушит вечный покой.

— Но разве можно оправдать это золото, — Вероника кивнула в темь на озеро, — оправдать кровью безвинных и верных людей! Ведь те, кто утопил казну, тоже служили идее. Не пойму...

— Отнюдь... Вишневский использовал алчность. Его агентура донесла о тайных переговорах, о передаче этого золота то ли японцам, то ли красным, а может, и тем и другим сразу. Руководил утоплением участник переговоров в чине штабс-капитана в окружении верных ему помощников. Если бы сотня не вырубила их на хуторе, золото было бы скоро поднято и похищено, передано. Но штабс-капитан поспешил выкупить свою душу за казну, ему не принадлежавшую... Генерал допросил капитана лично и лично его пристрелил, когда тот сознался и назвал озеро в Долине Смерти.

— Ужас...

— Нет в этом ничего ужасного... война идей. Сила и дух белой гвардии руководили генералом... Идея возрождения России. Это был очень умный и дальновидный человек. Тайный носитель энергии русского возрождения. Он сделал очень многое для русской эмиграции, но так и не открылся, как бы ни было трудно, какие бы политические силы и партии ни требовали денег для борьбы с красными... Харбин кишел провокаторами, агентурой ГПУ и многими разведками мира. Вишневский понимал, что не пришло еще время. По его мнению, Россия должна была пройти жуткое чистилище, через унижения, кровь и нищету, смерти, чтобы народ ее опомнился и осо-

знал богоносную силу свою, поверил в возрождение и сплотился, поднялся с колен и сбросил оковы. Обрел единый дух!

Дубровин говорил и говорил, она смотрела на него, жадно слушала и впитывала каждое слово, переживала вместе с ним и страдала от исповеди. Она опять ощутила, как некая благостная сила овладевает ею, все прошлое и далекое становится близким, до боли сердечной дорогим ей. И пришли на память его слова над скорой могилкой убиенных казаков: «Господь заставил мучиться всю жизнь...» И снова в муках, в страданиях было лицо Дубровина, она видела с болью, как мечется его душа и трепещет в надрыве прошлого, невозвратного, неотмолимого греха потери России, в тоске и горе, в слабой надежде...

— Боже-е... — прошептала она, — как же он несет такой крест? Боже, помоги ему... и прости... Господи, и мне дай силу так терпеть и надеяться... разумно и прямо действовать и верить... Дай мне твердое убеждение истины вечной России... Боже...

Изможденный Дубровин давно уже спал в палатке, а она все сидела у костра... и губы все шептали, шептали...

* * *

За три дня сплава по реке они были далеко от Черных озер. Лицо Веры загорело, нос шелушился, да и Маркелыч разительно переменился, окреп и тоже посмуглел. Каждое утро тщательно брился, шумно обмывался до пояса холодной водой и принимал из ее рук полотенце. Они сроднились за эти дни до того, что она перестала стесняться Дубровина, раздевалась при нем в сумраке палатки и залезала в свой нахолодавший спальник. Сразу окутывала ее тревожная тишина, женское беспокойство к нему и тревога... Она поймала себя на мысли, что уже не считает его стариком, ее влекло к нему, тянуло, как никогда... Она страшилась этого бабьего безумства, телесного и духовного влечения. Слушала во тьме его мерное дыхание, его стоны во сне... виделось ему что-то страшное, неведомое ей. Тогда она сжималась в комочек в своем спальнике, мучаясь бессонницей, тревожно слушала шорохи ночи, судорожно тиская рукоять пистолета в головах. Она была готова защищать его от зверя ли, от человека... Жаркая плоть ее разогревала спальник изнутри, она ворочалась, билась в этих тесных объятиях, изнемогала. Трогала себя всю руками... набухшие груди... жаждущее любви лоно... Словно сам дьявол потешался над нею, возбуждал плоть, голову, сушил губы жаром неутоленным, толкал на грех тяжкий. Тогда она вставала во тьме, чтобы не разбудить спящего, осторожно выходила к реке и погружалась в нее обнаженная, остужала до окоченения тело свое, мысли свои... Наспех вытиралась и ныряла опять в спальник, до боли жмуря глаза, принуждая себя уснуть.

* * *

По расчетам Дубровина, до Зеи оставался один день сплава. Они затаборились на ночлег невдалеке от воды, поужинали и готовились спать, когда к костру вышли из темноты двое молодцев. Могутный посмотрел на них и сразу понял, угадал по осанке, по пронзительному мертвенному взгляду этих двоих и уверенности, что пришли они по их души... Да они и не скрывали радости, признав сразу его по росту, по оперативным снимкам розыска из давних агентурных дел, а уж Недвигину тем более. Один из них сразу же вынул пистолет и строго проговорил:

— Вы арестованы!

— Что ж поделаешь, — спокойно ответил Дубровин и налил в кружки кипятку со своим отваром, — попейте таежного чайку, поговорим...

Они настороженно взяли кружки, нехотя отхлебнули и скривились, старший приказал:

— Собирайтесь, тут недалеко лесовозная дорога, там наша машина, неделю дожидаемся вас. Поедем в Зею, там персональный самолет. Где остальные? Где Гусев?

— Ох, и долгий разговор, паря, — сухо ответил Дубровин и печально вздохнул, оглядывая с ног до головы стоящих.

— Аркадий, надень ему наручники, — сказал старший.

Недвигина громко зарыдала и скрылась в палатке. Заломив тяжелые руки старика за спину, пришлый громко сопел, силясь обхватить браслетами ширококостные запястья Маркелыча. Это ему удалось с большим трудом. Холодное железо больно давило, намертво, словно собачьей хваткой взрезало кожу.

— Вер-ра-а! — глухо прохрипел Дубровин. — Вот и все... Прав был Каппель и его полк! Продадут нас с торгов, как скотину... Боже! Неужто все...

Пришлые рылись в их вещах, нашли в рюкзаке мешочек с золотыми монетами и радостно сунулись к огню, перебирая их и считая. Маркелыч сумрачно глядел на их добротные кожаные плащи, средь жаркого лета одетые, на их пустые бегающие глаза и сразу понял, что не местные это оперы... из самой Москвы посланы. Уловил то, как алчно переглянулись они, сговорились глазами над золотом, и стало ему тошно... тяжко, муторно от их прикосновения к нему... к золоту. Он напряг руки, силясь разорвать цепочку наручников за спиной, но они щелкнули зубчиками и еще глубже въелись в кости, пронзив мучительной болью...

Недвигина всхлипнула и посмотрела остановившимися, расширенными глазами на людей у костра через отвернутый вход палатки. В голову ударил жар, обжег щеки, чувства и мысли метались, как пойманные в клетку дикие птицы. Отвороты палатки были алыми от огня, пугающе струились и ворожили... Она видела сутулую спину Дубровина, никелевые челюсти наручников на его кистях... в один миг поняла, что не его теряет сейчас, а что-то большее... свое, переданное им ей навсегда, сокровенное и могучее...

Она все тонко слышала... как шумит река, хруст ветвей в тайге под копытами сохатых, тяжкий вздох медведицы на далекой сопке и как чмокает, сосет ее детеныш молоко, слышала всплеск рыб на перекате, тревожный гул воды. Чувства обострились в ней, она первобытно-жадно втягивала ноздрями дым костра, запахи тайги и цветов, прель речного берега, скривилась от духа чужого мужского пота, отдающего чесноком и дорогим одеколоном... она видела все с высоты птичьего полета, а сердце грохотало в груди, холодели руки и мозг... Внезапно пришло спокойствие, опять почуяла ту силу, животворно вливающуюся в ее кровь...

Когда чужаки переглянулись алчно над золотом, она тоже перехватила и поняла их взгляды и скривилась от брезгливости, от их алчности. Такие взгляды она помнила по работе в Кремлевке, когда номенклатурные пациенты лапали ее, зазывали в массажную, в сауну, на правительственные дачи... Для них она была вещью, рабой без роду и племени. Вся недолгая жизнь мигом пролетела перед ее взором, и она поняла вдруг отчетливо, ясно, что не хочется опять туда, в ту жизнь. Дубровин дал ей право быть собой, испытывать радость, страх и боль, разбудил в ней совесть, человеческие муки и еще нечто такое, в чем она сама себе боялась признаться... этому пока не было названия...

Она скорбно вздохнула, ей стало жаль этих натасканных ублюдков, пришедших за ними, не желающих знать, что в ней творится, недооценивших ее, женщину, узнавших ее по анкете... даже в мыслях не допускающих сопротивления с ее стороны... самоуверенных в своей силе и ловкости жить...

Она спокойно вынула из спальника тяжелый пистолет, уверенно сняла предохранитель и поцеловала холодный ствол... Женский палец мягко нажал спуск...

* * *

Маркелыч вздрогнул и отшатнулся в сторону. Из палатки громыхал пистолет Стечкина, пока не вышла обойма... Пришлые надломились и рухнули, сраженные наповал... это он сразу понял. Вера появилась спокойная, сжимая обеими руками оружие и вытирая о свое плечо слезы. Деловито промолвила:

— Где ключи от наручников, у кого?

— Воп... у кучерявого. Ты где стрелять-то так выучилась?

— В палатке, — жестко усмехнулась она, обшарила карманы убитого, нашла ключи и освободила руки Маркелыча. Наручники с остервенением кинула далеко в реку. — Вот и все... Дубровин... теперь и я повязана кровью с тобой, с золотом... Плохо, если их много там у машины. Что будем делать?

— Партизанить! — Он обыскал убитых, прочел документы при свете костра и тревожно проговорил: — Да-а-а... серьезно за нас взялись... Это не милиция, не КГБ... Это волки из той стаи, которая вцепилась в горло России...

Под плащами у убитых оказались короткие автоматы нерусского производства. Оружие, запасные обоймы и четыре лимонки старик забрал. Перевязав штанины у ступней убитых, он набил в брюки и за пазухи тяжелых го-

лышей, утопил их с переката в глубоком улове реки. Документы бросил в костер. Тут же свернули табор, избавились от палатки и лодки и почти налегке двинулись вдоль берега. Скоро вышли на пересекающую лес лесовозную дорогу. Особым зрением таежника Дубровин увидел ночью стоящую на обочине машину. Осторожно подкрался к ней, заглянул внутрь.

— Кажись, никого, я так и думал, когда ключи у одного в кармане сыскал. Поехали, девка... скорей от этого места, — он уверенно завел «уазик», Вера села рядом, бросив на заднее сиденье рюкзак со звякнувшим оружием, а сверху положила туго замотанную в брезент булатную шашку Дубровина, с которой он так и не пожелал расстаться. — Хорошая машина, ходкая, — довольно проговорил он.

— Когда вы научились водить... в вашем возрасте...

— Я — русский офицер!

— Я тоже могу водить, у меня в Москве своя машина. Была, — она тяжело вздохнула. — Когда устанете, я пересяду за руль.

— Ты не переживай, — успокаивающе прогудел Дубровин. — Не кайся в их смерти, нам ишшо не такое придется повидать. Я так думаю, что про этих волков знает мало народу, даже машина у них не милицейская, а взята с производства у геологов... на дверце снаружи эмблема-крылышки. Пара дней у нас еще есть в запасе, а потом начнется кутерьма, как в Москве хватятся их... Там тоже головы есть, перекрыли все реки, все мои привычки изучили... в волчарне. Но и мы не дураки. Не падай духом!

— А я и не переживаю, — громко ответила она, — это же были не́люди. Мне показалось — они пришли уже мертвые к нам. Падаль! Зомби... в Природе не должно быть нечистого... она этого не терпит...

— Что? Что ты говоришь? — Дубровин приостановил машину и удивленно взглянул на нее. — Ты это действительно почувствовала?

— Да! Но я начала это понимать еще тогда, когда ты мне рассказал об эвенках... у той Ели... Люди живут праведными законами природы. Так должно быть! Не пакости на земле! И не смотри на меня так... Если женщина начинает убивать... это страшно. Знаю, ее право — давать жизнь... Но есть высшая философия чистоты. Ты

человек Любви, Дубровин... редкий человек. Ты живешь по Законам Любви: к России, к своей земле, к людям... Но есть опасные болезни, от которых можно спасти только кровью... Как добраться до главной опухоли? Золото тут не поможет...

— Ты меня пугаешь, девка... Ты чё буровишь? Не рехнулась ли? Поразмысли, да что ты одна против них всех?!

— Подумала... Надо что-то делать. Народ устал ждать. А ведь враги наши сильны только деньгами...

— Угомонись... — остудил Дубровин.

— Не-е-ет, — она словно не слышала и твердила: — Деньги — их оружие! Деньги...

Машина подпрыгивала на ухабах, стремительно неслась, разметывая жидкую грязь с дороги... Утром закатили машину в густой ельник, чтобы ее не заметили с вертолета, дальше тронулись пешком. Опять шли ночами. Дубровин хотел бросить чужое оружие, но Вера, испробовав автоматы, воспротивилась.

— Казачья кровь в тебе бунтует, девка, — усмехнулся Маркелыч.

— Казну защищать пригодятся, — коротко отрезала она.

Изголодавшиеся, худые, они стояли друг перед другом, глядя в глаза друг друга, и Дубровина поразила ее суровая одержимость, ее уверенность в себе. Растрепанные русые волосы окаймляли ее обветрившееся лицо, потрескавшиеся губы были слегка сжаты, легкие морщинки легли у висков.

— Сколь лет тебе, Вера?

— Тысяча... — усмехнулась она. — Тоже мне, полковник Генерального штаба, а спрашивает женщину о возрасте. — И повторила: — Тысяча. Я как будто прожила их все... Но чувствую себя молодой, сильной...

— Да-а, если кто и спасет Россию, то женщины!

* * *

На дневках она мало спала. Зачитывалась дневниками Дубровина, тормошила и донимала его вопросами. Все перевернулось в ее сознании, вся школьная история оказалась глумливой ложью. Она верила ему.

— Почему же проиграл Колчак? — спросила она как-то. — Если он был так умен и смел. Это же просто идеал по вашим записям. Неужто были такие люди? В чем он ошибся?

— Ты еще не прочла третью тетрадь, там все есть, — Дубровин полистал дневник и скоро нашел запись, стал медленно читать:

23 сентября 1921 года

...Беда Колчака заключалась в том, что он действовал нерешительно. Побывав в Америке и проанализировав весь ход революции и гражданской войны, как и Каппель, он разобрался и действительно поверил в страшную силу мирового иудомасонства. И посчитал себя обреченным. Ибо непримиримо, яростно стоял за неделимую Россию. Был уверен и не скрывал того, что послереволюционный строй России должен вершить только Земский Собор в Москве, как честный патриот, он не шел ни на какие сделки с иностранными державами. Как святыню хранил золотой запас русских банков. Он жестко отказал областникам-сибирякам в отделении Сибири и создании прочной власти в союзе с Японией. Последние предлагали две своих армии, дабы отсечь Сибирь по Урал и взять ее под свою охрану, если адмирал подарит им весь Сахалин, убеждая, что оккупация Сибири надолго ими исключена по причине сурового климата. Американцы предлагали ему миллионы долларов и оружие за концессию на Камчатке. Колчак строго ответил тем и другим, что никогда не поступится русскими землями. Он им временно разрешил охранять во Владивостоке завезенные из США товары, как союзнику в мировой войне.

Самая опасная ошибка Колчака заключалась в том, что доверил охрану Сибирской магистрали чехо-словацким легионам генералов Сырового и Гайды, сдавшихся добровольно в войне с немцами. Глава французской миссии Жанен хитро решил перебросить чехо-словацкое пушечное мясо на французско-германский фронт, чтобы подкрепить свою истощенную армию, и начал эвакуацию чехо-словаков через Владивосток на Марсель, тем более что они сами рвались на фронт освобождать свою родину.

В это время хитроумный Троцкий коварно поимел от них же огромную выгоду. После подписания Брест-Литовского договора он предписал частям Красной Армии разоружить под Самарой и дальше на восток легионы «братушек», умышленно кинув на это мадьяров, бывших военнопленных — заклятых врагов чехов. Троцким был запущен опережающий слух, что, по условиям договора, легионы чехов будут выданы немцам.

Это вызвало взрыв. Братушки силой оружия захватили весь подвижной состав Сибирской магистрали и ломанулись на Владивосток, боясь расправы немцев за измену, оставили Колчака без защиты, а потом и арестовали его, увезли с собой как заложника.

Оставшись без тыла, обезглавленные войска терпели поражения на Урале от Фрунзе. Наиболее боеспособный наш корпус Каппеля спешил на помощь Колчаку. Шли маршем в условиях суровой зимы. Сам Каппель простудился и заболел. Командование принял молодой генерал Вайцеховский. Шли по пояс в снегу. Мы несли Каппеля на шинели, не было носилок. Шли через Байкал... И не успели. Чехи сдали Колчака в Иркутске совдепу. Наивный и честный адмирал готовился к открытому выступлению перед народным судом. Опасаясь нашего приближения, совдеп ускорил суд... они боялись оправдательных речей Колчака. Ведь он решительно отвергал политические сделки по расчленению России, в отличие от деятелей диктатуры пролетариата в Москве.

Он был застрелен вместе с главой Омского правительства Пепеляевым. Место захоронения неизвестно...

— Я слышала, что тела утопили в проруби, — прервала его Вера, — но-о, как нас учили в школе, Колчак тоже зверствовал, по его приказу расстреливали... пороли крестьян?

— Милая девочка. — Дубровин тяжко вздохнул и прикрыл устало глаза, — то, что делали белые, а иногда под их марку переодетые красные, их агенты, чтобы поднять возмущение у свободного сибирского мужика, не знавшего порок, не идет ни в какое сравнение с тем, что творили комиссары. Я не стану врать и передавать слухи, но скажу правду, что сам видел... Вы себе можете представить офицерскую роту, сдавшуюся на милость победителей, поверивших их агитации, что они будут отправлены по КВЖД в Маньчжурию, как только сложат оружие... Вот запись в дневнике, слушай.

...Варвары! Инквизиторы! Они прибили погоны гвоздями к плечам русских офицеров и гнали стадом баранов к нашим позициям: кололи штыками, рубили шашками безоружных людей, отрезали мужские уды и засовывали в рот еще живому человеку. До такого изуверства не дошел даже Восток. Мы бросились в штыковую и отбили всего троих... с прибитыми к плечам погонами. Один из них выжил... седой мальчик, прапорщик...

— Хватит! Мне страшно!

— Терпи! В начале тридцатых годов в Харбине вышла книжка журналиста, под псевдонимом Виктор Розов, ее написал Володя Родзаевский, лучший журналист газеты «Гун-Бао», я имел честь встречаться с ним лично и держал в руках, читал эту книгу. Володя — родной брат Константина Родзаевского, коий был председателем РФС — Российского фашистского Союза в Харбине. Об этом умнейшем человеке, истинном сыне России, будет особый разговор, никаким фашизмом там не пахло... вернемся к книге. Володя использовал редкую возможность получить через разведку фотографии и материалы о «Камере Иисуса» в Хабаровске. На деревянных ее стенах людей распинали гвоздями, как Христа... эти фотографии у меня стоят в глазах до сих пор. Почему-то комиссары страшно любили гвозди, они их загоняли под ногти, прибивали погоны к плечам, ноги допрашиваемых к полу через сапоги. Не давал им покоя Христос, лютая ненависть к нему... Какие пытки... смерти безвинных людей, цвета русской нации. Ради чего? Где он, их коммунизм? Всемирное счастье пролетариев, где?

— Я устала, хватит...

— Не-ет... Слушай и думай. В моих дневниках нет ни слова лжи! — Дубровин помолчал, глядя в бездонную глубь синего неба, и тихо добавил: — Крепись, Вера... не бабье это дело, знаю, но выхода нет. Ты казачка, а на Руси казаков ни купить, ни продать нельзя. Казаки любили землю, и земля любила казаков, они не были оторваны от природы. Знали и знают цену Отечеству, земля коего густо напитана кровью их пращуров. Свято чтили Бога и являлись крепью государства. Казаки расширили пространства до Аляски, сделали Россию — Великой Империей, Державой! Вот за это свободомыслие, воинскую доблесть, бесстрашие, за то, что

казак никак не умещался в прокрустово ложе троцкистского интернационала, новая власть в страхе искореняла казаков. От младенцев до старцев... Помню приказ Троцкого, он так и назывался: «Об искоренении казачества, как этноса, особо способного к самоорганизации».

— А что ты говорил... Путь... Какой путь? О Родзаевском?

— Да-а... Его газета не случайно называлась «Наш путь». Константин Владимирович пришел в этот мир в Благовещенске. Начал читать в четыре года... и до четырнадцати лет прочел все библиотеки... испортил зрение такой нагрузкой. Прекрасно играл на фортепиано, пел, писал стихи... У него был бархатный, густой баритон... С юных лет освоил Канта, Гегеля... Посему, имея наивысшее самообразование, глубокий ум, критически отнесся к Марксу и прочим пламенным революционерам. В двадцатые годы было запрещено принимать в советские институты детей служащих, а у него было неутоленное желание учиться. Уехал в Харбин и поступил, потом туда перебрался Володя и тоже блестяще закончил химический факультет Политехнического института.

В двадцатые годы над миром витала идея «фашио» — объединение на национальной основе. «Фашио» — пучок, веник, а как известно из старой сказки, веник труднее сломать, чем отдельные прутики, к чему и стремятся космополиты...

Идея «фашио» была модной и не несла той значимости, которую дал ей Гитлер. Константин Родзаевский был удивительный оратор, прирожденный вождь. Мне посчастливилось быть на одном из его выступлений в Политехническом институте... он владел энергией объединения русских, их в Харбине было свыше полумиллиона. Константин заражал всех идеей соборности — возрождения России. Это надо было видеть и слышать! Зал грохотал овациями и провожал его с кафедры стоя.

К тому же, он, глубоко верующий человек, не послал ни единого диверсанта в Россию, этим занимались иные организации.

Война с Японией застала его в Пекине. Советский посол уговорил честного, а значит, и наивного Родзаевского вернуться в Россию, клятвенно обещая, что его не тронут... Он дал согласие. Потом был Хабаровский

процесс, где его судили за борьбу с коммунизмом, где его имя смешали с грязью, назвали пособником немецкого фашизма только за то, что у него, как и у Гитлера, на столе была книга «Протоколы сионских мудрецов». В итоге обвинили в шпионаже, чтобы приговорить к смертной казни. Но что интересно — на этом же процессе японский генерал поклялся честью самурая, что ни Родзаевский, ни его организация не были связаны с японской разведкой. Чести самурая надо верить, ведь если он нарушил слово — харакири. Обвинение было настолько очевидно шито белыми нитками, что даже опытные губители человеческих душ вынуждены были отступить... Его тайно упрятали, хоть он и считался расстрелянным.

Константин Владимирович Родзаевский умер от малокровия в 1949 году в Красноводской особой тюрьме, построенной пленными японцами за Каспием. Но и в тюрьме он остался самим собой. Его воля, его убеждения были так заразительны, что он стал духовным пастырем временщика генерала Рюмина, — тот не раз ездил к нему, требовал улучшения содержания и лечения узника. В конце концов прозрение генерала кончилось тем, что его самого шлепнули за гонения на космополитов... А журналист Володя Родзаевский схлопотал двадцать лет по приговору Особого совещания за книгу «Анатомия ГПУ» и сидел в каторжанской зоне в Воркуте. Сестры Константина Родзаевского, за то только, что они его сестры, провели в лагерях почти тридцать лет, а их мать так и умерла в зоне. Сестры сейчас живут в Москве; я был у них в гостях...

— И все же Родзаевский боролся с Советами?

— Нет, это борьба за Россию... И вот еще... в каторжанской зоне Владимир Родзаевский, будучи химиком, работал вместе с академиком Стадниковым и профессором Пшеничным в особой лаборатории за колючкой, над открытием жидкого ракетного топлива; помимо этого, они сделали там много изобретений и открытий. На Россию работали... Владимир подкармливал ученых, тайно наладил производство зеркал в лаборатории и обменивал их вольным на продукты... Он мне рассказал в связи с этим поразительный случай. Начальнику лагеря Маслову, зверю и убийце, кто-то настучал о зеркалах... Его арестовали и приволокли в кабинет Маслова. За такие проступки был один итог — смерть. Володя это знал и уже ни на что не надеялся. Вот примерный разговор:

— Ты посмел делать зеркала у меня в зоне? Знаешь, что за это?

— Знаю...

— Ладно, я получил новый дом, хочу, чтобы он был в зеркалах и шикарной мебели. Сделаешь? — неожиданно предложил Маслов.

— Сделаю... как не сделать, но-о... мне нужно серебро для покрытия...

— Серебро? Его у меня навалом. — Маслов высыпал на стол перед опешившим Володей... горсть медалей «За отвагу». — Забирай! Хватит?

— Хватит...

Он сделал из одной медали все зеркальное покрытие дьяволу Маслову в его вертеп... а на все остальные кормил ученых еще долгое время. Представьте мораль тех, кто стоял у власти! Ведь медаль «За отвагу» — высокая солдатская награда, ее за подвиги давали. В лагерь потоком пошли бывшие воины Отечества, и Маслов знал, что брать...

После лагеря Владимир Родзаевский разрабатывает на Балхашском комбинате технологию получения космического металла «Рения», который до этого закупался за границей на доллары. Государство имеет миллиардные барыши, летят премии и ордена... И конечно, мимо автора открытия. Сын его, родившийся после лагерей, заканчивает школу с золотой медалью, с красным дипломом институт и сейчас ведущий конструктор лучших ракет, которые стоят на страже России...

— Как его зовут?

— Зови... Егорий. Георгий — победитель. Вот тут и русское всепрощение, и русское могущество! Всепрощение страданий близких и посвящение себя служению Отчей земле. Разве такой народ можно победить? Нет, никогда...

* * *

Товарняком они добрались до станции Большой Невер. Попутной машиной из старательской артели до Алдана. За неделю знакомый Дубровину фальшивомонетчик, который отсидел многие годы и доживал последний срок в маленьком домике на окраине города, сделал

им «ксиву» — настоящие паспорта с многими прописками. Стали они по его воле — Шипулиными: он — Александр Петрович, она — Вера Александровна. Сделал им трудовые книжки, а Дубровину и пенсионную книжку со всеми нужными реквизитами, печатями и пометками. Вера долго разглядывала эту кучу документов, безукоризненно исполненных, состаренных, потертых. Проговорила:

— Какие руки золотые пропадают!

— Бич — человек свободный... не любит начальства над собой. А руки действительно золотые. И копейки не взял по старой дружбе. Но здесь жить нам опасно. Возле золота новые люди у милиции на виду. Поедем куда поглубже, в город Томмот, вотчину осевших спецпереселенцев и кулаков. Это берег Алдана. Я уже и дом присмотрел, сторговался. А там видно будет... Можно и на Джугджур махнуть, там старики меня помнят... тунгусы... в крайнем разе у них скроемся, не впервой.

— Думаешь, нас еще будут искать?

— Ишшо как... Ты вот што... Тут, понимаешь, с бабами туго... жениховаться зачнут мужики... так сама решай, коль сурьезный и самостоятельный подвернется... выходи замуж. Свадьбу сыграем, паспорт поменяешь законно — и живи себе... Я на отшибе проживу.

— Эх, Дубровин... «сурьезней» тебя разве я сыщу? Ну их!

* * *

Дом оказался опрятным и просторным, с русской печью, полатями, крытым тесом подворьем. Все было продумано до мелочей.

— Вологодский хозяин был, построил храмину по своим меркам, потому и покупатели обходили, боялись, что дров надо много на зиму. А дом теплый... Уехал старик помирать в свою деревню, под Великий Устюг, откуда был сослан сюда. Бабка его померла, дети разъехались.

Через изготовителя своих документов Дубровин обменял несколько золотых десяток на кучу денег, и они скромно зажили. Вера накупила вещей, материала на занавески, коврики. Вся мебель ручной работы осталась от хозяина. Когда устроились и начали обживаться, явился участковый. Представился:

— Капитан Алексей Кортиков! С новосельем вас, — сверкнул золотыми зубами, пристально оглядывая хозяйку.

Проверил документы, выпил водки с хозяином и укатил на моторке на другую сторону реки по своим делам. Дубровин спрятал документы и весело проговорил:

— Пронесло. Пока имеем право быть тут. На рыбалку махнем, огородик заведем... поросенка купим. Втянул я тебя, Вера, в историю... совесть болит, может, жизнь тебе всю изломал... По Москве скучаешь?

— Уже нет, — она научилась выдерживать его пронзительный взгляд, улыбалась этой борьбе. — С тобой не пропаду, Дубровин. На кой черт мне Москва?! Я небось самая богатая баба на земле. Давай праздновать новоселье... завари-ка покруче свою приворот-траву, на кой нам водка, — встала, зажгла свечку и выключила электричество. За окнами темнело. — Так спокойнее, приучил меня к кострам. Теперь вроде не могу без живого огня. В общем так, как тебе это проще сказать, — она взглянула на него украдкой и покраснела, — не буду я заводить никаких мужиков... а вот родить хочу... пустой не хочу быть...

— Хм-м, ну-у... рожай, прокормим, вырастим, все веселей будет. Дело молодое...

— Да уж какое молодое. Дубровин... Ладно, посидели, давай спать... Утром пойду работу искать.

Она улеглась в своей комнате, слышала, как он раздевается и дует на свечу. Звенящая тишина заполнила дом. Пахло чужими вещами, чужим жильем. Где-то по реке пробарабанил катер и стих. Она встала попить воды, глянула в сумрак его комнаты и вдруг решительно шагнула туда с ковшом воды в руке, ковш был резной, деревянный, в форме утицы. В этом удивительном доме все было резное: наличники, вздыбленный конек на крыше, просторная деревянная кровать... стенные шкафы, ручки дверей. В трубе простуженно кашлянул домовой, и Вера вздрогнула, зябко поежилась.

— Пи-ить... не хочешь? Саш...

— Дай глоточек, вода скусная тут, — он выпростал руку из-под одеяла, осторожно принял мокрую утицу, жадно припал к влаге.

Вера присела на краешек кровати, опять зябко передернула плечами.

— Холодно что-то, может, печь протопим, дрова есть...

насырел дом без людей, сразу плесень и паутина вылезли по углам.

— А што, — глухо отозвался он, — давай прокипем, счас принесу дровишек, прежний-то хозяин запас на много зим.

— Они уже в печи, с вечера принесла, — она встала белым привидением, склонилась у загнетки и чиркнула спичкой. Запалила пук бересты. Сухие дрова ярко пыхнули огнем, просветив ее фигуру сквозь рубаху.

Дубровин молча глядел на нее с кровати, и великая жалость к одинокой женщине шевельнулась в нем. Он осознал, как люто дорога она ему, желанна и притягательна. Но он страшился хоть ненароком обидеть, потерять ее. Смолистые дрова яростно загудели пламенем, меча огненные блики по стенам избы. Вера задумчиво стояла в этом огненном сполохе, жар пек лицо и грудь, а пол холодил ноги и мысли. Но жар пересиливал, перебарывал, невыносимо жег глаза и мочил их слезами.

— Холодно мне, Дубровин, одиноко...

— Иди, посиди рядом, накинься одеялом. Мне што-то тоже расхотелось спать. Иди поговорим...

Она молча приблизилась и вдруг решительно легла рядом, укрылась одним с ним одеялом и приникла головой к его теплой груди. Где-то в глубине Дубровина мощно колоколило сердце.

— Прости меня за безумство... хочу быть рядом... и ничего мне не надо более, вот так лежать, и все... чуять твой чистый банный запах, греться твоим теплом... я устала быть одна.

В напряженной дреме она смиренно чуяла на щеке его шершавую ладонь, словно кору той поднебесной ели... С ужасом ощущала себя пустой, видела с высоты — мертвой землей: сухой, растрескавшейся, в ржавых колючках. Ее больно топтали, мяли грубыми руками. Терпела, ждала... Бездонное небо над нею сокрыли тяжелые тучи, позастили звезды. Лезвия молний беззвучно полосовали глухую темь... Буйный вихрь налетал, сотрясал ее всю, терзал и закручивал смерчи по ней... Она ждала... Сознание то прояснялось, то опять накатывало ощущение плоти земли, мучений...

Острый и тяжелый Плуг больно вспорол девственную землю, глубоко вошел, развалив пласты, с хрустом разрывая ее корешки, ее плоть... ее крик...

И видит безумно распахнутыми глазами она ту заветную свою звезду, пронзившую в падении тучи и ее горячее тело...

Она радостно вскрикивает, ощущая в себе живое небесное семя, страстно выгибается и обмирает от счастья. А когда открывает глаза — видит близко над собой солнце — его лицо.

И словно грянул гром весенний! Она слышит, как раскололся лед на реке, встал на дыбы в мощном клекоте воды. Слышит, как скрипит и качается весь дом, гудит ярым пламенем труба... Слышит, как с треском под снегом растет трава, как икряная рыба бьет хвостом в реке, между мертвых льдин, в стремлении и жажде дать новую жизнь, продлить себя вечно.

Она задышала, забурлила в ней горячая кровь, поднялся над землею парок. А солнце светило в ее лицо, она щурила от света и тепла глаза, улыбалась. Жила...

Странная радость подкатила к горлу, как от шаманского чая, сняла боль и стеснение. Сквозь слезы она видела его молодое лицо над собой, неистово целовала его, тискала руками за могучий столб шеи, словно взбиралась по древу жизни, по той ели, и видела распахнутый Млечный Путь над собой.

Буйный ветер качал древо: она ощутила вкус крови во рту, все соки желаний забродили в ней, все древние стоны, переполнявшие ее, вырвались на волю...

* * *

После этой колдовской ночи Дубровин вовсе помолодел и распрямился. Пропадал днями на рыбалке, натащил полный дом целебных трав и корешков, они сохли пучками по стенам, источая аромат. Он научил ее многим рецептам настоев и заварок, приготовлению лекарств и мазей.

Дух чужого жилья выветрился. Вера устроилась нянечкой в детский садик, с упоением возилась с ребятишками, готовила и прибиралась в доме, с нетерпением ожидая Дубровина. Он сдружился с местными рыбаками и эвенками, вваливался через порог весь пропахший дымом костров и рыбой, словно мальчишка, хвастался уловом, солил и вялил рыбу впрок.

Но Вера замечала, что у него только с виду такая беспечная жизнь. Часто приезжали какие-то незнакомые ей люди, он уединялся с ними и долго говорил. Даже с не-

ведомого ей, далекого Джугджура приезжали тунгусы на оленях по льду реки, привозили мясо на нартах. Она поражалась его энергии, его жизненной силе, его оптимизму и страсти. Ничто его не брало. Она берегла его, ухаживала как за ребенком, баловала, сдерживала его пыл, но он поил ее и себя такими травами, что сдержать было невозможно. После одной из долгих отлучек привез и спрятал за печью мешок с иконами из их похорона. Одну из них, самую неказистую и древнюю, повесил в углу, сняв золотой оклад и спрятав его опять в мешок. Радовался:

— Слава Богу, мыши не добрались до икон, весь душой изболелся. Эту икону береги пуще всего... Это кисти Рублева... достояние России... Спас! Золотой оклад ее с каменьями... оденешь в день передачи... Берегиня ты моя...

* * *

Ненароком простудилась и заболела, пришлось лечь в Алданскую больницу. Как на грех, прибыла высокая комиссия из Москвы и делала обход. Вера шла по коридору и столкнулась нос к носу со своим первым мужем. Ни один мускул не дрогнул на ее лице, когда возглавляющий обход Стас остановился как вкопанный и нерешительно спросил:

— Вероника, ты? Как здесь оказалась? Вся Москва тебя ищет, меня куда только ни вызывали, допрашивали... Потом сообщили, что ты пропала, погибла.

— Простите, я вас не знаю, — сухо ответила она, — вы обознались.

— Не дури, хоть ты и перекрасилась, а ты — Вероника Недвигина.

— Да, я Вера, только Шипулина, с детства как помню. Родилась на Северном Кавказе, в Моздоке. Может быть, вам адрес домашний дать?

— Как ее фамилия? — обратился он к лечащему врачу.

— Шипулина...

— Невероятно, — смешался ее бывший кандидат. — Может быть, и правда, ошибся. Моя бывшая жена была домашняя курица, а тут чувствуется характер.

— До свидания, — попрощалась Вера и пошла коридором, ощущая спиной его пронзительный взгляд, лихорадочно соображая, что делать.

Стас пришел вечером к ней в палату и пригласил в ординаторскую. Закурил, кивнул головой на стул.

— Присаживайся и не дури... рассказывай! Кстати, я уже докторскую защитил.

— Я не знаю, что вы хотите.

— Ты что, за дурака меня принимаешь? Тебя ищут очень серьезные люди... Я даже звонил твоему отцу в станицу, искал тебя, а он обрадовал, что какие-то люди купили дом напротив, днями и ночами следят за вашим подворьем... старик твой внимательный, усек! В какую же ты историю вляпалась?

— Не знаю! — пожала она плечами. — Мой отец пять лет как уже умер.

— Ладно, или я чокнутый, или уж давайте свой адрес в Моздоке, специально полечу поглядеть на твою матушку.

— Я сирота. А вы кто, следователь?

— Вероника, брось дурить, у меня такие связи на самом верху. — Стас многозначительно ткнул пальцем в потолок... — Если бы только знала, с кем я в сауне регулярно парюсь. Страшно подумать! Я тебя отмажу, помогу!

— Мне пора, — она поднялась. — Не знаю, что вы хотите.

Вскочил и Стас, схватил ее за халат и жестко встряхнул, процедив:

— Ты что, забыла?! Я — твой первый, вспомни, как я тебя трахал!

— Я ва-ас не знаю! — Голос ее креп. — И-и... никогда... Слышишь ты, ублюдок, никогда и никому не принадлежала, кроме единственного своего человека! Никогда и вовеки не буду, — она прямо взглянула Стасу в глаза, и он отшатнулся, отпустил халат.

— Кошмар... это не ты... — он ошалело тряс головой.

— Сказал бы сразу, доктор, что я вам приглянулась, — с брезгливой усмешкой уже спокойно проговорила она. — Нечего морочить голову. Надоели вы мне все, кобели! Проходу от вас нету! Вот напишу в Москву на вашу работу, что пытались меня изнасиловать... Халат порвали, и люди вон, свидетели, в коридоре... Нехай потом разбираются, мне плевать! Ишь! Губы раскатал, а ишшо доктор! — простовато корила она и видела, как побледнел он, испугался, как затряслись его холеные руки и забегали глаза. — Чё вылупился? Видала

я таких. — Презрение к нему было неподдельным.

— Э-э, девушка... Извините, ну не шумите, пожалуйста, умоляю вас! Вы действительно похожи на мою первую жену... разительно. Только не пишите ничего, я ведь хотел только помочь вам. У меня дети... Простите, вы поломаете мне всю жизнь!

— А-а, слишком легко хотите отделаться... Сначала лапать, а потом извиняться... Вся больница слышала, как вы кричали, — она повысила голос, — что я спала с вами... Ну, уж этого я не потерплю... — она взялась за ручку двери.

— Я вас умоляю! — побледнев, он словно споткнулся о ее взгляд и медленно сполз с кресла, стал на колени, ощущая всем нутром, что это и падение его, и, может быть, самый сладкий миг в его жизни. Такой женщины он еще не встречал. А язык его, не подвластный его мыслям, сам собой лепетал: — Прошу вас... Я все, что угодно, для вас сделаю...

Она смерила его презрительным взглядом (нет, это точно не Вероника!), повелев:

— Повторяй... подлюга: «Боже, прости мой скотский грех, научи меня жить в чистоте и совести...»

Он повторял, раздавленный, униженный, но странно — не оскорбленный. Не злость шевельнулась в душе, а как бы облегчение и раскаяние. И он испуганно опустил глаза, боясь этой женщины, готовый ползти к ее стопам. Неужели рабская натура испытывала сладость от унижения?

Как и когда вышла эта шаманка из кабинета, он не заметил. Только бились в голове ее последние слова:

— А туда же... в сауну с правителями... лезешь.

* * *

Она закуталась в одеяло на кровати, тело пробирала нервная дрожь. Что делать? Ведь обязательно расскажет в Москве дружкам, что встретил ее или похожую... Проверят... Боже, что делать? Она промучилась до утра в палате, выписалась и помчалась на попутке из Алдана в Томмот. Пока ехала, какие только мысли не одолевали... Она знала продажный характер Стаса, его подлость и мстительность. Ведь мог, дурак, и позвонить ночью в Москву. Гляди, как бы сейчас не было в доме гостей с наручниками.

Мелькала за окошком тайга, а у нее испуганно билось в голове: «Лишь бы он был не на рыбалке... лишь бы его застать... увидеть хоть один раз... прикоснуться к нему... Боже, дай силы перенести испытания... дай мне святую волю Твою!»

Как ошалелая влетела она в дом. Дубровин беспечно чинил сети, проворно работал челноком.

— Вставай! Беда! Встретила мужа в Алдане!

Он только невесело крякнул и озабоченно проговорил:

— На чем приехала?

— На попутке, я намекнула шоферу, что, возможно, придется назад ехать.

— Не суетись... остынь... отпусти машину. Тут одна дорога от Невера до Якутска, перехватят. Поедем на рыбалку. Ты давно просилась. Есть хороший катер и бочка бензина в нем... до Тимптона — реки хватит, а там эвенки.

Через полчаса, с большими рюкзаками и мешком, они незаметно спустились к реке. Дубровин надумал было вернуться еще за палаткой, но увидел, как к их дому подкатили сразу две машины, из них выскочили четверо в штатском и с разбегу перемахнули ограду. Он спокойно нажал кнопку стартера. Два «Вихря», отлаженные, как братья, взревели и понесли, точно необъезженные кони.

Катер стремительно летел вниз по течению. Вера тревожно оглядывалась, прижимая к груди завернутую в холстину икону Спаса...

— Не бойся, сразу не хватятся, куда мы делись. Ведь катер числится за лесхозом... пока разберутся, пока созвонятся, успеем, уйдем... Приготовь оружие на всякий случай. Может, и сгодятся иноземные автоматы для защиты русского золота...

Когда они заскочили в устье Тимптона, поднялись по реке вверх и нырнули в заросшую елями протоку, их догнал низкий рев вертолета. Машина промелькнула над елями и ушла вверх по течению реки. Разгрузив вещи, они затащили глубже под ели катер, замаскировали его лапником, мхом. Только теперь она заметила, что эта узкая щель в береге вырыта вручную и словно приготовлена заранее была для этого случая; под сваленными бурей деревьями катер невозможно было найти даже вблизи.

— Какой же ты предусмотрительный, Дубровин, — подивилась она, — это на таких рыбалках ты и пропадал?

— А что делать, — усмехнулся он. — Жизнь такая наша...

Они перебрели протоку и ушли распадком на восток. Выбрались на водораздел, и Дубровин устало присел на валежину.

— Передохнем... Опять бега... Верст через пять будет табор эвенков. На них вся надежда. Ладно, крепись, королевна. Мне-то не впервой... меня и собаками травили, завсегда уходил. Сколь раз в Маньчжурию сигал через границу. Ничё-о... Лишь бы табор эвенков найти. Они мне твердо обещали там стоять. Ведь я и такого случая опасался, что угадают... Готовил запасные пути.

Она шла за ним, прижимая к груди икону и накрест к ней булатную шашку. Она шла за ним с верою.

* * *

Через пару недель они были уже за сотни верст от Алдана, в дебрях Джугджурского хребта. Где-то там, за поднебесными зубристыми вершинами, плескалось недалекое Охотское море. Эвенки так спрятали беглецов в диком урочище, — в потайной избе, что Дубровин наконец совсем успокоился и уверенно проговорил:

— Тут нас никакие мировые волки не сыщут, обломают зубы-то и поморозят хвосты. Тунгусы умеют хранить тайну. Я в этой избе бедовал не раз. Тут в скале пещера. Нашел у Охотского моря потайную факторию дореволюционных контрабандистов, есть у меня там даже винчестеры американские, новенькие. Отсидимся.

Утром он повел Веру к пещере, прихватив рюкзак с иконами. Отвалил большую плиту камня у скалы, и они заползли в темь. Дубровин зажег толстую свечку, осмотрелся и повел ее в дальний угол большой пещеры. Было сухо и тепло. У стен грудились ящики, медные котлы. Высилась большая лежанка, крытая истлевшими оленьими шкурами, рядом стол и табурет, грубо вытесанные из лиственницы. Дубровин зажег еще пару свечей, осторожно извлекал иконы из рюкзака и развешивал на вбитые в скалу штыри, ставил на полку. В свечах загорелись золотые оклады, засветились каменья, стало светлее, благостней в мрачном подземелье. Икону Спаса он опять нарядил в оклад и поставил в центре.

— Слава Богу... все цело и в сохранности. — Он встал, взял в руку свечу и провел Веру к большому ларю, откинул пыльную крышку. В ларе было шлиховое золото из ручьев.

— А это откуда?

— Это я завещаю тоже тебе. Лично! Расходуй по своему разумению. Сам добыл... Знаю ручей один, там его хоть лопатой греби.

* * *

Вашингтон. 1991 год. На тайном заседании ЦРУ по проблемам возрождения казачества в России принято постановление о выделении средств и немедленном вмешательстве в этот процесс с целью его дестабилизации, разложения казачьих сил на «красных» и «белых», внедрения своей агентуры и подкуп лидеров казачества — «единственно реальной силы, способной помешать развалу России».

Беспокойство вызывали сообщения источников из малого «Белого дома» нового демократического правительства России, левого крыла КГБ и особо осведомленной резидентуры о тайном финансировании патриотического движения русских, и особенно казаков, неким строго законспирированным Центром. Резидентура приходила к жесткому выводу, что задушенные патриотические издания, у которых перекрыты все источники получения бумаги, отобраны полиграфические мощности, продолжали существовать и регулярно получали вагоны с необходимыми материалами, бумагой, оплачивались неведомыми добродетелями долги, приобретались через подставных лиц типографии и новейшее полиграфическое оборудование за валюту. С большим опозданием, но вновь и вновь выходили журналы, газеты, листовки. Казачество набирало силу, вопреки воле московского «Белого дома», создавались казачьи автономии. Агенты, внедренные по России где и куда только можно, призывающие к сепаратизму, немедленно изгонялись из казачьей среды и публично поролись плетьми. В Ростове дерзко были арестованы посланники президента России, которые прибыли с заданием разогнать областной Совет и посадить на престол своего наместника. Организованное казачество ультимативно по-

требовало от арестованных подписать документ о воссоздании Донской республики, Области Войска Донского в старых границах, в противном случае тысячи собравшихся казаков готовы были штурмом взять телевидение, банки, почту и телеграф. На тайном съезде атаманов создано казачество Юга России, куда вошли Кубанское, Донское и Терское войско. Атаманом избран тот же неуправляемый Мещерин, который руководил переворотом в Ростове.

По данным соглядатаев и осведомителей, у казаков появилось новейшее оружие, вплоть до пушек, бронетехники, зенитных ракет и систем «Град». Стихия возрождения становилась опасно непредсказуемой для ЦРУ.

В Европе в большом количестве стали появляться золотые монеты царской чеканки, они успешно менялись на доллары, и валюта уходила тайными каналами назад, в Россию. Была проведена экспертиза и установлена полная идентичность монет царским... О подделке не могло быть и речи. В России доллары обменивались на обесцененные рубли, миллионы вкладывались в обороты бирж. На них покупались брокерские места для вновь созданных фирм, но хуже всего то, что прибыль в России невозможно было проконтролировать никакими налоговыми инспекциями.

Наиболее тревожные сведения говорили о том, что ведущие и самые талантливые инженеры-ракетчики, физики-ядерщики, электронщики из военно-промышленного комплекса бывшего СССР вместо ожидаемого их выезда за рубеж, где им сулили миллионы долларов и персональные лаборатории, — бесследно исчезали в самой России. Особые надежды возлагались за океаном именно на эту «утечку мозгов». При тщательной проверке выяснилось, что они не убиты, их семьи спокойны, хотя многие семьи как растворились, однако иные из оставшихся получают крупные переводы, случайно находят пачки денег в кухонных столах у себя дома, а то и, вернувшись из очереди в магазине, потрясенные, достают из авоськи вместе с хлебом плотно завернутые в бумагу «батоны» сторублевок.

Истерзанная, голодная, огромная Россия живет вопреки всем прогнозам о ее конце.

Любые попытки внедриться, что-то узнать о тайных структурах и источниках финансирования патриотического движения терпели провал за провалом. Агентура исчезала бесследно, удалось лишь выяснить, что организация не имеет ни названия, ни документов, нет и фактов, уличающих ее. Хорошо вооруженные «двойки» неукоснительно исполняли устные приказы, третьему внедриться к ним было невозможно. Они перешли к подкупу высокопоставленных чиновников, к угрозам и устранению всякого, кто пытался сунуть нос в их дела. Ловко внедрившись в среду эмигрантов, с надежной родословной от самого Давида, с идеальной семитской внешностью, «двойки», судя по признакам, уже перебрались за океан и так развернулись на Американском континенте, что сицилийская мафия и местные кланы казались жалкими уличными бандитами в сравнении с дисциплиной, убежденностью, талантом и размахом «Русской мафии», как ее окрестили в Америке. Одна из «двоек» была случайно застигнута в сверхсекретном научном центре Калифорнии. В жарком бою один ухитрился скрыться с важнейшими документами по разработкам СОИ, а по трупу второго эксперты определили, что это выходец из гребенских темноликих казаков с левобережья реки Терека.

Удалось выяснить, что руководил этой Организацией один человек. И это была женщина! В такое не поверили. Изуродованная «благоприобретенной эмансипацией», загнанная работой, голодная и холодная русская баба давно была сброшена со счетов мировой политики.

Но Организация действовала стремительно! Застонали подпольные миллионеры и биржевики, нахапавшие в смутное время огромные деньги; они были обложены непомерной, но все же разумной данью, стимулирующей их деятельность... И правом на молчание. В любых иных случаях следовало немедленное разорение и катастрофа. На очередном съезде воров было принято сногсшибательное решение о выделении миллионов рублей из теневого оборота на восстановление церквей, на помощь малоимущим и детским домам. И... полутора миллиардов на возрождение Храма Христа Спасителя. В зонах создавались патриотические «штрафные роты» на случай нападения на Россию.

В новом правительстве России творилось что-то невообразимое. Годами проверенные демократы вдруг испуганно принимали несусветные решения, некоторые подавали в отставку, спешно удирая за границу, другие — блокировали так нужные Западу законы о передаче Курил Японии, ликвидации ядерного оружия в одностороннем

нем порядке, по роспуску армии и подготовке России к колонизации. На Украине были отстранены от власти почти все неукраинцы, изгнаны с работы все демократические журналисты, а национальная гвардия выдвинула лозунги Петлюры... Не обращая внимания на вой западной прессы и угрозы, на свою историческую родину хлынул оттуда невиданный еврейский поток, сравнимый разве с новым исходом.

Просочились сведения о контактах Организации с русской и славянской диаспорой в Америке и Канаде, Аргентине и Австралии. Россия оставалась, как и вовеки — непредсказуемой. Непонятной для компьютерного Запада...

* * *

От Ростова до своей станицы Недвигина добралась на попутке. Шофер проводил взглядом красивую женщину. Она медленно шла по улице, придерживая на боку тяжелую сумку, бережно неся в правой руке длинный сверток. Словно почуяв его взгляд, женщина обернулась и приветливо помахала на прощание рукой. Шофер, как и многие мужики его неспокойной и бездомной профессии, считал себя большим специалистом по женской части. Но эта его потрясла. Она только один раз молча взглянула на него в ответ на предложение познакомиться поближе, и этого было достаточно. Его охолонуло такой силой, таким страхом и почтением перед этой силой, что он растерянно смолк до самой Недвиговки. Он долго смотрел ей вслед и смятенно промолвил:

— Вот это... ба-аба...

Он увидел, как ее встретили трое мужчин и парнишка, которого она обняла и передала ему длинный сверток. Тот обрадованно сорвал бумагу, и на солнце сверкнул клинок казачьей шашки... Она говорила всем что-то на ходу, поворачивая голову то к одному, то к другому, то к третьему... Своей статью, уверенностью показались эти казаки шоферу натасканными телохранителями, каких видел он во множестве вокруг суетливых президентов...

* * *

Вера сидела в переднем углу, в красном углу своей родовой избы. Над ее головой тлела лампадка. Неукротимый Спас глядел с древней иконы... Стол ломился от

казачьих закусок. Тут и холодец, и кисель, и моченые яблоки с терном, золотилась копченая чехонь, чебак и рыбец. Огромное блюдо с отборными раками краснело посреди стола. Кроме взвара из груш, никакой выпивки. Это неукоснительный закон. После ужина, когда посуду убрали, Вера озабоченно проговорила сидящим:

— Начнем о положении в Чечне... Вопрос о возвращении левобережья Терека казачеству Юга России решен, через три дня будет Указ правительства о реабилитации казачества, кроме терских, земли вернут Оренбургскому и другим войскам. Президент Казахстана уже подписал Указ по автономии. А теперь... У вас какие новости?..

Разговор кончили за полночь. Четко и без лишней болтовни были решены многие вопросы, в завершение делегат от Кубанского войска весело пошутил:

— Чего хочет женщина — того хочет Бог! Вот бы подивились наши деды, что атаманит казаками баба!

— Прекрати! — сурово взглянула она. — Во-первых, атаман у вас Мещерин — вот он... С огромным трудом мы создали Организацию. Россия — вот наша вера! А раз так, я соглашусь с твоими словами... Бог хочет, чтобы Россия возродилась, это мозг и сердце планеты. Бог хочет, чтобы жили свободными наши дети и внуки, не подвластные любой звериности и пакости иноземной. Потому нас и не сломить никогда. Бог хочет сохранить воинство святое Руси — казаков, оно сделало ее огромной и богатой. Бог хочет добра, а все грехи за зло к нелюдям, к нашим врагам, я беру на себя и отмолю их! Вы знаете, мы успели многое и предстоит еще больше... Хлынул поток беженцев из окраинных республик... это во благо России. Мы должны помочь русским устроиться на своей исконной земле, сплотить их милосердием, дать землю и жилье. На правительство надежды нет... Мы русские люди! Бог хочет, чтобы мы обнялись на краю пропасти, куда нас пихают, чтобы слились воедино и быстро поднялись с колен... Мало времени осталось... Надо неистово работать, как работали наши деды и прадеды... от зари до зари. Тогда дело пойдет.

Вера помолчала, оглядывая сидящих, поймала восторженный взгляд мальчишки от дверей горницы, судорожно сжимающего в руках булатный клинок Могутного, — устало и печально вздохнула... На миг встал перед ее глазами последний час Дубровина. Почуяв приближение смерти, он тайно связал плот, отослав ее за грибами, но

она поняла что-то неладное и вышла к реке. Стоя на плоту, он несся встречь непроходимому перекату. Плот сигал меж бешеных бурунов и камней, стремительно мелькал шест в его руках. Он боролся, ловил стрежень потока... а потом лег на плот и ушел навсегда по реке... Она до вечера бежала вниз по течению, но так и не нашла его. А когда вернулась в избушку, прочла прощальную записку; увидела табор звенков рядом с рекой, справляющих тризну по своим обычаям великому Амикану. Они выполнили его наказ: вывели ее к людям... Вера очнулась от нахлынувшего и опять заговорила:

— Нами уже куплены сотни заводов и фабрик конверсии, не считая мелких предприятий... В любой час казаки и патриотические силы России получат новейшее оружие, подобного которому нет в мире... вплоть до стратегического и астрального... Наши ученые обрели волю и смысл, — они создали оберег Отечеству в короткое время. Мы обязаны, мы должны разрушить гнусный план колонизации России, не дать раздробить ее на 53 концлагеря, мы не должны позволить окончательного уничтожения русского генофонда, русской нации... Мы землепашцы и скотоводы, но когда грозит беда... перекуем орала на мечи... Теперь мы святые воины! Не отдадим и пяди земли, политой кровью наших пращуров... — Вера поднялась...

Атаман вскинул над головой насеку, и громыхнуло трижды:

— Клянемся!!! Клянемся!!! Клянемся!!!

* * *

Было уже все готово, просчитано до мельчайших деталей на мощных компьютерах... Под голубыми касками ООН, в транспортных самолетах НАТО томились в ожидании полки и дивизии. Взлетели с аэродромов тяжело груженные бомбами и ракетами, невидимые для радаров неуязвимые «летающие крепости»... Подводные лодки и авианосцы, словно к большому магниту, стягивались к России. Через спутники, из разом взмывших челночных космических кораблей близко просматривалась вся огромная земля, желанная колония с набитыми богатствами недрами.

Президент в смокинге сидел в своем командном бункере, смотрел на часы и держал в руке ключ Войны... За его спиной плотно стояли военные, завороженно глядя на его руку.

И вдруг все вздрогнули от неожиданного звонка правительственного телефона, взревевшего надрывисто и необычно. Президент нехотя поднял левой рукой трубку и тут же сжал в правом кулаке ключ. Он услышал спокойный женский голос с русским акцентом, подбирающий слова:

— Президент! Остановитесь! Я уполномочена предостеречь вас. Через минуту отключатся все электростанции Америки. Через две минуты — выйдет из строя вся ваша электроника на Земле и в космосе... Через три минуты все ваши самолеты и корабли повернут назад, чтобы атаковать вас же... Я вынуждена применить астральное оружие! Смотрите на часы. Отсчет начался... Остановитесь!

— Я... жду, минуту, — хрипло и недоверчиво ответил он... — Телефон на автономном питании.

— Связь с вами я не отключаю.

В бункере медленно погас свет и тускло загорелись аварийки. Президент поднял трубку прямого провода со своей резиденцией и услышал испуганный голос жены:

— Что случилось? Отключен свет! Город во тьме. Я боюсь! Мне страшно!

— Спокойно, дорогая...

Он не успел договорить... В командном бункере взбесились компьютеры, в них что-то лопалось, сгорало... дымная вонь ударила в ноздри.

— Президент! У вас еще минута, — дошел до него уверенный женский голос. — Теперь в вашей системе управления войсками оставлен один канал, чтобы вы им воспользовались.

— Да!! Да!!! Черт возьми! — он резко выпрямился, приняв решение, и, нажимая кнопку отбоя, спохватившись, прокричал в трубку: — Но как вернутся наши самолеты и космические челноки без электроники?!

— Это ваши проблемы... я их не посылала. Передаю трубку руководителю Астральной программы.

— Президент! — ровный молодой голос был спокоен. — С вами говорит русский ученый Георгий Родзаевский. Ваши ядерные боеголовки заблокированы нами. Приборы посадки у ваших самолетов и челноков оставлены в рабочем состоянии. Начинайте конверсию!

— Да... Господин Георгий...

●



Михаил ЛОБАНОВ

На моих глазах (как члена редколлегии журнала с 1965 года) из комсомольской «Молодая гвардия» превратилась в «Молодую гвардию» русского, патриотического сознания. А что такое патриотизм, об этом незабываемо сказал Пушкин:

Два чувства дивно близки нам,
в них обретает сердце пищу:
любовь к родному пепелищу,
любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
по воле Бога Самого
самостоянье человека,
залог величия его.

Патриотизм — это Закон Божий, и только бесы, отродье сатанинское могут глумиться над чувством патриотизма, как это делали «пролетарские интернационалисты», как это делают нынешние демократы.

Историческая заслуга «Молодой гвардии» в том, что она неустанно готовила сознание молодежи, общественное мнение к эволюционному изживанию марксистско-иудейской идеологии, сковывавшей, иссушавшей нашу национальную жизнь, звала к единению всех патриотических сил — от военных, государственных, партийных до духовно-культурных. И вот вместо эволюции — новая революция, августовский переворот, захватившие власть «демократы»-перевертыши, уворовавшие у русских патриотические идеи, чтобы примазаться к России и успешнее разрушать ее.

Когда-то генерал Деникин говорил, что в гражданской войне обнаружилась недостаточность патриотизма русского народа. И в наше время произошло то же самое. Господствующими оказались те же самые разрушительные антирусские силы. В этом наша русская трагедия.

Но ничто не пропадает даром. Семена, посеянные «Молодой гвардией», уже дают и еще дадут реальные всходы.

Александр ОГНЕВ,
профессор

За 70 лет у нас было и величественное, и позорное. Но самое омерзительное случилось в последнее время, когда бесы развалили страну. В эту катастрофическую по своим последствиям смуту журнал мужественно противостоял евтушенкам и коротичам и подпирающей их могущественной сатанинской силе. Не раз пытались они изменить патриотическую направленность журнала, не раз им казалось, что после очередного политического доноса они уже добились своей цели, но «Молодая гвардия» выстояла, не изменила своим позициям. И вот за это-то ох как ненавидят ее желтые издания, продажные литераторы и демократы всех мастей.

Мое поколение, участвовавшее в Отечественной войне, стареет (моя первая статья в «Молодой гвардии» была опубликована в 1960 г.), и ты, «Молодая гвардия», тоже ветеран, должна бы чувствовать груз многих десятилетий, но нет у тебя права на старость и усталость, ты всегда должна быть молодой и снова идти в бой за нашу Родину.

Тверь

Дмитрий ЖУКОВ

Всякое видела «Молодая гвардия» на своих страницах. И расхожую большевистскую пропаганду, и талантливые ростки прозы и поэзии, обещавшие стать могучими ветвями русской словесности. Нередко надежды сбывались. Что бы там ни было за эти 70 лет, название журнала оказалось удачным. У него есть будущее. В нем нет необольшевистской преемственности, которая есть у «Комсомольской правды» или «Московского комсомольца».

Меня, беспартийного, всегда влекло и влечет в этот журнал, потому что здесь работали и работают люди, трепетно любящие Россию и готовые постоять за честь и славу Родины, которая ныне подвергается неслыханному поруганию, унижению, разграблению. Помню 60-е годы, когда редакция стала клубом единомышленников, куда можно было прийти и отвести душу. Помню начало 70-х, когда журнал сопротивлялся коммунистическому идеологическому напору тех, кто душил свободную русскую мысль, а теперь кричат о свободе, превратившись в «прорабов перестройки» и ярых «демократов». Помню и те случаи, когда журнал отвергал мои вещи, потому что я-де слишком увлекаюсь историей России, неразрывно связанной с историей православной церкви, и забочусь о погибающих церквах...

Сегодня «Молодая гвардия» мужественно, с молодым задором раскрывает тайное тайных, обнажает корни мирового зла, зовет к жертвенному подвигу во имя Отчизны. И недаром журнал высоко ценится на черном рынке, зачитывается до дыр, распространяется в ксерокопиях. Так держать!

Поздравляю с днем рождения всех, причастных к «Молодой гвардии», всю редакцию, всех авторов, всех читателей!

Поэзия

Елена КУЗЬМИНА

НАД ВСЕМ, ЧТО ПЕПЕЛ И ЗОЛА

* * *

Ты только к дверям — и я тенью легла у дверей.
Другая прощалась с тобою и меч подавала.
Не я напоила у дома веселых коней,
Не я провожала.
Я тенью немой на изрытой лежала земле,
И кони шальные играли, взлетали... но кто-то,
Когда ты пропал за холмами в полуденной мгле,
Кричал, запирая ворота.
Ты завтра вернешься в победной пыли золотой,
Вернешься чуть свет и к воротам подъедешь закрытым...
Не я побегу от крыльца почернелой тропой —
Меня растоптали коней твоих страшных копыта.

* * *

Мальчики, мальчики.
Око за око?
Все по-прежнему?
Око за око?
Грянет зорькою недалекой
Битва праведна и жестока?
Так же пепел в сердца стучится —
Не разойтись вам и не смягчиться?
Так же забудется бабий лепет...

Пепел, мальчики,
пепел...

* * *

О чем думаешь ты,
Поломойка церковная,
Когда свечи погашены,
Ладан рассеялся,
Когда в свете вечернем,
Колени уродуя,
Очищаешь ты пол
От нагара свечного?
И когда, торопливо
Взглянув на Пречистую,
Протираешь стекло
На иконе тряпицею,
И когда, от дверей
Поклонившись Спасителю,
Запираешь ты храма
Двери тяжелые?
И когда по дороге
Идешь за оградою
Мимо темных снегов,
Мимо хлама весеннего,
Мимо жухлой травы
На немногих проталинах,
Мимо старых крестов
За горбатой поленницей?
И, затертая в душном
Салоне автобуса
Средь орущих,
Шипящих,
Немых,
Ненавидящих,
О чем молишься ты,
Поломойка церковная,
«Отче наш» повторяя
С глазами закрытыми?

* * *

Двенадцать мальчиков счастливых...
Раскрыты окна после ночи,
Дом пробудился и хлопочет:
Все в ожидании гостей...

И молча странник утомленный
Встал у распахнутых дверей.

И мальчики бегут навстречу,
И за руки его берут,
И хлеб кладут в мешок заплечный,
И в дом, незваного, зовут.
И голоса их слабы, нежны,
И хлебом пахнут их одежды,
И воздух дома светел, свеж...

Они, прощаясь, безмятежно
Его касаются одежд.

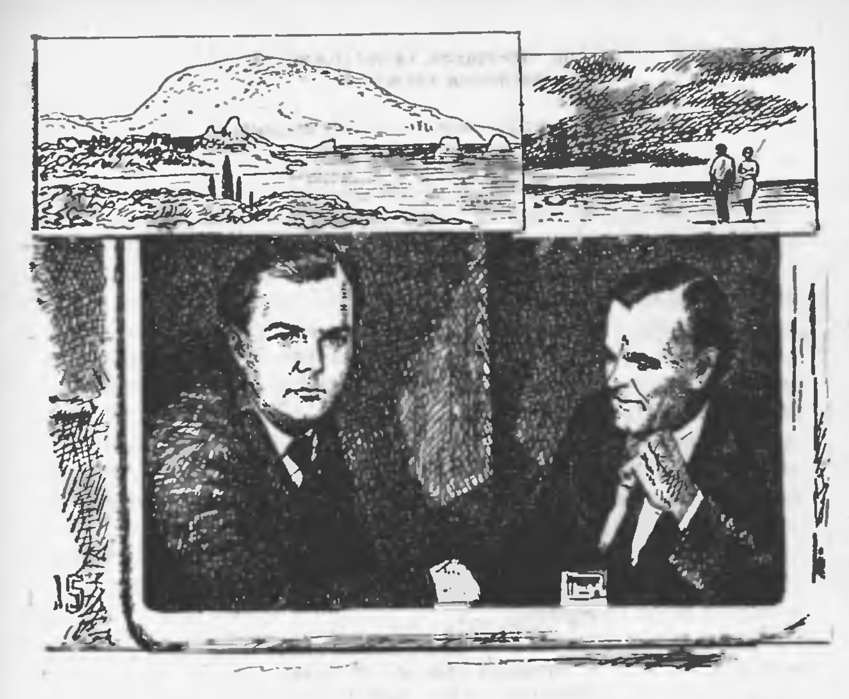
И с этим хлебом, с этим светом
Пойдет он от высоких врат,
И тишину цветущих веток
За ним обрушит белый сад.
И у дороги невозвратной,
Провиденный когда-то год,
Грядущий, скорбный и утратный,
Он посидит и подождет.

...Радушней, ярче переливы
Огней настольных за окном,
Гостей веселых, суетливых
Встречает хлебосольный дом.

* * *

Звонарь, и он же истопник,
Без ранней выпивки слабея,
Приветствуя архиерея,
Раскачивал колокола.
Старуха в праздничном платке,
По-будничному суетливо,
Нас, непонятливо-счастливых,
С дорожки красной согнала,
Перекрестилась, замерла...
И черный дьякон крикнул, каркнул...
Звонарь спустился в кочегарку
И пил, и уголь жег дотла.
И, странно, звон колоколов
В холодном небе не растаял,
Он все еще соединяет
Снега, деревья, купола...
И перед тем как в тишину
Мы без печали растворимся —
Тот звон услышим и склонимся
Над всем, что пепел и зола.

Архангельск



Художник С. Трофимов

Юрий БОНДАРЕВ

Мгновения

РАЗГОВОРЫ

Когда в редакции «Нового мира» познакомили с ним, он показался мне нелюдимым, угрюмоватым, без выражения глядевшим как бы сквозь людей своими небольшими светлыми глазами на одутловатом лице. Тогда, в редакции, он хвалил мои военные повести и как-то непоследовательно поругивал «Тишину», не совсем понятно почему раздраженный сценой ареста («Вы пишете не о тридцать седьмом годе, а о сорок девятом, такого не бы-

ло») и недовольный «постельными сценами» в романе («Зачем вы разрушаете русский реализм?»). В общем, у него было впечатление, что «Тишину» я сочинил после первых повестей, следуя успеху, слишком быстро: литературную торопливость он терпеть не мог. Я объяснил, что работал над романом три года, и запальчиво не согласился с его претензиями к любовной коллизии (Сергей — Нина, Ася — Константин) и особенно с его утверждением, что на дворе в сорок девятом году другие были времена, поэтому «трагическая история тридцатых годов не могла произойти с отцом Сергея Вохменцева». И сразу мое несогласие еще больше раздражило его. Он стал говорить горячее, я тоже начал горячиться, и чем упрямее возражал, тем яснее становилось мне — роман из редакции я, конечно, возьму. Но когда кончился наш накаленный разговор, он встал, начал надевать плащ, потом несколько смущенно повернулся от вешалки, протянул руку, прощаясь, сказал: «Я подумаю еще. И вы подумайте. Может быть, завтра я возьму все свои замечания обратно. В вашем романе есть блистательные сцены, о которых я не говорил».

Тут же в редакции мне сказали, что он бывает резковат и груб с авторами, но со мной, оказывается, разговаривал вежливей, мягче, чем даже с одним постоянным автором журнала, известнейшим мастером прозы. По этой причине у всех моих защитников романа в журнале осталось благостное впечатление от моей встречи с главным редактором («Ну, все в порядке»). У меня же было чувство душевной неопределенности от того, что мой военный и житейский опыт неодинаков с опытом Твардовского, всегда казавшимся мне носителем простой мудрости солдатской, безупречным в знании народной жизни.

Однажды (уже был напечатан роман «Двое») случайно встретил его в редакции. Он вошел в отдел прозы почти бесшумно, замедленно, его белый лоб чуть хмурился, и особо заметны были в дневном солнечном свете из окна его блеклые голубые глаза на большом круглом желтоватом лице. Он подал медлительно крупную руку, слабо улыбнулся одними щеками, как умел улыбаться иногда, думая свое.

— Ну... как?

— Да вот пощипывают в «Литературке», в «Огоньке», ругают за мрачность, — сказал я чрезмерно бодро, желая показаться насмешливым к критике.

— Ну, ничего. Так и должно. Литература есть литература, — ответил он фальшиво-успокоительно, но в этой его фразе было что-то от участия свысока, некая олимпийская неприкасаемость человека, которого обходит, не задевая, суета земная, ибо известен, признан и много лет прочно защищен от всяческой критики своим положением первого поэта.

Он помолчал, хмуро взглянул в сверкающее инеем солнечное окно, за которым в морозном пару стояла длинными кольцами очередь вокруг кинотеатра «Россия» (за билетами на кинокартину «Тишина»), и, странно прищуриваясь, спросил:

— Приятно, а? Успех... Очереди-то на ваш фильм второй месяц мерзнут.

Он вяло пожал мне руку и вышел, а я, будучи еще не испорченным литературной средой, наивно подумал: «Неужто ему свойственно, как всем смертным, чувство ревности?»

Потом встретились в поезде по пути на юг, и здесь, в дороге, я увидел его совсем другим, нежели в редакции, — простым, оживленным, домашним. Целыми часами мы стояли у окна и, как бы узнавая друг друга, разговаривали обо всем, чего не касались при встречах в редакции, — о потерях на войне, о всевозможных ее деталях, о генералах и солдатах, о послевоенной жизни, о литературе русской классической и современной, о нищете мысли в критике, о разных поколениях писателей, о молодых талантах. Он, в ковбойке, полноватый в плечах, смотрел в окно, положив локти на опущенную раму, щурился, поправлял на теплом ветру волосы одной рукой, смеялся и от смеха хрипло закашливался. И показался он тогда мне молодым, прямым, ядовитым в суждениях, веселым, умным литературной и житейской мудростью, со многим в нашей действительности несогласным, в отрицании сверх меры откровенным, и это поразило меня. И еще поразило то, что он говорил со мной как с равным, называл читаемым романистом «зело известным», «писателем на волне» — и было непонятно, чем это расположение объяснить: он редко кого хвалил в глаза. Возможно, хотелось быть добрым ему в дорожной обстановке, в ожидании Крыма, солнца, моря, отдыха?

Вот что я помню из разговора с ним:

— Писатели старшего поколения отмалчиваются, не

вмешиваются в процесс литературы, считают — литература после них кончилась. Да, Шолохов создал себе при жизни памятник «Тихим Доном». Поклониться надо ему в ножки. Все остальное, им написанное, не идет в сравнение. Я ведь в журнале не напечатал вторую книгу «Поднятой целины». Слабо, слабо!

— Я с вами не согласен. В «Поднятой целине» есть гениальные страницы. Смерть Тимофея, к примеру...

— С «Тихим Доном» не сравнить. Другое. Помельче.

— Почему же? Смерть Тимофея Рваного на уровне «Тихого Дона».

— Вы, я вижу, поборник Шолохова, любите его.

— Наверное, нет никого выше его сейчас.

— ...Вся наша критика — это контрольно-пропускной пункт. Критики нет, а есть КаПэПэ. На этом пункте неважно, талантлив ты или бездарен, красив или некрасив, высокого роста или малого. Важно другое — есть ли пропуск. «Ага! Свой! Проходи». И должна быть на пропуске фотокарточка. И чья-то подпись.

— ...Слово, простое, обиходное, иногда запоминается на всю жизнь. Война, зима, холод, а в землянке — тепло, печка. Вошел часовой, солдатик, сменился с поста, сел у печки, сказал: «Иззябся я», — и заплакал от этого тепла, оттого, что завтра в бой. «Иззябся я». Хорошо!

— ...Сигареты кончились? Могу взять вас на полное дымовое довольствие.

В Коктебеле, жарким днем, стоя в очереди за газетами в киоске на набережной, спросил его, усталого, молчаливого:

— Работаете, Александр Трифонович?

— Притворяюсь. Ловлю по утрам минуты.

Солнечным июльским утром на даче он пришел вместе с критиком Александром Дементьевым, волосы у обоих мокрые, глаза прозрачные после купанья, от свернутых полотенец пахло речной сыростью. Мы сели за столик под яблонями, он закурил сигарету, в раздумье посмотрел на меня, на Дементьева и почему-то сразу заговорил о военных романах:

— В последние годы появился надоевший, хотя и талантливый шаблон. Романисты обвиняют во всех грехах и бедах тридцать седьмой год: мол, были посажены опытные командиры, поэтому, мол, отступали, драпали в сорок первом. И у генерала Горбатова, которого мы печатали, ясная концепция: командиры на Колыме, а немцы

войну начали. Читали Горбатова? Бог с ним, это его личный опыт. Нет, не в этом вся причина. Ведь то, что пришла в армию молодежь, прекрасно было. Генерал Черняховский погиб в 38 лет? Начал майором. А многие талантливые генералы капитанами начинали, старшими лейтенантами, даже лейтенантами. Здесь Сталин понимал кое-что главное. Снял Буденного, Ворошилова в начале войны, этих боевых, так сказать, опытных командиров, которым не то что не повезло, а которые устарели для новых методов войны. Нет, причина наших поражений была в ином. Тридцать седьмой год не объясняет всего. Романисты заблуждаются.

И тут же сказал о повести «Последние залпы»:

— Могла принести вам огромную славу, но как-то мешал Казакевич своей «Звездой». Он был любимец критики, а вы вроде бы чужой. Написано у вас правдиво, сильно... и какая-то, что ли, обреченность. Критика к этому не привыкла. Вы из окопов только могли ее написать. — И спросил: — Вы офицер?

И потом пошутил, засмеявшись своим хриплым захлебывающимся смехом:

— Бондарев — талантливый человек, смесь Шекспира с поздним Буниным. Читали его «Темные аллеи»?

Разумеется, я понял смысл этой фразы, намек на раздражавшие его «постельные сцены» в «Тишине». Об этих сценах он как-то мне сказал, что «не дело русской литературы решать половую проблему», что Иван Бунин в последние годы писал эротические рассказы, далеко не лучшие свои вещи, и это было угасание таланта, болезнь старости.

— Болезнь? А как же быть с «Анной Карениной», с «Дьяволом», с «Крейцеровой сонатой»? С некоторыми рассказами Чехова, Леонида Андреева, Горького?

— Реализм не терпит примеси натурализма, который разрушает какую-то тайну жизни, натурализм всегда нарочит.

— Я с вами согласен, но...

— В «Анне Карениной» есть очень откровенные страницы, но натурализма нет нигде. Бёль — интересный писатель, но прежде, чем писать «человек съел сосиску», он будет долго описывать, как он разжевывал ее гнилыми зубами. И уже читать не хочется. Хемингуэй — крупный мастер, но иногда так долго и подробно описывает, что его герои ели в ресторане, — пропадает аппетит.

И всегда его внимание занимает лобковое место и... разговоры в постели. Не надо бы. И Бунину не надо.

— Нет, Александр Трифонович, бунинские «Темные аллеи» удивительны, почти каждый рассказ — шедевр.

— Неужто считаете так?

— Убежден.

— Заблуждение. Прочитав Чехова, вы не назовете Бунина гением. Крупный мастер. И только. Куприн меньше, но читабельней. Он ходит на грани банальности, но не банален. И читатель принимает его. До сих пор помню сцену из «Поединка» — поручик замечтался на смотре и смешал строй. Прочитаешь эту сцену — и становится не по себе. А у Бунина «Антоновские яблоки» — прекрасно написанный рассказ. Ничего лишнего. И в то же время есть все: запах осенних яблок, время, усадебная бедность... И что-то еще, что составляет тайну литературы. В простоте и объемности.

— Александр Трифонович, вы знаете, наверное, отзыв Бунина о «Василии Теркине»?

— Тогда я был молод, наивен. Вещь родилась из обычной газетной потребности. И осталась. Для меня здесь тоже есть какая-то тайна. Сейчас я стал умнее и пишу не так, как раньше, — иначе. Думаю, самая сильная сторона в «Теркине» — прозаические куски в стихах, диалогическая сторона.

— Саша, почитал бы что-нибудь, а? — певуче окая, мечтательно сказал Дементьев, подперев рукой подбородок. — Читаешь ведь ты превосходно. О Теркине вспомнили, и захотелось хотя бы строфу послушать. Рассказал бы, как ты читал поэму «Теркин на том свете» в присутствии Хрущева.

Твардовский засмеялся.

— Это для истории литературы рассказать? Тебе? Критику?.. Я люблю читать со свежа. А тут после меня много чтецов было. Много...

И он даже немного смутился, говоря это, но сейчас же опять вернулся к Бунину, заговорил серьезно:

— И все-таки, как только Иван Алексеевич оторвался от своей земли, то и потерял талант. Постепенно. И до опустошения.

— Простите, не согласен, — возразил я. — Нет, талант его не иссяк за границей. Ему помогла ностальгия по России, любовь к ней, память, воображение. «Темные аллеи» — это вершина прозы, какое-то волшебство слова. Ничего подобного в мировой литературе нет.

Он сказал раздраженно:

— Иной поэт в Чите не был, а в заграницах побывал. Едет куда ни попало... Свои, свои проблемы должен понять, а потом за чужой забор глядеть к соседу. Для русского писателя заграница — штука опасная, коварная, не очень нужная. Шмелев, Ремезов, Зайцев, Куприн зачахли там. — Он помолчал. затем спросил, казалось, непоследовательно: — Что сейчас пишете — о войне?

— Нет. Наши дни. Плохо продвигается.

— Зачем же это вы взялись за наши дни? Модно это, что ли? Вы войну хорошо знаете. Может быть, лучше других. Вы за модой не гонитесь, как один наш молодой громкий поэт, который дух с мухой срифмовать может или постель с растерянностью?

— Не угонюсь. Наверное, поэтому роман плохо продвигается.

Он усмехнулся, закурил, снова помолчал задумчиво.

— Мы не можем, конечно, вставать в один ряд со Львом Толстым и Пушкиным. Вот что интересно: «Анну Каренину» Толстой писал для денег, гонорар был отдан духоборам, считал, что ненужную вещь пишет. А мы... как бы вещь туго ни шла, как бы ни казалась нам мелкой, слабенькой, надо доводить ее до конца. Бог знает, что получится. Если демократия, то демократия нужна деревне, а нам за столом нужна монархия воли.

В первые дни нового, одна тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года повстречался с Твардовским и его другом Александром Дементьевым на перекрестке дачных аллей в Красной Пахре. Твардовский в теплой куртке, с самодельной палкой в руке, обрюзгший, небритый. Дементьев, похожий на медведя, грузный телом, тоже обросший седой щетиной, по обыкновению веселоватый, розовенький, маленькие глаза лукавы, брови над очками подвижны — заулыбался мне: «Здравствуйте в новом году!» Оба были навеселе.

— С Новым годом!

— С наступившим и шествующим! — сквозь смех вакашлялся Твардовский. — А, валенки-то, валенки — белые! — И указал палкой на мои валенки. — Зачем это вы?

— В деревне по-деревенски, — ответил я шутливо. — Пытаюсь не оторваться.

— Кулацкие, — с таинственной иронией сказал шепотом Твардовский и наклонился ко мне, смеясь нетрезвыми светлыми глазами. — Донашиваю, надо ответить. Ну, я пошел, — кивнул он Дементьеву. — Вечером, может, свидимся. А то дачу открытой оставил, обворуют...

— Иди, иди, а то сейчас, знаешь, залезут в окна — камин вынесут. — Дементьев, посмеиваясь, поблестел очками, двинулся к своей даче.

Мы вдвоем пошли по аллее. Я спросил:

— Остаетесь в журнале, Александр Трифонович?

— Думаю вот. В деталях объяснить вам не могу. Выварка идет. Чтоб мясо от костей отделилось. В том, что происходит, большого ума не вижу.

— Слышали, как многие говорят — юбилейный год?

— Само слово «юбилей» к этому событию не подходит. Юб-би-лей — это умиленность, пышность ласковых, знаете, фраз, за которыми исчезает реальность. Вот так вот и будут целый год говорить всем реалистам. «Вы что же — праздник испортить хотите?» А пышность понравится многим, кому думать не хочется. Юбилей затянется надолго. Не на один год.

— А я думал сходить наверх, поговорить насчет своей повести, которую не печатают. Я говорю о «Родственниках».

— Бессмысленно. В частном случае никто ничего не решит. Я уж знаю. Понюхал эти коридоры. Ради всех вас, может быть. Знаете письмо о Байкале, подписанное полсотней академиков? Ну так вот. Не знаете?

— Не знаю подробностей.

— Подробности печальны. А что похудели? Работаете много? Курите?

— Курю. Иногда полторы пачки. А вы бросили?

Твардовский достал сигарету, помял ее в больших пальцах, закашлялся:

— И до двух пачек обходится.

Однажды он пришел на дачу с рукописью. Это было предисловие к девятитомному изданию Бунина, и жестокий разговор, происшедший между нами, разделил нас надолго.

Однако истины ради надо сказать, что в посмертном собрании сочинений Твардовского уничижительных абзацев о последнем периоде в творчестве Бунина я не нашел.

Думаю, что в предсмертные свои дни он вышел из-под влияния цепко окружавших его пристрастных и льстивых критиков.

«ОТРАВЛЕННЫЕ СЛОВА»

Середина августа, нещадно жаркий день под Баку, далекие вышки в Каспийском море, бесконечная белизна пляжа, сплошь голый песок, за дюнами глинобитные дачки, заборы, без зелени, с плоскими крышами, а на краю пляжа — похожая на сарай, одинокая парикмахерская, до горячей духоты обдающая из открытых дверей одеколонной вонью, и тут же, сидя на корточках, черный от загара остроглазый мальчишка, еле слышно напевая что-то однообразное, торговал помидорами, то и дело старательно поплевывал на них, протирал грязным подолом рубахи и снова укладывал в кучку перед собой.

Я томился на жаре, курил, ходил взад-вперед по песку, одурело взглядывая на облупленную каспийскими ветрами выгоревшую вывеску: «Мужской и дамский салон» — и ждал ее долго.

Наконец она быстро вышла и стремительно направилась ко мне своей волнистой походкой, ее светло-каштановые волосы мотались по плечам.

— Ненавижу, ненавижу, ненавижу! — повторяла она, готовая разрыдаться.

— Что с тобой?

— Все не так и не так! В парикмахерской дышать нечем, мухи, зеркало грязное, пахнет каким-то приторным африканским одеколоном! Видишь, как меня изуродовали: постригли — просто ужасающе оболванили под дурочку!

Я посмотрел на ее золотисто отливающие под солнцем волосы, не заметил никакого ужасающего «оболванивания» и решил, что это у нее очередной каприз, перемена настроения, к чему мог бы привыкнуть, в течение целой недели не расставаясь с ней после моего тайного приезда из Москвы. Я получил от нее телеграмму, состоящую из двух слов «жду, скорей», и, хорошо зная ее нетерпеливость, взял на студии отпуск на полмесяца, не медля прилетел в Баку и сразу в Центральной гостинице

нашел съемочную группу: здесь вместе с мужем, режиссером, была и она, на этот раз занятая в картине не главной ролью.

Ее милое своеволие, ее капризный нрав вызывали у меня веселое и возбуждающее любопытство, иногда мне казалось, что я разгадывал и не способен был разгадать ее даже в минуты сокровенные.

— Слушай, посмотри на меня со всех сторон, — сердито сказала она, поворачиваясь передо мной с балетной легкостью. — Меня обкорнали дурацкими тупыми ножницами! Такую овцу не только ты разлюбишь, но и все так называемые поклонники. Теперь нельзя показаться перед кинокамерой. Сумасшествие какое-то!

— Перестань, с тобой все в порядке, — проговорил я насколько можно было ласково и обнял ее за плечо, чувствуя его нежную теплоту под тонкой блузкой. — Ты что-то вообразила, придумала что-то.

— А ты знаешь, что было в парикмахерской?

— Что?

— Парикмахерша, колдунья на помеле, жуткий персонаж из глупых сказок! Губы тонкие, глаза как у совы и черные усики. Между прочим, русская бабища. Представляешь? Щелкает ножницами и таким скрипучим голосом заявляет: вам волосы следует покрасить в черный цвет, это будет оттенять цвет глаз. Тогда вы похорошеете на несколько градусов. Понимаешь — «похорошеете»! Ненавижу бабьи советы.

— Да что тут такого? Просто ни к чему не обязывающий разговор. Сердишься зря.

Она обвела меня с ног до головы своими тонкими, великолепно нарисованными бровями.

— Ах, вот как! А тебе небезразлично, что она сказала о твоей персоне? Увидела в окно и говорит: «А этот молодой человек, конечно, ваш поклонник и любовник, не солидный, однако. Ждет и от чувств сгорает, бедный. Чего ж вы такого худенького выбрали, невзрачного?» Я ответила, что этот молодой человек не любовник, а талантливый сценарист, уже очень известный, и разозлилась до чертиков! Какое все-таки неприятное слово — любовник! И звучит как-то по-идиотски!

Я засмеялся.

— Да, имеет оттенок пошлости. Но я не твой любовник. Я просто люблю тебя, хоть и худенький и невзрачный. И не солидный.

— Оставь, пожалуйста, иронию, — сказала она с несдерживаемым раздражением и досадливо потопала туфлей, куда попал песок. — Ты уж раз десять объяснялся мне в любви. Я знаю, что ты внушил... и внушаешь себе, что меня любишь. Только умоляю — не повторяйся!

— Не буду, — сказал я шутливо, еще до конца не понимая причину ее раздражения.

Мы шли по совершенно пустынному в этот палящий час пляжу, по раскаленной полосе песка вблизи нескончаемого сверкания и блеска, где в волнистой сетке зноя дрожали над водой, как мираж, нефтяные вышки. Неистовое послеобеденное солнце было настолько давящим, сжигающим все на берегу, до тоски омертвленном, а близкое море не освежало, и я видел капельки пота на ее переносице, между нахмуренными бровями.

— Какая-то глупость во всем, — заговорила она неуспокоенно. — Мы с тобой, как воры, прячемся, уезжаем из города... вот в эти дикие места, где живой души нет на пляже, а одни только змеи. Зачем-то ходим под этим жутким африканским солнцем, дурачками глазеем на море, в котором искупаться нельзя, от нефти пятки не отмоешь. И зачем-то шляемся мимо вот таких странных дач, где будто все вымерло... Даже страшно от такого кладбища! И зачем тут какой-то «Дамский салон» и эта злая колдунья на помеле? И что за глупые слова: «в несколько раз похорошеете»! За что она меня возненавидела?

Я попытался успокоить ее:

— Бог с ней. Знаешь, может быть, ты права. Здесь не очень уютно. Лучше поедем ко мне.

Вдали от гостиницы, от центра, опасного встречей с актерами из съемочной группы, я снял комнатку на окраине города, и через день она приезжала ко мне после съемок, усталая и возбужденная, лицо, отмытое от грима, было бледно, едва заметно покрытое разглаживающим кожу кремом, сиреневый запах которого я чувствовал, когда в прохладе комнатки мы лежали с ней на ковре, расстеленном на полу, солнечный веер пробивался сквозь зашторенное окно, сквозь пыльную листву крохотного сада, млеющего в жаре, и она была нетерпелива, быстрыми пальцами расстегивала на мне рубашку, торопила меня, вздрагивая как на холоде, умопомрачительно шепча что-то с закрытыми глазами, а потом лежала на спине отчужденно и молча, в полузабытьи, буд-

то рядом не было меня и она не прижималась ко мне с судорожной нежностью, повторяя почти беззвучно: «Вместе, вместе»...

— К тебе? Нет! — поспешно сказала она, своей гибкой отработанной походкой двигаясь рядом со мной по скрипевшему песку. — Боже, как все надоело! — заговорила она, вскидывая голову к нестерпимо синему небу. — Утренние съемки, дубли, «мотор», идиотский грим, потом обед со скучными разговорами. Потом я лгу Анатолию, моему доброму доверчивому муженьку, и еду к тебе в твою унылую комнату, где мы почему-то сходим с ума, потом вот эти поездки за город, дурацкий пляж, как ад какой-то, безлюдное море, чьи-то мертвые дачи... Зачем, зачем, зачем все это? Устала. Не хочу! Не могу! Я устала от бессмысленности, я устала...

«Неужели то, что я люблю тебя, бессмысленно?» — хотел сказать я, ошеломленный, в состоянии, казалось, умственного оцепенения, но промолчал, в голове завертелись злые и растерянные фразы оправдательной иронии, однако я чувствовал их унизительную слабость, их ничтожность, и меня начала бить нервная дрожь, а мой рот, как представлялось мне, независимо от моей воли растягивала глупая застылая улыбка. «Какая же это нелепость!»

Долго спустя она заговорила с укоризненной страстностью:

— Ну, что ты со мной сделал? Почему и сейчас ты отвечаешь мне молчаливым презрением? Что ты улыбаешься? Я знаю, ты меня не уважаешь... и думаешь обо мне, как о глупчихе с ветром в головке, которая с жиру бесится!

— Правильно. Я просто люблю тебя. Опять повторяюсь, извини.

Она приостановилась, и остановился я в ожидании. Она слегка сощурилась, разглядывая меня не без насмешливого интереса, и тут лицо ее мгновенно изменилось, стало ласковым, и полные губы приоткрылись, как для поцелуя.

— О, милый гений, — благоговейно проговорила она, скучно морща лоб.

— Не возражаю и скромно соглашаюсь.

— Ты такой ге-ний, — повторила она протяжно и посмотрела мне в глаза с ленивой неприязнью. — Только почему тебя считают бедным любовником? Ах, любовник,

любовник, — заговорила она брезгливо. — Какое тошнотное понятие! А я — твоя любовница? Да, да! От этого неприятного слова пахнет дешевой пудрой! Или одеколоном, как в той парикмахерской. Все ужасно и гадко! Так вот что, любовник мой, я хочу на автобусную остановку. Сейчас же. Я поеду в гостиницу. Мне противно обманывать Анатолия. Я не хочу. И больше мне не звони. Прекратим эту ложь и мерзость...

Я молчал, внезапно испытывая изгрызающую тоску от этого беспощадного отчуждения ее от меня, оттого, что так неожиданно и резко она рвала все, что было между нами, и по-прежнему рот мой, как казалось мне, не мог справиться с тупой улыбкой сошедшего с ума человека.

Кто мне ответит, что с ней случилось тогда на том знойном и пустынном пляже возле того несчастного «Дамского салона»? Но тот прощальный день не забыт до сих пор, и вот теперь, пытаясь восстановить в памяти тот последний наш разговор, я думаю: как несколько отравленных слов, сказанных со стороны, могут разрушить многое...

ЛЕОНИД МАКСИМОВИЧ

Ожидая Леонова, разговаривал с его женой о романе испанского писателя, который она недавно прочитала, а когда щелкнула дверь в передней, Татьяна Михайловна весело сказала: «Вот и он», — и я увидел: Леонов, еще не сняв шубу, розоватый, свежий, с любопытством заглянул из коридора в раскрытую дверь гостиной, вернувшись после прогулки на легком морозце совсем весеннего, февральского вечера, и воскликнул озорно:

— Уже здесь, дьяволы, здесь, дьяволы! Запоздал я, запоздал!

Он быстро разделся в передней, бодро вошел, протянул мне холодную руку, сел к маленькому столу возле книжных шкафов и пригласил меня сесть напротив в кресло под торшером (потом я узнал, что за этим столом он любил разговаривать) и спросил неожиданно для меня:

— Ну, как вы? С кем из писателей дружите?

Я ответил, что после сорока лет, к сожалению, а может быть, к счастью, становится меньше друзей, что из старшего поколения писателей встречался с очень требовательным Гладковым, а чаще с добрейшим Паустовским,

который привил мне любовь к слову, и, хотя пишу в другой манере, вспоминаю дни учебы у него с благодарностью.

— Да, в другой манере пишете, — заговорил Леонов, как показалось мне, одобрительно. — Вот у вас герой дает по морде своему врагу... Это в «Тишине» у вас. В этой сцене чуть-чуть не хватает иррационального. У вас здесь несколько прямое действие, взаимоотношения ясны, а может, нужен был ход конем (показал на столе ход конем), может быть, вашему герою Сергею не нравился в Уварове какой-то изгиб в брови... Понимаете? Тогда приоткрывалась бы некая человеческая тайна, нечто непонятное, необъяснимое. Вот в «Освобождении» у вас рукопашная — русские и немецкие танкисты дерутся, когда их танки уже горят... Хорошо, что танкисты между дракой не забывают гасить на себе комбинезоны. Это очень хорошо. И страшно мне было читать гибель вашего Веснина в «Горячем снеге», его мысли, когда он уже убит. Сколько вам лет? (Я ответил.) Достоевского любите?

— Толстой ближе мне.

— Я прочитал ваши романы, и захотелось с вами познакомиться. Все-таки Достоевский вам не далек.

Он некоторое время смотрел на меня, как бы сдерживаясь, чтобы не навязать свое отношение и любовь к Достоевскому, потом заговорил, проводя рукой по столу, будто пылинки стирая:

— Все тайны народного слова — в русском слове. Вы слышали, как говорят мужики? Жемчуг, россыпи жемчуга, который рождается в народе. И, может быть, так надо писать. Вы откуда сами?

— Родился на Урале.

— Скажите, слово «Россия» народ произносит?

— Не приходилось часто слышать.

— Да, может быть, кончается все, — осторожно сказал он и снова внимательно взглянул на меня. — Мне семьдесят два года. Иду по улице и всматриваюсь в глаза молодым — что вы? Кто вы?.. Вы молодежь знаете?

— Немного.

— Недавно был у меня разговор с молодыми физиками. Что их волнует, что их на земле греет? Да, да, по главному — что же они думают о России, о нашей культуре, о русском народе? По-моему, серьезно они об этом не думают. Произошла утрата истоков. Я как-то говорил очень умным людям, от которых зависит многое: берегите

русский народ — это надежда и опора во всем. Но вот о чем я часто думаю — кончилась когда-то Римская империя, великая Испания, великая Голландия. А если и мы?.. Как вы на это смотрите?

— Пожалуй, мы еще не достигли своего зенита, чтобы закатиться.

— Гаснут и большие звезды. Вспыхнула, мелькнула и погасла, — сказал он грустно. — Так бывает и в искусстве. Появляется молодой русский талант, написал одну книгу — и успокоился, погас, на радость серым ремесленникам. А они, бесталанные, обладая вот такими данными (показал на кончик мизинца), вынимают из себя работоспособностью все... и такие же собратья в критике (опять показал на кончик мизинца) без стеснения выдают их за таланты. Но особенная беда в России — много пьют. Видели, какого роста мужички наши? Вот (он показал рукой над полом). А раньше были — двухметрового роста, медвежьей силы дяди.

— Легче вам сейчас или труднее писать?

— Труднее. Да, труднее. Бог талантом меня не обидел, а иногда сидишь (сделал жест, как будто водит пером по бумаге) и — эх, сорок копеек не хватает! Недавно видел картины из запасника Третьяковки, и была там одна прекрасная вещь пейзажиста Шишкина — выписана божественно, каждый листочек, каждая травинка живет — это вечно! Наряду с главным надо выписывать и второстепенное. Вот стул. — Он проворно поднялся и провел рукой по его резной спинке. — Кажется, вот этого углубления глазами не видно, а пальцем прощупывается. И оно не лишне, оно необходимо. Должен быть точный план и обязательно — мысль. Вот смотрите, — Леонов сел, нарисовал на листке бумаги две точки, соединил их линией, перечеркнул ее зигзагами. — Движения героев — прямая, синусоида — соприкосновения их.

— Но ведь план часто разрушается в процессе работы?

— Иногда. Грацианский и Вихров были сначала одно лицо. Поля приехала в Москву и неожиданно для меня пошла в Большой театр. Как провинциалке не пойти в Большой театр? Но план должен быть строго продуман и вычерчен точно.

— Но, а когда вы пишете, бывает у вас мучительный выбор — эту сцену написать или другую?

— Нет! Значит, что-то не продумано. И диалог должен

быть всегда точно и верно подчинен главному. Диалог — мысль, а не пустая болтовня. «Плохой» герой не должен ходить по роману как плохой герой, а «хороший» как хороший. Это задуманное вранье. Писатель открывает тайну, правду и красоту. Утро, роса, лошадь с проступающими ребрами красиво ест на лугу. Красиво ест! Вы восхищаетесь! Писатель должен любить истину и правду — любовь, ненависть, неблагородство и благородство, хорошее и плохое, потому что плохое — тоже формула проявления правды. Достоевский и Толстой были художниками, они заранее не предопределяли «хорошее» или «плохое» в своем герое. Горький был просветителем, как Слепцов, Левитин — и он разделял героев на плохих и хороших. Надо писать не на один день! Вы в бога веруете? Это, знаете, сейчас модно стало...

В двадцать первом веке человечество придет к вере через огромное, вселенское страдание. Будут кипеть в огне реки, плавиться горы, и в огне человек, как насекомое, будет искать спасение в щелях земли. Потом возникнет вера, новая вера. Да, да. В Болгарии я встретился с ясновидящей. Слепая. Она сразу спросила меня: что это за женщина у окна стоит с девочкой? Я не увидел ни женщины, ни девочки, а она повторила: кто они двое тебе? И я вспомнил, что это моя мать с сестренкой спиной ко мне у окна когда-то стояла... Да, у меня была сестренка, умерла маленькой. А это, говорит, кто? И двух героев из «Русского леса», который я писал тогда, назвала, увидела. Тайны, глубины психики не расшифрованные, не разгаданные. Кто знает — что такое ясновидение? Предчувствие? Телепатия? И писатель тоже разгадывает тайны. Белый чистый лист бумаги — потенциально гениален. Исписанный — уже испорчен.

...Меня всегда мучает конструкция вещи, — говорил он за ужином. — Может быть, это никому не нужно, но я обращаю на это большое внимание. Как правило, никто из критиков не понимает и не пишет об инженерии художественных вещей — как они сделаны, как спланированы. Сейчас надо писать роман так, чтобы можно было его положить в стол на двадцать пять лет. Не надо торопиться. Потом напечатают. Так было с «Евгенией Ивановной». Я написал ее в те годы, когда государство стреляло в человека. Но спасения в бегстве нет. Единственная родина — Россия, что бы ни было. Повесть «Евгения Ивановна» хранилась в одном экземпляре, я подарил его же-

не. Писатель как вращающиеся точильные колеса с разными скоростями. Одно колесо точит, даже стачивает, но искру не дает. Только на самых больших скоростях из-под другого колеса брызнут искры и осветят время. Тогда он — гений. Что же... Может быть, когда-нибудь и я напишу высокохудожественную вещь.

И, говоря это, он в раздумье собирал ножом на краю скатерти крошки, разделял их ножом на кучки, перхал горлом. Я слушал его, не задавая вопросов, думая о том, что в нем, высокого порядка интеллигенте, неистребимо живет что-то народное, русское и всеевропейское, что этого своеобразного художника не желает понять наша хилая, групповая, нарциссианская критика.

— ...Лишь литература мышления может завоевать мировое господство, первое место во всемирной культуре, если человеки еще не окончательно превратили искусство в мелкий лавочный товар и вконец не перестали читать серьезную книгу. Но, несмотря ни на что, надо неподкупно, рыцарски хранить острие таланта в бархатном футляре. И свою вещь следует конструировать так, чтобы прочности конструкции хватило бы на четверть века, по меньшей мере. Молодым часто не хватает страсти и мук над словом. А надо ночью встать, эпитет зачеркнуть, который не точен или торчит излишеством, кокетливым украшением. Но как только зачеркнул эпитет, значит, нарушил ритм и конструкцию сделанной фразы. То есть — заменил слово, значит, вычеркнул всю фразу. А это потянуло за собой правку следующего абзаца, так как нарушилась общая связь, целостность — и смотришь: измарал все фразы и в конце концов вычеркнул страницу. — Леонов страдальчески взялся за виски, покачал головой, наклоняясь к столу. — И ничего перед тобой нет. Вот муки! Нам хорошие деньги должны не за книги, а за эти муки платить. За муки! Да! — Он перхнул и замолчал, а я представил эти леоновские муки за столом, как он вдумчиво, трудно, долго вяжет фразу, сомневающийся, неудовлетворенный, истерзанный недовольством собой. — Вы читали Фабра? — спросил он минуту спустя. — Удивительно трогательные есть люди, удивительно... Лежал целыми днями в траве и наблюдал за жизнью насекомых. Вы видели богомола? Однажды Фабр заметил, как богомол пожирал гусеницу. Тогда Фабр поймал другого богомола, поднес его к брюху первого — и на глазах ученого совершилась цепочка пожирания: первый

богомол жевал своими челюстями, жрал гусеницу, второй — его брюхо. А? Как у нас в литературе: писателя жрет критик, а сам критик уже кем-то обречен, заранее сожран, все, ему, критику, конец, финиш запрограммирован. Странный круговорот! Вот мы говорим: «плохо живем, плохо», а в это время в углу на обыкновенном табурете старушка в платочке сидит. И смотрит на нас внимательно, слушает. Судьба наша. Ах, плохо, так на вот тебе. Да как навернет железной палкой по голове! Поэтому надо говорить: «хуже бы не было», а не «плохо». Работать, работать надо! Главное у писателя — это его окрестности. Один читатель любит ходить по этим окрестностям, другой ненавидит их, а они, окрестности, создаются особенностями таланта. Наша трагедия в том, что талант не соответствует тому, что мы хотим сказать, он обратно пропорционален нашему желанию... Да, да... Но мир можно завоевать не ракетами, не войнами, а высокой литературой. Художеством и мыслью. Я уже живу в том возрасте, когда ежедневно хочется посмотреть на себя в зеркало. Вы тоже доживаете до этого возраста. Скажите, на Западе знают меня?

Я ответил, что слависты, с которыми мне приходилось встречаться за океаном и в европейских странах, знают, конечно, Леонова, но наша серьезная литература, так же, как и серьезная литература Запада, читается за границей мало, ибо сейчас, подобно спорту, завоевывают человечество слабые, но ловкие торговые таланты типа Сьюзен или Робинсона, масслитература развлечения.

— Да, да... Вы что-нибудь знаете о каком-то Зингере, или как его... забыл. Он получил сейчас Нобелевскую премию.

— Нет, не знаю.

— Да, да. Я тоже. Сейчас бы надо разрешить нашей литературе писать обо всем, а потом — критикуйте, пожалуйста, громите, ругайте. Но стимула нет. С одной стороны — цензура, с другой — если и напечатаешь, то купить-то на эти деньги в общем нечего. Жене кофту не могу купить. А уважаемый наш ВААП денег дает мало. Ведь этот ВААП организовали как цензуру: чтобы без разрешения за границей не печатали диссидентов. — Леонов слегка улыбнулся. — Никогда в России не было, чтобы цензура платила деньги. Да, да... А я уже не работаю несколько недель, импульса нет. Кому нужно то, что мы пишем? Мы даже не знаем, что будет завтра. Впереди — тьма. Ужасно! — И после молчания добавил негромко: — Но бывает так, что в январскую стужу вдруг рождается теленок — в тепле, парном тумане чрева. Есть надежда?

— Мне почему-то кажется, что надежда и безнадежность всегда двусмысленны.

— Да, да, пожалуй...

— Вы вчерне написали роман?

— Знаете, хвоя и человеческие клетки обновляются через семь лет. А я задумал роман двадцать лет назад. Вчерне он готов, да, да. Но я вписываю целые куски, будто вращиваю ткань в живое тело. Сложно это, трудно, мучительно.

14 августа 1985 года Леонид Максимович позвонил мне — голос его, не такой уж старческий для человека восьмидесяти пяти лет, по-прежнему обрадовал меня своей приятной заплетающейся скороговоркой:

— Я читал эту статью клеветническую... В «Комсомольской правде». Не горюйте. Меня, знаете, били, били здорово, весь я перебитый, а живу. Вы написали хорошую книгу, и надо было ожидать. Есть в вашей «Игре» недоделки, как в каждой работе. Зачем у вас гильотина в конце?.. Но — это ваше. Я, знаете, читаю Пушкина и Пушкина правлю. Мда... А знаете, что случилось? Вы стали авторитетнейшим писателем, они по вас и ударили. Так всегда в России было.

— Как вы поживаете, Леонид Максимович?

— По-стариковски, знаете. По стариковскому распорядку.

— Как чувствуете себя?

— Средне.

— Вы на даче? Работаете над романом?

— Да. Участок зарастает. Хозяин стареет, и участок вместе с ним. Умерла жена, мне сделали серьезную операцию. У меня менялся химический состав стиля. Наверно, при жизни я не напечатаю роман. Сажусь каждое утро, но продвигается медленно.

ОПЯТЬ О ЗВЕЗДАХ

— Ты не думай, что я тебя любила. Я ненавидела тебя, когда ты прикасался ко мне. Боже, я прожила с тобой двадцать лет и притерпелась, даже больше, — иногда

казалось, что ты мне очень нужен. Но сейчас — что ты хочешь от меня? Нет, я тебя по-прежнему не люблю.

— Но кого же ты любишь, милая?

— Не знаю. И не хочу знать. Я устала. За что мне дана такая казнь?

— Может быть, это тот, кого я встретил в сорок девятом году в парадном? Он выходил от тебя. Ты мне сказала, что он принес в подарок шоколад. Было голодное время... Представляю, как он вынул шоколад из кармана, а плитка была теплая, расплавленная... Неужели этот капитан-артиллерист?

— Что ж, я его не могу забыть. И тот теплый шоколад. Да, ты прав.

После этой ссоры я вышел на улицу поселка, в мороз, в синюю темноту декабрьского вечера, чувствуя крайнюю душевную опустошенность, глубоко вобрал носом воздух, чтобы успокоить боль в груди, глядя на небо, надеясь утешиться этой бесконечной загадкой вечности, всегда неожиданной, новой, пугающей и радостной. Но, подняв голову, в упор увидел низкую луну, как во сне показавшуюся мне какой-то тупой, развратной, не в меру молодящейся, чересчур перекрашенной румянами. Она висела на западе над розовеющими вершинами голых берез. Я закрыл глаза, вспоминая слова жены: «Что ж, я его не могу забыть», — постоял так несколько секунд, опасаясь лунного наваждения, испугавшего своей живой безобразностью, потом опять взглянул на небо, отыскивая знакомые созвездия, однако не нашел их. Они, вероятно, еще не взошли, — и неожиданно для себя я выговорил вслух, будто молитву о помощи:

— Я ведь люблю ее... Спаси и сохрани.

И почудилось ли это или померещилось мне, но только внезапно увидел я, как стая маленьких звезд словно бы поплыла над черной вершиной березы, поплыла веселой семейкой в мою сторону, как бы любя меня, успокаивая, обещая что-то необыкновенно счастливое, чудотворное, и я почувствовал дрожь, холодок восторга, даже сладкие слезы в горле и клятвенно сказал себе, что верю в эту небесную силу, ее доброту, ее неотвратимую волю, которой отдаю свою судьбу. И в ту же секунду, не знаю почему, мелькнула мысль, что меня обманывают, что я сам обманываюсь и хочу этого обмана — и тотчас движение звезд над вершиной березы приостановилось, слабый их свет сник, сразу потускнел в непостижимой высоте, и они ис-

чезли, я потерял их из поля зрения, точно ничего и не было.

«Господи, как мы все одиноки на этой земле, как заброшены», — подумал я почти бессознательно, повторяя тысячи раз выговоренную миллионами людей тоску, и снова с малодушной надеждой стал призывать на помощь исчезнувшую звездную стайку, точно бы это могло принести успокоение, смягчить жестокие слова жены: «За что мне дана такая казнь?»

И, перебарывая страх, напряженно всматриваясь в небо, я вдруг вновь уловил в нем движение стаи красноватых точек, они плыли над голой макушкой березы, в мою сторону, ко мне, ко мне... Что же это было?

Я стоял зачарованный, не впервые испытывая странную связь с небом, с его нечеловеческими тайнами, перед которыми был бессилен, ибо оно, небо, всегда гасило «пламень страстей моих», избавляло от «многих и лютых воспоминаний» и «от всех действ злых».

Спаси и сохрани и оставь мне любовь ее.

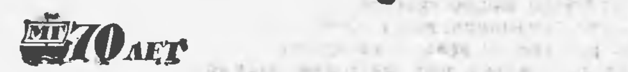
СЕРДЦЕ НА СКОВОРОДКЕ

— Вы читали в сегодняшнем номере? Это хуже, чем безумие! Звериное время! Да нет, этого нельзя читать! Может охватить сумасшествие, можно попасть в психиатрическую больницу. Звериное, звериное время! Понимаете, трое пьянствовали: муж, жена и сосед. Перепились, началась драка. Муж с женой кухонным ножом убили соседа, вырезали у него сердце... Понимаете? Вырезали сердце... и стали жарить его на сковородке! Нет, не могу поверить — человеческое сердце на сковородке! Я теряю разум! Кто эти люди? И люди ли они? Даже не в силах вообразить такую бесчеловечную секту — вырезать сердце и поджаривать его на сковородке! В тринадцатом веке казнь у Батыя была: вырезать сердце у недруга. А мы живем, Господи, в конце 20-го века! Что это? Как это определить? Сердце убитого на сковородке? На кухне общей квартиры... Что это за убийцы? Кто они? Антихристы? Люциферы? Дьяволы? Бесы? Маркизы де Сады? Нет, те — глобальны! А это? Садистские ничтожества! Но ведь они — средние представители человечества! Гниль! Микробы! Вирусы! СПИД! Смерть! Извращение извращения! Содом и Гоморра! Не достойно ли челове-

чество всеобщей гибели, чтобы возродиться в первозданной чистоте! Что же нам всем делать? Что делать?

КРИЗИС

— Привет, как поживаешь, Петя?
— Стою и ловлю счастье.
— То есть как «стоишь и ловишь»?
— Виноват, друг. Вернее — ловлю и не могу поймать.
— Ясно. У мольберта?
— Точно.
— Ну и как?
— Стою, ловлю и сумлеваюсь. Раньше оно вроде под руку само подруливало, а теперь что-то не рулит. Кризис. Не разум, а чувство имеет неудержимую силу творчества, черт бы его побрал! Не падай в обморок, потому что скажу о себе высоким слогом; а когда-то во мне скрежетали, выли и стонали запертые метели. Теперь — в душе покой, вроде бы снежное утро, пустые поля, холодное солнце над белизной и пустотой.



Алексей МАРКОВ

МОЛОДОЙ ГВАРДИИ

Не засорю я фальшью фраз —
Зря не привычен славить.
Мы любим тех, кто любит нас,
И тут уж не убавить.

Как не заметить, что журнал
Таланты украшали.
Кто без предвзятости читал —
Забудет их едва ли.

С бесстыжей критикой не в лад,
Народ тебя читает.
Твоих Прозрений чистый ряд
Вранью предпочитает.

Радетель смены молодой —
Ты был и есть в итоге —
Фонд неподкупный, золотой
Несбившихся с дороги.



Виктор СМИРНОВ

ПОСЛЕДНЮЮ ЛОШАДЬ ГОНЮ...

РУССКИЕ

Молящиеся жадно красоте,
О Духе помышляя, как о хлебе,
Мы, русские, от века — на кресте.
И ты не плачься: мол, жестокий жребий.

Качается, как дым, небесный кров.
И гвозди жилы болью жгут великой.
И пьет земля по капле нашу кровь —
И прорастает дикою гвоздикой.

Рассветы встреч текут в закат разлук.
И, глядя, как идут враги и братья,
Иного жеста не проси для рук,
Раскинутых для мук и — для объятья...

КАЗНЬ

Как долго падал колокол в тиши!
Он падал — и звонил на всю округу,
Звонил, звонил, звонил что было духу
О скудности и гибели души.

Сквозь гулкую небесную волну,
Сквозь ветки, где гнездятся птичьи души,
Он падает и падает — и рушит
Россию, солнце, радость и весну...

* * *

Людмиле, Сергею
и Сереже Новиковым

Как петь отцы и матери умели!
И вдруг — какая сила увела? —
В неведомое песни улетели.
Без них моя деревня умерла.

Стоит забытой, мертвою, ничьею,
Средь бела дня пугая темнотой.
Но чья там песня кружится над нею,
В грудь лебединой ранена тоской?

И ощущает сердцем поднебесье,
Что каждый звук — на волоске висит:
Или, упав, с собой покончит песня,
Иль русскую деревню воскресит.

* * *

Тоска, ты, как змея,
Тревожишь злом упорным...
О, русская земля!
Ты — за холмом, за черным.

Во мне беда сидит,
Кричит стрелой каленой:
Железной волей срыт
Твой светлый холм зеленый.

И меркнет солнца луч
Над соловьиным лугом:
Весь исковеркан луг
Слепым и пьяным плугом.

В грудь потому змея
Вползает лентой узкой,
Что русская земля
Любви лишилась русской...

* * *

Выносят маму из сеней —
В душе так горько.
Весной вернется соловей
Под наши окна.

Что проку, если из куста —
Его коленца?
Изба без матери пуста,
Как грудь без сердца.

Стоит среди берез одна,
Глядит убито.
Изба без матери, она —
Амбар без жита.

Святой огонь во тьму зарыт —
На дно колодца.
Изба без матери — зенит,
Лишенный солнца.

Такая в травах тишина
Стоит постыло!
Изба без матери темна,
Как та могила...

* * *

Они себя слезой не утруждали,
А я твердил про луг и огород.
Друзья меня со смехом убеждали:
Побудь в Москве. Деревня не уйдет.

Изба твоя не убежит, пожалуй.
И никуда не денутся косцы...
Приехал, а изба моя сбежала —
И ловко в речку спрятала концы.

Веревочка, она до срока вьется...
Где окна? Где икона? Где крыльцо?
Изба теперь сама уж не вернется
На плач или на красное словцо.

Округа вся насквозь осиротела.
Нет, с родовым гнездом нельзя шутить:
Как будто бы душа ушла из тела —
И стало незачем дышать и жить.

Забыты пораженья и победы.
Гармошка. Прялка. Под стрехой — косье...
Всем встречным говорю избы приметы.
Неужто вы не видели ее?

И по оставленному в сердце следу,
По звездам, что роняла ночь в трубу,
Как Родину и мать, по белу свету
Ищу, ищу, ищу свою избу. .

СТАРОСТЬ

Будто ветром листаются числа:
Дыры — в пазухе моховой...
За божницей запрятаны письма —
Те, что присланы ей, молодой.

Век работала, как божилась,
Опираясь на грабли, на плуг.
Там, где сердце отчаянно билось,
Замирающий слышится стук.

Что поделаешь — песня допета.
В час вечерний сидит на крыльце.
И последние лучики света
Ловит сетью морщин на лице...

ВЕЩАЯ НОЧЬ

Моя деревня. Я опять о ней...
Мои терзанья прошлые — игрушки,
Когда, вдали от городских огней,
В кромешной тьме сижу в своей избушке.

О, как она без матери пуста!
Гляжу в себя — во мгле ни зги не видно.
Летели гуси дикие, как видно, —
Высокие порвали провода.

И чей-то крик прощальный в небесах,
И чью-то гибель этот мрак пророчит.
Добро и зло качая на весах,
Я приговор творю без проволочек.

Глухую ночь я вещей назову —
На мир глаза она открыла мудро.
Нет, никогда я так не верил в утро!
И вот — молюсь на зябкую зарю...

Пришла сиротства стылая пора —
Ее не скрасить славою, деньгою...
О, как он долог над моей душою —
Прощальный лет гусиного пера!

* * *

Ах, какое за окнами жуткое время!
Хоть шаром покати в одичавшем краю...
Я иду сквозь крапиву — и дерзкое семя
Одинокую думу засевает мою.

Засевает светло. Засевает сурово.
Становлюсь я печальней. Становлюсь я сильней.
И кому-то в глаза очень жгучее слово
Иногда говорю не по воле своей...

ПРОЗРЕНИЕ

Я окунал свой взгляд в судьбу Отчизны —
В глазах рябило от невзгод и слез.
И вырос я до пониманья жизни,
До пониманья смерти — не дорос.

Мне пониманье это не под силу —
Как Родину, сестру и мать бранить.
И лишь мужик, копающий могилу, —
Он с нею ростом вровень, может быть.

И я к его пристраиваюсь ладу,
Как реющая ласточка — ко ржи.
Послушай, милый, положи лопату —
О смерти и России расскажи.

И поднял он лицо — и я от боли
Весь сжался, как от самых жутких ран.
И показал он лютые мозоли —
В округе столько умерло крестьян!

И глянул он вокруг с такой любовью,
С такой тоскою — Бог его спаси!
И дал понять, мир покачав ладонью:
Не слышно скрипа люлек на Руси...

И я ушел сквозь клены, сквозь столетья,
Сквозь строй могил, сквозь пенье диких пчел.
И к ощущенью Родины и смерти
На деревенском кладбище пришел.

* * *

Стою на родимом причале.
О, как я устал! Позади
Надежды, как лошади, пали
В тяжелом и долгом пути.

И катятся древняя речка,
Мерцая в закатных лучах.
Звеня, угасает уздечка
В родных деревенских лугах.

Восходит луна над лощиной.
Навстречу седому огню
Свистящей, как ветер, лозиной
Последнюю лошадь гоню...

* * *

Не из печки крестьянской дым
Кольца вьет в огороде —

То семь солнц одно за другим,
Мир сжигая дотла, восходят.

Звезды радости не тают:
Смыта скверна земная.
Звонко ангелы в трубы трубят,
Страшный Суд завершая.

Кто — с виною, а кто — без вины
В бездну сброшены будут.
Из высокой вселенской волны
Выйдут новые люди.

* * *

Услышал крик я глаз твоих тревожных,
Где билась боль, мечту и жизнь губя.
Я молча указал на подорожник,
Растущий под ногами у тебя.

Стояли рядом под жестоким ветром,
Готовясь к битвам за любовь и честь.
А луг кричал, что русские — бессмертны,
Покамест в мире подорожник есть.

Смоленск



Виктор КОЧЕТКОВ

Для меня «Молодая гвардия» — один из тех немногих журналов, где слово выступает без конъюнктурной маски, а с открытым лицом идет к своему читателю.

В последние годы, когда отреченчество стало едва ли не главной модой в среде «интеллектуалов», свирепело повальное бегство от самих себя, от вчерашних убеждений, от истории дальней и ближней, когда 70-летнее подвижничество нашего народа, жертвы, принесенные им на алтарь Отечества, были с легкостью объявлены ошибками и даже преступлениями, когда столькие торговали душой, забывая, что давно было сказано: «Не торгуй душой, другую не купишь»; в эти последние годы с особой настойчивостью и мужеством журнал «Молодая гвардия» отстаивал честь и достоинство нашего народа, нашей культуры, нашего исторического дела, наши вековые святыни и вековые духовные искания.

Журнал был поистине «истязан в вере», по слову древнего пастыря, но выдюжил все испытания и сохранил чистое восприятие жизни, веру в будущее несчастной нашей страны, в достоинство народа, подтвержденное тысячелетием его славной истории. Спасибо вам, молодогвардейцы, что вы так решительно утверждаете жизнестойкость молодого поколения, которому предстоит труднейшая работа по спасению России от огнепального разрушения.

Нашему читателю уже знакомы художественно-публицистические новеллы Ольги Кожуховой — известной писательницы-фронтовички. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию серию новых миниатюр — наблюдений над жизнью, размышлений.

Ольга КОЖУХОВА

Рано утром и поздно вечером

(ИЗ ДНЕВНИКА)

* * *

Как хорошо посмеялся Николай Гумилев над нашей «демократией»:

Мечом укреплю я свободу и
братство,
свирепых огнем научу
поцелую.

Но и «демократия» над ним посмеялась...

* * *

Господи! Что за название у государства — СНГ? «Сними голову»? «СНЕГ», или «с нами г...»? Или что?

И вот это безумное государство к тому же не ведает, что творит: пустите Дуньку в Европу! СНГ хочет в НАТО. Нет, это путь не в НАТО, а в НИЧТО.

* * *

Молодой воин, принимавший присягу, прежде говорил: «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик...» А теперь «чего-кого» он гражданин? Чушь парнокопытная.

Слова государственного гимна. Где они?

Дает интервью 70-летний Юрий Никулин и говорит: «Я народный артист... не знаю чего...»

* * *

«Отпущение цен». Это звучит все равно как «отпущение грехов». Чьих? Каких? Вот в том-то и дело, что этой экономической хитростью грех берется на душу еще больший, чем какой-либо в прошлое время, когда всякий грех можно было замолить, поставить Богу свечку, наконец, на собственные деньги построить во искупление грехов Храм Божий или уйти в монастырь, или...

Ах, Боже мой! Искупление и отпущение грехов — самая милосердная акции христианства. Мы — молодые, глупые, лютые безбожники — всего этого лишены. Ни Богу свечка, ни черту кочерга. Нам никто никогда ничего не простит, не «отпустит». И мы никому.

* * *

Сейчас никто и не вспомнит, как руководили русской деревней наши «пламенные революционеры».

Я самолично видела это позорище в 30-х годах: у колхозных коней обрезали их длинные красивые «опахала» — хвосты. И вот хвост обрезан по указанию свыше, а бедные лошади, искусанные комарами и оводами, худели, становились бессильными, безразличными ко всему, не ели, не пили и гибли.

* * *

Вместо прежних, любимых с детства праздников в календаре теперь оставлены «черные дыры». Православных праздников я не знаю, знать их меня не учили, а так называемые «общечеловеческие», краснознаменные отменены. Конечно, можно отпраздновать солнечный день — среди осенних дождливых, или первый снег, или праздник желтых листьев. Ведь празднуют же в Японии цветение сакуры, вишневых деревьев. И когда расцветают на клумбах, в общественных парках, лиловые или желтые языкастые ирисы, тоже ходят смотреть, всей семьей, молчаливо, торжественно, не просто глядя на прелестный цветок, а его созерцая, любуясь им. И все это неизменно, независимо от смены правительств.

Счастливые люди!

* * *

Наш русский народ не одолели ни мечом, ни огнем.

Чем же его доконать?..

Решили: голодом! А также лишением его всех материальных средств для жизни, отсутствием стабильности и покоя. Вспомним подопытных крыс физиолога Павлова; им не давали ни сна, ни покоя. Они худели, лысели, лишались аппетита — и гибли. Однако же вся популяция крыс приспособилась и выжила.

Что еще нам грозит? Какие еще испытания «демократы» свалят на наши невинные и покорные головы?

* * *

В предвечерние часы я готова подолгу стоять у окна и смотреть на спокойное, мирное, доброе небо, особенно яркую его северо-западную полусферу. Туда прячется солнце. Туда улетают кружившие в небе самолеты. И за каждым из них тянется завивающийся, тающий след инверсии, из белых волокон, тянувшихся, как мне кажется, к счастью, а может, к бессмертию, а может быть — к Богу?

Возможно, Бог есть. Ведь раньше у вас, на Руси, на каждом пригорке стояла пригожая церковка — или часовенка, или просто большой, распахнувший объятия крест. Но теперь его нету. Бога. Есть небо. И сейчас стремит на запад самолет, — и я думаю не о Боге, а о человеке, который летит на такой высоте. Кто он? Какой он? О чем думает в эту минуту? Что на сердце у него, какая мечта? Догадывается ли он, что я гляжу на него с добрым участием, тревогой и завистью?

Есть в моей памяти много страшных картин. Вот вспарывают вечернее небо трассы зенитных снарядов. Они устремлены к нему одному, к незнакомому мне человеку, пилоту — в коричневом кожаном шлеме, в очках-консервах, бросающему самолет то вправо, то влево, то вниз, будто падая... А вот и действительно падает! Черный шлейф дыма охватил самолет. Но вот от него отделился клубочек, и тут же над ним вздулся купол парашюта. Но трассы снарядов приблизились к нему и пронзили... Парашют спустился на землю, ветер протащил его несколько десятков метров, и все замерло. Когда я подбежала к нему, под стропами нашла летчика, он был мертв. Прекрасное юное лицо...

Оно вспоминается мне всякий раз, когда гляжу на небо, где в холодной сини несется крошечный самолет, оставляя за собой тающий след инверсии. Может быть, поэтому и и не сплю по ночам? Думаю и живу — за себя и за них?

* * *

Как страшна, как ужасна смерть на войне! Эти оторванные руки и ноги... Я видела убитого в бою под Ельней — только плечи, грудь и живот, вот и все, что осталось от человека. А я на все это смотрела — и ужасалась. Но чтобы задуматься? Никогда. Я любила жизнь, была весела, хохотала, шутила и думать не думала, что однажды, в секунду, в мгновение кончится все это, все, что нравилось: люди, небо, земля, дождь, солнце, ветер, цветы, грязь, рев буксующей в луже полуторки, даже голод и холод и даже страх от пикирующего бомбардировщика...

Но в том кошмаре я была счастлива и жизнелюбива.

Где теперь все это? Как бы мне эти качества пригодились сейчас — больной, одинокой, разучившейся смеяться и шутить!

* * *

Да, страшна смерть на фронте. Но я видела ее столько, так близко, такой фантастически разнообразной, бессмысленной и бездумной, идущей по людям как коса по траве, что даже как будто бы все это «так и надо». А вот в мирное время... Нет, нет. Это в тысячу раз и бессмысленней и страшней.

Гибель милого человека. Той же Юлии Друниной. А смерть моей ненаглядной Наташи, трагической поэтессы с памирских снегов и лугов? Я тогда написала стихи, по горячему следу. Иногда, среди ночи, проснусь, вспоминаю...

И спать не спала, а приснилась
Ночная глухая река, —
Вот в памяти только затмилось,
Насколько она глубока.
Но вижу я в призрачном мраке
Те белые руки в воде,
И глаз не закрыт чернозракий,
Еще устремленный к звезде.
Плывет непокорное тело,
Цепляясь за стебли травы...
О, как бы помочь я хотела,
Не сделали этого вы!

Иной раз вот так же какой-нибудь серенькой, «нетворческой» ночью проснешься и думаешь: а как я? Как и где? И когда? Кто меня похоронит? Кто уронит слезу?

* * *

Я работаю — и выписанные журналы, становящиеся все смелей, интересней, лежат нераскрытые. Телевизор не включается. Еда, стоящая на плите, пригорает, а дым разлетается по всему подъезду. Тому, кому хочется позвонить, — не звоню, и все реже и реже друзья и знакомые вспоминают меня, все реже и реже звонят, пишут мне. Вот какою ценой платим мы за еще никем не осознанную до конца эту жажду — общаться с людьми, их не видя, не отвечая на реденькие звонки, бросая конверты в почтовые ящики...

* * *

Сколько времени мы строим свое светло-светлое, кто знает, чего? Возможно, и впрямь какое-то светлое будущее. Да уж, светлое, светлое. В магазинах пустые полки. Даже электролампочек нет. Возможно, придется мне достать из старинного шкафа витую свечу — и зажечь, чтобы ночью, спросонок, успеть записать словцо или строку. Вот тебе, бабушка, светлейшее наше будущее.

* * *

Слыхала, мне так говорили, что на войне люди взрослеют за день, за час, за секунду. Сколько их пережито, кровавых, ужасных, лишающих возраста, этих секунд! Но лично для меня это были не старящие секунды. Я взрослела, старела, но только не на войне, а в наше «прекрасное» мирное время — от предательства друзей, от сплетен, болезней, вранья, от недобрых взглядов. Да что там! Не только старела, а на какое-то мгновение и обмирала и... умирала. И снова живу для того, чтобы выиграть, переломить, победить. А иначе зачем, для чего всё?..

* * *

В мои годы хорошие люди — уже патриархи. А я все еще «девочка». Еще хочется радостей, счастья, любви, любимой работы, которая оплатила бы все несчастья...

* * *

Мы стали совершенно и окончательно европейской цивилизованной страной — то и дело повышение цен, забастовки, военные перевороты, танки на улицах городов, безработица, проституция... Все, все, как у всех. Ничего, ничегошеньки от действительного социализма. Словом, «поумнели», став идиотами собственного производства.

* * *

Прочитала в газете, что можно убить тело, но нельзя убить душу человека. Какая ложь! Ведь сперва убивают душу — на долгие годы, — а потом уже никому не нужное тело. Неужели не ясно?

* * *

Мне думается, пора уже создавать резервации тишины — не только для заповедников, для птиц и зверья, но в первую очередь для человека. Не паханную плугом ковыльную степь в тюльпанах и маках, не тронутый топором и бензопилой древний, сказочный русский лес, который бы не представлял собою предмета вожделений для наших торговцев с Западом. Еще сохранить полевые дороги в васильках и ромашках, рыжих ловких и словно бы счастливых и радостных белок, прыгающих с ветки на ветку, рыбу, играющую на закате в чистейшей воде, — и все это не для каких-то научных или псевдонаучных, таинственных целей, не для брюха, не для кармана, а само по себе, может быть, и для нас, но только не для тела, а для нашей души, измученной корыстолюбием, «пользой», только лишь для того, чтобы ромашка, ковыль, медуница и василек, плотва и окунь, карась, барабулька размножались и росли «всего лишь» для полноты ощущения радости жизни, для того, чтобы каждый себе сказал втайне, в доброй, теплой душе: «Человек! Ты не одинок на земле»... Целительное многообразие. Где оно?.. Где оно?

* * *

Точно так же хотелось бы резервации нежности, чуткости, духа товарищества, глубинного понимания друг друга, мира, счастья... А если не так, то зачем тогда жить? И не только мне — но и тебе. Понимаешь?

Бога нет. Черта нет. Но ведь есть человек! Так пусть он и будет и для себя, и для всех окружающих человеком.

* * *

Писатель не должен общаться со слишком большим кругом людей. От этого он растрачивает себя, невозвратное время — и ску-

деет душой. Обилие свежих анекдотов, к сожалению, не возмещает утраты своих собственных мыслей и чувств.

* * *

Товарищи критики! Сперва вы нас очень рьяно отучали от всего живого, исковного, родного, русского — и в нравах, и в языке (главным образом), и в обычаях, называли нас «мужиковствующими», «провинциалами» и т. д. Теперь так же рьяно уничтожаете писателей за то, что они отучились, перешли на газетную тарабарщину. Нет, без хлеба вы не останетесь. Чего-нибудь выдумаете еще.

* * *

Сколько богов и богинь я встретила в жизни! Самый главный из них — бог войны. Артиллерия. Моя 3-я гвардейская РГК. Ледяные дороги под Витебском — и три наших зимних, трагических наступления. На кого наступали в те ужасные дни? Да, наверное, на себя. Эта речка Лучеса. Эти мокрые, где по колено, а где по пояс от болотной воды, неотапливаемые землянки...

А домой, маме, отцу, в Казахстан, я писала веселые безупывные стишки:

Я живу в стране Морфея,
Поклоняюсь богу Момму.

Ну, Морфея знают все. А вот Момма, наверное, очень немногие. А особенно на войне. Это малоизвестный нам бог смеха. Мой особый. Любимый. Я ему поклонялась все дни, с утра и до вечера, а в часы ночных бомбежек — и ночью. А что еще делать? Сидеть и дрожать? Или бегать полуодетой в укрытие? А сколько ты там просидишь? Может быть, до утра? Нет, убьют так убьют, а дрожать от мороза, от страха, от сырости — уж извольте! Я как будто бы знала, что меня не убьют, что со скрипом, хоть через силу, а все ж доживу и до трех Форкиад. Это самые страшные, страшней самой смерти богини. Богини старости. На всех трех один глаз — и один зуб.

Красотея!

Но вот ей я не кланялась, не молилась.

* * *

Как часто я ухожу от «здесь и сейчас» в свое прошлое. Люди ищут какого-то светлого будущего, а у меня было светлое прошлое, да что там светлое, — сияющее, сверкающее, как вершины Памира или Гималаев, может быть, еще ярче, светлей, все такое прекрасное, чистое, дорогое моему молодому горячему сердцу. И как холодно, как одиноко «здесь и сейчас»...

* * *

Библия — самый древний исторический роман на современную, злободневную тему — об инопланетянах. И о том, что чужие яблоки с дерева рвать нельзя.

* * *

Мой добрый совет Андрею Кречмару, хорошему другу моей веселой, славной воронежской юности:

— Разбивай чужое счастье, если нет своего!

Ничего себе, педагогиня...

* * *

У хищников прекрасная, можно сказать, девственная память. Они всегда помнят, где можно украсть.

* * *

Как я ненавижу всех тех, кто обманывает, кто клевещет, кто выуживает тайны — и сплетничает, кто говорит о тебе гадости, не в глаза, а за спиной, прячет кукиш в кармане. И при этом еще так сладенько улыбается... Нет, это не люди, а людоеды: «охотно поедают» тебя, как обычно говорит по телевизору Н. Дроздов о зверях.

* * *

Слова из песни, довольно известной: «Ка́ку вижу, ка́ку слышу...»

* * *

В одном популярном журнале прочитала статью о достоинстве умирающего.

Вот чего я боюсь! Вот этого, а не смерти!

Вдруг да вздрогну? Ослабею перед костлявой с провалившимся носом? Вдруг — кто бы мог угадать? — пожалею себя? Такую больную, старую, некрасивую, с прицельным, а может быть и прострельным, уже все-все понимающим взглядом? Зачем это я? Почему? Ведь такие здоровые, сильные, молодые, красивые люди погибали на войне, не жалея себя, а я жалею в мирной жизни?

Нет, нельзя. Это стыдно.

* * *

Вот какой мудрости недавно меня научили, сказав одну-единственную фразу: «Я живу лучше всех тех, кто живет хуже меня».

* * *

Когда-то моя мама говорила, что у каждого возраста есть свои радости. А если ты одна? Одна на всем белом свете? Какая тут радость? Воды подать некому.

Остывший кофе пахнет псиной,
И жизнь моя как волчий вой,
И небо кажется не синим
Над отупевшей головой.

Какой исход трудам, горенью,
Где он — искомый идеал?
В душе такое омертвенье,
Какого мертвый не видал.

Я бы сказала сейчас совершенно другое: у каждого возраста свои беды. Пока маленькая — все тебя поучают, ты всем подчиненная. В зрелом возрасте будь осторожна — какие ловушки стоят на пути! Не будь мышкою в мышеловке... Не будь слишком уж самонадеянной.

А в старости, что ж... В старости только опытом и поделиться. Больше нечем. Все прожито. Деньги. Здоровье, находчивость, силы, любовь, красота. Положение. Уважение. Даже жажды помочь кому-нибудь слабому и то — нет: и сил не хватает, и спасибо не скажут. Да и опыт твой давно устарел — для новых времен он не нужен, а нужен другой, новый.

Я даже удивляюсь, когда мне улыбаются незнакомые встречные.

* * *

Все друзья разбрелись по палатам. Один — в Оружейной. Начальством. Другой — в Книжной. У самой — ума палата, а лежу в такой неуютной, больничной. А теперь только я и хожу из всех тех палат — по заброшенным, заросшим бурьяном могильным холмикам. Да и беда большая, рука-то одна. Другую сломала. Одной рукой бурьян и не выдернешь...

* * *

Порой мне кажется: если я сейчас приеду в тот город, стоящий на правом и левом берегах огромной бурной мутной реки, несущейся к морю, и увижу тебя, сидящего в кресле возле торшера, то бедное мое сердце разорвется от горя, от боли, от счастья, от ужаса прожитых лет, от сегодняшнего нескончаемого, неизлечимого одиночества. Оттого, что уже ничего никогда не вернуть назад, а впереди лишь одна дорога — в никуда и в ничто. И ни с кем.

Вот поэтому я и не поеду в тот город. А могла бы поехать. Лет восемь назад я была рядом с ним, рукою подать... Да вот — не случилось. Не захотела. А теперь никогда не поеду туда, в мое прошлое, даже ежели захочу.

* * *

Посмотрела мучительный телесериал, и все вспомнилось. И захотелось заплакать. Но... а когда же работать? Лишь одна работа еще спасает меня...

Смотрю войну. Опять смотрю
войну.
И не одну, а много, много
серий,
И виденному верю и не верю
И за неверие себя кляну.
Неужто это мы? Неужто так?
С такою простотой? С безмолвностью
такою?
С бессмысленным безумием
атак
И мертвенною детскостью покоя?..

Что ж, живи! Ничего не поделаешь, думай. Может, кто-нибудь и поймет, что терзает тебя.

* * *

Жара опустошила нас всех, и вот уже больше недели, как стало прохладней, а то и вовсе холодно, до 7—9 градусов тепла, а тело все еще ничему не верит, не поддается, не хочет входить в новый, еще непривычный ритм жизни. Наверное, вот так же не ощущается чувство свободы после долгого духовного гнета и после физической несвободы. Так долго еще живет в тебе дух болезни, хотя ты давно уже выздоровел.

* * *

Читаю о Льве Толстом и о Ясной Поляне. Одно название чего стоит! Поэзия, да какая... А еще были Лисьи Присады. Еще... Эх, да что говорить! А у нас все едино, все — имени Ленина, имени Сталина, имени Калинина, имени Войкова (того, кто расстреливал невинных русских людей — заложников), имени, имени, имени...

Сплошь одни именины.

* * *

Это страшно читать, страшно слышать все, что касается ГКЧП. Они хотели воспрепятствовать разрушению государства, но их назвали преступниками и бросили за решетку.

А те, кто все-таки развалил наше государство, ходят на свободе и готовят суд над гэкачепистами. Какой маразм, какой фарс!

Неужто Родина наша, как пел Игорь Тальков, действительно сошла с ума?

* * *

Читаю в одной из газет статью незнакомого мне автора. Называется «Оцепенение».

«...Как же так могло случиться, что трудолюбивая, испытавшая на себе не одно лихолетье мудрая православная Россия чуть ли не в одночасье поверила в идиотическую мечту: будто и впрямь наступит блаженное время, когда неизвестно кто будет

пахать и сеять, но все поголовно будут довольны и сыты? За короткий срок промотали огромное богатство, растранжирили лес, нефть, газ, золото, алмазы, пушнину, икру, добрались до царских сокровищниц, жемчугов и бриллиантов, разворотили десятки тысяч уникальных иконостасов, вывезли за границу миллионы древнейших икон, книг, ценнейших картин... А в кого превратились сами? Кто придумал мировую революцию? Троцкий? Кто опоясал страну концентрационными лагерями и тюрьмами? Кто развязал жесточайший террор? Кто умышленно обрек миллионы стариков и детей на голод? Кто согнал крестьян с земли? Где наши ученые-светила? Где культура, честь, милосердие? Где наша национальная гордость? Почему миримся с ужасающей детской смертностью? Почему варварски губим природу? Почему терпим малограмотных руководителей государства?»

...Вопросы, вопросы... И на все запросто, с ухмылочкой отвечает «Радио России». Послушаешь — и хоть в петлю от чудовищной лжи.

* * *

Смысл жизни. В чем он?

Кто мне сегодня ответит на этот вопрос?

Вспоминаю стихи поэта, погибшего трагически. (А впрочем, кто из русских поэтов погиб своей смертью, в постели, «при нотариусе и враче»?) Он же, этот поэт, все наглядно и объяснил, для чего мы живем:

Созидающий башню сорвется,
Будет страшен стремительный
лёт,
И на дне мирового колодца
Он безумье свое проклянет.

Разрушающий будет раздавлен,
Опрокинут обломками плит,
И, Всевидящим Богом оставлен,
Он о муке своей возопит.

А ушедший в ночные пещеры
Или к заводям тихой реки
Повстречает свирепой пантеры
Наводящие ужас зрачки.

* * *

Ах, где ты, скажи мне, где ты, эпоха Никиты Хрущева? Много дров наломали, но никогда — ни до него, ни после него — в нашей стране не было такого взрыва остроумнейших, едких политических анекдотов. И что удивительно, все остроумные, но не криминальные, все беззлобные, но смешные — до слез!

* * *

У нас в России есть больницы, хоть их и немного, но есть. И все они очень плохие, даже привилегированные из них — тоже плохие. Нет лекарств. А если есть — «на вес золота», на валюту. Нет покоя. Нет чистоты. Нет врачующего питания. Нет тишины. Нет никакого индивидуального выхаживания как метода избавления от страданий. А главное, нет милосердия. И врачи, и медсестры, и нянечки — двуногие холодильники. Интересно, какого завода?

* * *

Ну, так что? Рассказать вам или не рассказывать? Нервы крепкие? Молью не трачены?

Белая ледяная снеговая равнина, ни деревца, ни кустика, ни какого-нибудь забытого богом сарайчика, под тенью которого можно укрыться. Нигде, ничего. Вон вдали лежит раненый, надо к нему подползти и хоть чем-то помочь. Нет, он мертв.

И свистящий, рыдающий, перегруженный переходом в пике «мессершмитт» устремляется на меня. На одну-разъединственную среди белого поля. Я — единственная мишень! Крупнокалиберные пули цокают длинным рядом звездастых отверстий в толстом, схваченном крепким морозом, нехоженом насте. Нет, пока не в меня. Бегу. А в ушах — та-та-та... И опять промазал. Но какое огнистое чувство в душе, застывшей на миг в бесконечном, дарующем жизнь быстром беге!

Разве я когда-нибудь позабуду эти секунды?

Но я не забуду и другие. Может быть, более страшные...

Я — в нынешней московской больнице. Лежу в коридоре. Всю ночь мимо меня каблуки, каблуки — это сестры. Смеются, курят, громко разговаривают, даже кричат что-то друг другу.

В головах у меня кровать. Там покойница. Она умерла часа два или три назад. К ней никто не подходит.

А в конце коридора, огромного, длинного, словно переход в Московском метро, в укромном углу лежит тихая женщина. Сестры подходят к ней, задирают одеяло — и матом. Только-только сменили ей простыню, а она, видите ли, снова мокрая. Если уж кончаешься, так кончайся скорей, чего мучаешь окружающих?! Три сестры подходят со швабрами молча, не глядя друг на дружку, концами швабр толкают женщину, словно сноп, стараясь перевернуть. Руками брезгуют дотронуться до больной...

Боже! Неужели и я, одинокая и бессильная, буду так же лежать, и меня будут тыкать грязной шваброй?! Четыре года войны перенесла, выдюжила. А тут, в Мариинской больнице, боюсь, не смогу...

* * *

Сидела на скучном собрании. (Впрочем, бывают ли они где-нибудь веселые?) Написала стихи. О друзьях-ветеранах. Сидят со мной рядом и тоже зевают. И у всех на груди — ордена, ордена. А кому мы нужны, ветераны? И наши награды? И наши страдания? Никому...

Ветераны Великой войны!
Вы уходите тихо, как дети.
Вам обиды уже не страшны,
Вы уже ни за что не в ответе.

Вы уходите... В общем — ушли,
Ничего не сказав на прощанье,
Ваши песни уже не слышны,
И в столах не лежат завещанья.

Написала — и грустно мне стало. Еще грустней, чем было до этого.

* * *

Буквально сейчас, на глазах изумленной публики, разрушают, сваливают памятники Ленину; Сталина свалили давно, теперь сволокли Дзержинского. Этого тоже давно бы надо было стащить с пьедестала. И конечно же, переименовать площадь Свердлова, палача и убийцы. Но почему так поздно все это делается?
А где были раньше «умы», когда наши площади, наши улицы «именовали» именами людей, которые приказывали «расстреливать десятками, сотнями тысяч» русских крестьян?

* * *

Вдруг вспомнились сентиментальные стишки:

И я сжег все, чему поклонялся,
Поклонился всему, что сжигал.

Вот, все в точности, что делаем мы теперь. Только делаем без стихов, без комедий, без всяких сантиментов. Одна голая трагедия.

* * *

Как прекрасно — любить. Быть любимой. Особенно если в твоей душе эта любовь не меркнет, не умирает. Я люблю за двоих — за себя и за тебя, одинокого, лежащего там, на Кунцевском, среди разросшихся деревьев. Меня любит трава на твоем узком холмике. И птицы, летающие над могилой, даже если это всего лишь серенькие воробьи. И желтые листья кленов. И увядшие розы, которые я заменила свежими. Любит меня и голубое небо с волокнистыми облаками — оно надо мной, но оно же и над тобой.
Живи, милый, живи! В моей памяти, в моем сердце — не умирая, не увядая. Живи!

* * *

Вчера падал снег. Мушистые снежинки завивались, кружились, как будто бы танцевали, как будто бы радовались, что прилетели осчастливить хмурых, занятых, вечно спешащих людей своим радостным танцем.
Увы! Не осчастливили.

* * *

Есть такой тип советского труженика — прожектор. У него, извините, шило в одном месте, он не может все свое рабочее время не вертеться на стуле и не придумывать, чего бы еще такое изменить, поломать и ухудшить, обещая, наоборот, починить и улучшить, сделать так, чтобы было — о'кэй! Перестроить!

* * *

Ребята пускают воздушного змея,
Бирюзового, с желтым хвостом.
А я, постаревшая, что имею?
Одни только будни. С великим
постом.
Уже ни любви, ни надежды, ни
счастья,
Ни проблеска в сером голубизны.
И частый, наверное, слишком
частый
Подсчет-пересчет опустевшей
казны...

* * *

Видимо, надо иметь большой талант, чтобы в течение короткого времени, при полной бездеятельности или, может быть, «деятельности наоборот» развалить все то, что составляет общество. Феодальное. Капиталистическое. Империалистическое — и наше — неведомо как называть! Развалились республики, вышли из подчинения центру. Развалились даже крохотные автономии — на этнические группы, на кучки чем-то обозленных, неудовлетворенных людей. Развалилась партия, заплатившая за свое существование реками крови. Уже нет ничего объединяющего, святого. Ни нации. Ни обычаев. Ни земли. Нет цели, во имя которой терпели лишения — и терпим теперь. Нет веры ни во что, и самое главное — в коммунизм, в эту химеру, владевшую умами 100 лет...
Все рухнуло, все ушло на дно.

* * *

О, какой буйный снег! Да и то, посудить, еще две недели — и зима, настоящая, злая и полная тайн, приникнет к земле.
Как я мечтала когда-то, лежа в траншее под встающими справа и слева столбами земли, вперемежку со снегом, с осколками, с вонью тротила — мечтала дожить ну хотя бы до сорок второго... Ну, еще бы — до сорок третьего. До сорок четвертого... А сейчас... Где я? Что — я? Через несколько лет — и двухтысячный год. Доживу ли? Домучаюсь? О, господи, боже! Да как это так?! Неужели? И столько погибло друзей на войне, да и недругов, и знакомых и незнакомых, и столько их умерло уже после войны, за полсотни немыслимых гибельных лет, начиная с сорок пятого года. Или, может, с 17-го или с 5-го. Все равно. Ничего не вернешь. Да к тому же не все мне и хочется из нашей истории возвратить. Снова мучиться? Плакать? Нет, нет. Не хочу.
Хочу только любить.

Очерк и публицистика

Николай РОДИЧЕВ

ПО СЛЕДАМ ЦИВИЛИЗАЦИИ, ЛЕТЯЩЕЙ В ПРОПАСТЬ

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

Десять лет тому назад мировую прессу обошла сенсация: президент США Рональд Рейган обозвал Советский Союз империей зла... Мало того: грозился стереть с лица земли эту империю. На какое-то время после опрометчивых речений президента в мире возникла ситуация, сходная с карибским кризисом.

Более сдержанным на выражение своих мыслей американским политикам пришлось повертеть языком перед собственным народом и мировым общественным мнением, чтобы сгладить грубую оговорку лидера своей страны. Никто из наших тогдашних руководителей не решился дать отповедь Рейгану. Лишь газета «Правда» выступила с редакционной статьей: мол, президент замахнулся на неизвестную ему социалистическую цивилизацию... Напоминали о несомненном вкладе ее в мировое развитие.

Последующие годы, как ни странно, подтвердили возможность исчезновения не только социалистической системы как разновидности общественного строя, но многих духовных и материальных ценностей вместе с нею, созданных за десятилетия десятками народов.

Несколько позже стало ясно: американский президент вовсе не оговорился, он располагал более широкой информацией о действительных шансах идеологических противников. Америке не потребовалось поднимать в воздух армады бомбардировщиков с ядерными зарядами на борту в единоборстве двух систем. Разрушители нашей страны отыскались у себя дома. Без особого шума на этот счет они сначала демонтировали экономику под видом перестройки, затем принялись за переналадку политики с разворотом ее на сто восемьдесят градусов. Вызвали такой «работой» сначала ухмылки и аплодисменты зарубежных созерцателей, чуть позже — неподдельный ужас и даже протесты: «Не слишком усердствуйте, панове, в подражании... Мы, знаете ли, не совсем еще такие, как самим хотелось... Приглядите для своего Отечества иную модель...» Однако наши прорабы разорения вошли в такой раж, набрали такой инерции (ломать — не строить!), что уже не остановить.

И тем не менее думать над тем, что произошло со страной за каких-нибудь два-три года завершения перестройки, если хотим выжить и уцелеть, кому-то придется.

Читателям предлагается несколько зарисовок с натуры о том, что происходило на наших глазах вчера и что совершается сегодня.

По наблюдениям писателя.

ДИКАЯ БРИГАДА

Как сейчас помню: закончив разговор с Александром Дюковым, расточником четвертого механического цеха БМЗ*, я вышел в сквер неподалеку от проходной, чтобы вдохнуть свежего воздуха, заодно осмыслить не чужую для меня жизнь. Мы с Сашей служили в венгерском городе Папа, вблизи австрийской границы. Там расположен был наш аэродром. И в юности сержант Дюков был отменным авиамехаником.

Был конец августа. Жара не спадала. В напичканном станками помещении густо пахло испарениями мазута. Заводской двор манил к себе прохладой разросшихся кленов. Брянцы не могли без деревьев даже в производственной обстановке.

В то время я собирал материал для книги «Брянские характеры», опубликованной затем в Москве. Рабочий Дюков был интересен и как потомственный пролетарий, и как человек редкой судьбы. Двадцать восемь лет изо дня в день он ходил из своих Бордовичей к одному и тому же многопрограммному станку. После той последней между нами встречи он отдежурил возле астматически дышащего агрегата еще пять лет и принял смерть в цехе, едва успев дотянуться до рычажка и отключить ток. И, умирая, ветеран заботился о продлении века своей изношенной не меньше, чем хозяин, машины. Жаль, что не принято ставить памятники мастеровым в виде инструментов, являвшихся как бы продолжением рук умельца. Впрочем, в Брянском краеведческом музее хранится четырехметровый протез левой руки летчика Ивана Леонова — единственного воздушного бойца в содружестве наций, летавшего в бой с протезом вместо потерянной на Курской дуге собственной руки.

Цеховые начальники давно обозначали в описи имущества станок Дюкова кучей изработавшегося металла. Но Александр, заменяя одну деталь за другой, кстати, изготовленные им самим, на этом же станке, обновил все железное нутро до станины... Не выдерживало уже ударного напряжения и основание вконец обветшалого сооружения полувековой давности.

Подобные случаи дружбы двух существ, одушевленного от природы и не совсем такового, но принявшего в дар от человека частицу его живой натуры и как бы живущего по законам гомо сапиенс, я встречал и раньше. Ас 4-й воздушной армии, капитан Константин Аверьянов, вопреки строгим на этот счет авиационным запретам, вылетая на боевое задание, подсаживал впереди себя

* Брянский машиностроительный завод.

живую куклу — отчаянно скулящего от восторга пассажира — песика по кличке Болтик. Неустрашимая псина проворно шныряла мимо приборной доски в глубь крылатой машины и, сотрясаясь вместе с корпусом на взлете, забивалась, как и положено собаке, в хвостовой отсек, служивший своеобразной конурой.

Штурмовик, как известно, в острые моменты воздушной схватки, увертываясь от огня, пронзает облака, вращаясь, как бурав, делает крутые горки, переворачивается ввврх колесами, падает почти отвесно в пике... Летчик пристегнут ремнями и натренирован на девятикратные перегрузки. Одному Богу известно, каково приходилось бедной животине, но Болтик, возвращаясь из полета без клоков шерсти, с кровавыми повреждениями кожи и всякими иными отметинами судьбы, никогда не жаловался на тяготы воздушной службы и не сомневался, идти ли ему с хозяином в очередной полет.

И в земляном укрытии в часы отдыха летчиков Болтик проявлял бдительность на этот счет, как ни старался его хозяин, жалея щенка, обмануть его, выскочив по тревоге вон незамеченным. Псина крутилась живым комком возле сапога. Аэродромные знали об этом. В шутку говорили между собою, что собачка — талисман воина, якобы подаренный ему матерью, когда провожала на фронт.

Кто возьмется определить, насколько это соответствовало убеждению летчика? Сам он утверждал: Болтик, следя в щели между обшивкой фюзеляжа за незащищенным пространством сзади машины, заливался пронзительным лаем, заглушая вой моторов, если чужак подкрадывался с его стороны, чтобы срезать ястребка очередью бронебойных пуль или ударом из пушки. И тогда Аверьянов разворачивал машину лицом к врагу. А уж тут он не даст в обиду ни себя, ни Болтика. Концовка этой истории столь же грустна, как и последние минуты жизни Александра Дюкова. Не хочу ее здесь рассказывать. Песик-то пережил своего хозяина, хотя и умер с тоски по нему. У меня сохранился снимок собачки. Не знаю, жив ли сейчас станок Дюкова... Железки тоже привыкают к рукам хозяина.

Из письма фронтового товарища: «В час гибели своего хозяина Болтик безумствовал... Скулил, рыл землю лапами, хотя Костя погиб в ста километрах от аэродрома».

Разговор сейчас о другом. Пока я осмысливал впечатления от очередной встречи с бывшим сослуживцем, нашедшим приложение своим рукам в расточном деле, к скверу прибился остролицый, невысокого роста человек в спецовке. Вблизи отчетливо были видны залысины на его голове. По рассеянности, видимо, он держал в левой руке плоский измерительный ключ с насечкой на нем миллиметровых отметок. Такими вооружаются в цехе обычно люди, ведущие контроль за точностью изделий.

Я уже представил себе, как уставший от забот человек опустится в сторонке от меня и погрузится на несколько минут в пахнущую зеленью тень и тишину. Но мастеровой тот подошел ко мне вплотную и произнес почти с вызовом:

— Выпить хотите?

На остроносом его лице я заметил глубоко посаженные строгие глаза. Тонкие губы его передернула вымученная улыбка...

Конечно же, на заводе знали о том, что приехал писатель из Москвы, знакомится с людьми, что-то заносит в свой блокнот.

Почему бы не испытать столичного гостя на прочность? Признаюсь, в те годы я еще разрешал себе рюмку для аппетита, однако знал, где пить и с кем. Незнакомец отнюдь не напоминал мне весельчака, способного на розыгрыш. Это был, несомненно, инженер, он вполне владел собою. Я молча кивнул на раскаленное, без единого облачка небо. Мол, кто в такую погоду думает о водке?

— Не сейчас, — тут же отозвался он на мой намек. — Вечером в ресторане будет грандиозный сабантуй по случаю выполнения заводом месячного плана. Мы всей бригадой приглашаем вас посидеть с нами. Разговор будет интересный. Не для печати, разумеется... А там как хотите.

...Семьдесят два процента наших изделий со Знаком качества — липа, придумка ловкачей, обман... Всякий раз, когда мы горим с месячным или квартальным заданием, администрация нагружает колесный караван дятьковским хрусталем, дефицитными вещами, купленными за валюту для этого случая, и отправляет в столицу со специально натренированным в дипломатии представителем, имеющим давние связи в верхах. Чиновные люди, получив щедрые приношения, а может, ради престижа отрасли, уступчиво корректируют месячные и годовые задания в сторону их снижения. И мы опять в фаворе, опять лучшие из лучших, с премией и знаменами... Теперь уже и урезанные планы не удаются заводу, и директор кидает в бой на исходе месяца «дикую» бригаду.

— Что за бригада?

— Высококлассные специалисты-сборщики... Отнюдь не бескорыстные боевики в своей профессии. Сначала поторгуются об оплате внеурочных работ. Затем вкалывают, не щадя ни себя, ни инструмента, сутками. Передремлют по очереди час-другой возле не собранной вовремя машины и опять за дело. Глядишь, недостающий до плана тепловоз или секция холодильной установки в последний день месяца выкатились на подъездные пути и ушли за семафор на линию. Каждому участнику этой операции начисляют по особой ведомости полтысячи на рыло. Вдобавок из средств заводоуправления стаю ночных шабашников ждет шикарное угощение, где выпивка и закусь — от пуза.

В пылу возмущения рассказчик часто сбивался на грубые слова.

— Но это купеческий жест! Оскорбление для рабочих! — негодовал я вместе с моим собеседником. — Как же все это терпит партком?

— Расценивайте как угодно! — Мужчина нервно дернул плечом, поднявшись со скамьи, и зашагал прочь, не оглядываясь. Он посчитал свою миссию законченной.

Сначала я подумал, что на встречу с приезжим из Москвы вызвался полубольной человек, обиженный кем-то из руководителей — обошли в очереди на жилье, отказали жене в путевке, снизили по должности за пьянку. Мало ли отчего впадают в отчаяние люди! Саша Дюков, возможно, не знал о «дикой» бригаде, иначе он рассказал бы мне об этом среди цеховых новостей. Не исключено, кучка рвачей из среды рабочих сбилась в некую стаю в одном лишь цехе, саботируют дневные задания, чтобы оторвать куш ночными бдениями, завалив выполнение плана осознанно. Честный труженик отвергнет такой способ добычи средств, не пойдет на поводу у хищников. Лишь растленные выпивохи слетаются на клич отпетого вожака, возможно, рецидивиста, чтобы

нахлестаться даровой выпивкой, ради чего можно и напрячь жилы сутки-другие...

Мысли вели дальше. Не в редкую стежку завод подводят смежники. Локомотивы ставят на колеса брянцы, а дизели к ним изготовляются на Волге или в Ворошиловграде. Приборы еще где-нибудь. Кто-то бездумный, недальновидный, а может, сознательный раскольник в деле придумал такое распыление обязанностей в промышленности.

План горит из-за нерасторопности других, дальних партнеров. А двадцать тысяч честных тружеников на Десне, быть может, и допустивших не по своей вине простои, ждут зарплаты. Жены надеются и на премию... Нужда неизбывная... Протяни-ка с двумя детьми да стариками в доме на сто восемьдесят — двести рубликов жалованья. И все же, все же... «Дикая» бригада — не выход. Это развращает остальных работяг. Повкалывать двое суток за пять сотенных любой согласится. Наверное, кто честен, пытались и протестовать. В Москву писали в открытую и анонимки. Разуверились люди! А ловкачи из министерств давно ведут нечестную игру, пренебрегая тревожными сигналами с мест! Система!

Среди знакомых на том предприятии было несколько неподкупных сторонников жизни прямой и честной. Наследники добрых традиций, они готовы на высокий поступок ради правды для всех. К моему удивлению, оказалось: большинство из них знали о наличии штурмовой бригады. В разговоре со мною они охотно соглашались, что явление это порочное, настоящее зло, разрушающее нравственную атмосферу в цехах. Но все наши беды, говорили они, упираются в ту же зарплату. Госбанк не откроет своей кассы в день получки, если завод не управился со сдачей готовой продукции, а заказчик вовремя не оплатил счет. Такова система взаимных расчетов. Социалистическая экономика со всеми ее особенностями. И пусть ты выдал сто локомотивов на магистраль, а недодал лишь одного, заветное окошко в банке окажется зарешеченным. Москва слезам не верит. Не раз уже плакали. Гробит дело вселенская неразбериха. Вот и приходится идти на контакт с оголтелыми шабашниками, которые все больше лютеют в вымогательствах. Хуже того: когда горит синим огнем державный план и приходится напрягаться кучке людей в опустевшем на ночь цехе, тут уж не до высокого качества изделия. Лишь бы вытолкать за ворота до рассвета, чтобы отметить выполнение вчерашним числом. Какой-то куш достается и приемщикам штурмовой продукции.

С досадой захлопнув свой корреспондентский блокнот, я уехал в Москву. Консультации продолжались. Наконец зашел к своему коллеге по перу в редакцию «Правды». Василий Петрович Парфенов, заведующий промышленным отделом, слушал новости с прославленного завода, все больше мрачнея. Кому по душе такие сенсации? Произнес нехотя, как приговор:

— Случай действительно незаурядный... О снижении плановых заданий за приношения с мест наверняка знают и обком и облисполком. Круговая порука. Насилие над совестью честных тружеников... А кто писать станет? Вы не откажетесь?

Ох уж эти бывалые газетчики! Все-то им известно наперед! Я же сам пришел рассказать о диких нравах на заводе. В те минуты я был полон решимости пресечь зло, разъедающее душу прославленного коллектива.

Главный редактор не забыл о нашем разговоре. Он передал в

деталях о сложной ситуации на «преуспевающем» предприятии своим кураторам в Центральном Комитете. Те обратились за советом к Секретарю. Что ни говори, директор — депутат Верховного Совета, Герой Социалистического Труда. Авторитетом таких людей в верхах не бросаются. Однако болезнь зашла слишком далеко. Да и не только в Брянске так поступали, выкручиваясь с непомерным заданием. Нарыв надо вскрывать. Секретариат дал добро на разоблачение «дикой» бригады, появившейся среди деснянских металлистов. Возможно, та бригада была кочевой, вроде шабашников.

Мне понадобились некоторые уточнения по тексту, и я отправился на завод вновь. До этого случая десятки раз выступал с рассказами о земляках в толстых и тонких журналах, в центральных газетах («Огонек», «Москва», «Советская культура», «Известия»). Но прежде я шел к читателям страны с добрым словом об умельцах с Десны. Славил трудовой талант и добронравие здешних людей. Сейчас официальная Москва ждет от меня иных откровений: о грязных делишках кучки отщепенцев, затесавшихся в семью честных тружеников; о страхе перед вымогателями у тех руководителей, коим положено поощрять только лучшее, не пасовать перед наглецами, получше вести державное дело, а если возникли непреодолимые сложности, то не решать обходными маневрами, прикармливая столичных обжирал. Сколько веревочка ни вейся, если она гнилая, непременно оборвется в самом неожиданном месте, с более трагическими последствиями, подбадривал я себя. Ночные драмы в цехах ради выполнения плана во что бы то ни стало оборачиваются бесчисленными драмами в домах рабочих, бессонницей для тысяч, которые знают, какими путями и чьими руками добываются для них премии и сколько заработанных их руками тысяч уходит безвозвратно на сторону.

Среди аппарата областного комитета был у меня знакомый из рядовых сотрудников. Честнейший человек — прямой и отзывчивый, чуткий ко всему, как обнаженный нерв, не способный на подлость. Облеченный некоторой властью, но без чванства. Будучи ученым по складу души, скорбя об утраченных «бесперспективных» деревнях, он создавал на досуге летопись этих деревень, сохраняя для потомства сведения об их происхождении. Я дал ему почитать готовую статью перед сдачей в редакцию. Партийный приятель, ознакомившись с текстом, пришел в ужас. Кое о чем он знал и сам. Сейчас его пугали вполне реальные последствия:

— Это же скандал на всю страну!.. Сразу после публикации обкому придется собирать бюро. Приедут ответственный работник ЦК, представитель министерства... Всполошится государственная инспекция по качеству... Погонят с должности директора, он член бюро... Пойми, не для себя же он содержит «дикую» бригаду! Давай рассудим: где найти сейчас идеального администратора?.. Слушай, а ты можешь не печатать эту статью? Одной меньше, одной больше... Ну, отложи хотя бы.

— Сейчас — нет, не могу отложить! — сказал я. — Выступление в газете уже заявлено.

Его слова были для меня ушатом холодной воды. Все во мне будто оборвалось. Я и сам сомневался: нужно ли из-за кучки негодяев выставлять на посрамление Брянщину — легендарный край храбрых воинов, редких умельцев? Слишком глубоко копнул мурабейник! Вселенская показуха охватила страну. Люди не живут,

а совершают некое наигранное в кулуарах действо, обманывая друг друга... Почему в таком случае чистку авгиевых конюшен надо начинать с нашего края? Неужто мы и впрямь выглядим хуже других?

Приятель с надеждой смотрел мне в лицо. Я знал, что он так же люто ненавидел всякую фальшь. Но он не смог указать иной путь в искоренении дурного обычая, сложившегося на заводе. По натуре он не был бойцом, как и я в те минуты.

Мне полагалось отчитаться по командировке делом, и я все-таки сдал статью. Однако попросил не спешить с публикацией, объяснив: на подходе один-два свежих факта по этой же теме.

Редактор отдела в первые дни позванивал мне домой, напоминал о вычитке гранок. Затем звонки прекратились. Он ведь тоже подотчетен в своих заявках на публикацию перед старшими. Было от чего возмущаться. По моей же просьбе дошли до главного с критическим материалом и ЦК поставили в известность, а теперь автор чего-то медлит, тянет резину?

Кончилось тем, что милейший Василий Петрович перестал со мною здороваться.

До Бурова, директора завода, история с готовящейся против него статьей, вероятно, дошла. Не дождавшись публикации, возможно, попереживав малость, директор рассудил задержку по-своему: «Защитили друзья!» Когда администрация завода принялась травить талантливого изобретателя Сергея Васильевича Трофимова и выталкивать его за ворота, мы с Трофимовым послали из Белых Берегов на коллегию Совмина СССР телеграмму с протестом против присвоения Бурову звания лауреата Государственной премии за обман государства, но уже по другому случаю (лишившийся почетной медали директор в гневе бросил в лицо мужественному защитнику истины: «Мы вас уберем с завода! Забросаем выговорами... Никакой Родичев вам не поможет»).

Здесь он переоценивал себя. Ходившему без единого взыскания двадцать восемь лет заслуженному рационализатору он вкупе с тогдашним секретарем парткома навесил за один месяц аж три выговора. Придирались к любой мелочи. Но изгон с подвластной территории не состоялся. Трофимова я защитил. А вот уберечь от позора весь коллектив завода не смог, недостало духа, о чем жалею до сих пор. В те дни я понял: Брянск — это лишь малый участок опытного поля по возделыванию вселенского зла. Бить надо было по всей системе. Впрочем, тогда она выдерживала любой удар одиночек.

ЧТО МОГУТ КОРОЛИ

Долгие годы я берег дружбу с весьма охраняемым от посторонних общений номенклатурным и засекреченным донельзя — наверное, не меньше Главного конструктора по космическим кораблям — директором завода по обработке якутских алмазов Потехиным Николаем Васильевичем. Добраться до него в рабочее время практически невозможно. Нужно пройти через десяток узких камер, снабженных мигающими устройствами. Обычно директор встречал меня возле проходных и вел мимо этих аппаратов. Для меня тот человек был просто Колькой-батарейцем, а я для него неприкаянным бродягой, мешающим жить людям своим

праздным любопытством. В войну сержант Потехин был заряжающим противотанкового орудия в 5-й Ударной армии, с коей заодно, как говорится, пришлось одолевать нашему мехкорпусу Никопольский плацдарм. В знобкие январские ночи той поры мы спасали друг друга в неглубоком окопчике лишь собственным дыханием. Колючую в холода, ощетинившуюся ворсом полу своей шинели батареец пускал понизу, оберегая от снеговой мокреди мою голову и плечо, а я своей одежонкой уплотнял наше совместное прикрытие сверху. Получалось как бы под двойной защитой... Наивная солдатская находчивость!

За чашкой чая мы с Потехиным разговаривали о фронтах лишь вскользь. Отвлекали заботы зрелых лет, а их с годами не убавлялось. Об одной из таких докук и рассказал мне соратник при очередной встрече.

— Не к добру, видимо, повадились на наш завод охотники за бриллиантами. В прежние времена колье из двадцати восьми или тридцати трех сверкающих горошин жаждали к круглой дате лишь державные супруги министров. Теперь, — жаловался хранитель ценностей, — входит в моду получать такой подарок и жене заместителя... А каждая обработанная по граням горошинка стоит «Жигулей»... На днях Галина Леонидовна собственной персоной в кабинет ввалилась со свитой. Прослышала дама: готов к отправке набор украшений к бальному платью королеве Дании. Поступил такой заказ русским умельцам. Уже оплачен: триста семьдесят тысяч долларов. Дочь Брежнева не превозмогла любопытства: что позволяют себе короли? Примерила... и не сняла с себя. Пришлось созывать правительственную комиссию по уценке изделия. Определили для доморощенной королевы сумму в тридцать тысяч. Филигранная работа целого коллектива уникальных мастеров принесла заводу не прибыль, а громадный убыток. Пришлось все повторять заново. Датчане могли потребовать неустойку за нарушение сроков изготовления. Их специалисты уже видели готовый гарнитур и выписали чеки на оплату. Сколько волнений пережил коллектив: а вдруг новый экземпляр не сложится столь удачно? Над первым вариантом работали-то с душой, надеясь на премию. Все пошло коту под хвост... За названную датчанами цену я мог бы купить в Англии новую поточную линию по обработке алмазов. А мы до сих пор продаем большую часть добычи редкого минерала сырьем. Тоже не ведаю — почему? Верха говорят: политика!

Со мной чуть не стало плохо, когда слушал эти откровения фронтового побратима. Не помню, как сорвало меня с места, чуть не опрокинул чашку с чаем. Орал на Потехина по-солдафонски. Грубо потребовал сейчас же написать об этом случае самому генсеку, сообщить о разграблении народных ценностей б...дями от политики... «А боишься, — поучал я несдержанно, — уйди с завода, не созерцай этой мрази, не потворствуй откровенным грабителям!» Несколько успокоившись, зашел с другой стороны: напомнил о довоенном фильме про Максима. Рабочий человек, полуграмотный, а как он берег народные копейки, став управляющим национализированным банком!

Расстроенным ушел из дома Потехиных. Возможно, Николай Васильевич что-то наметил для себя из нашего разговора. А может, самому надоело одаривать номенклатурных бездельниц. Прошло чуть больше года. Звонок от Потехина: «Приходи обмывать мою

новую должность... Даже зарплату отвалили побольше — вот как постарались шефы»... На завод и впрямь прислали более покладистого администратора.

Рассказанный Потехиным эпизод с конфискацией брежневской наследницей оплаченных ценностей датской королевы, наверное, писк мышиный по сравнению с грабежом казны, который позволяли себе другие сановные особы. Когда печальная повесть о налете себялюбивой дамы на бриллиантовый завод была уже написана, поступил в продажу очередной выпуск «Аргументов и фактов» (№ 38 за 1991 год). Там написано: «Горбачевым было дано указание провести проверку высших должностных лиц СССР (о коррупции. — Н. Р.). К концу лета работа была закончена, и на свет появился документ в несколько сот страниц. Те, кому довелось заглянуть в него одним глазком, были в ужасе от его содержания»...

СМЕРЧ

С недавних пор возле универсама на нашей улице стал появляться бородатый молодой мужчина в куцей, с накладными карманами кожанке, иногда в мерцающей блестками ветровке с капюшоном и пестреньком, форсисто заломленном кепи модного фасона. Он был осмотрителен и сдержан на слова, предельно отзывчив, если кто к нему обратится. По-простецки безропотно человек этот выстаивал часами на подступах к дверям магазина. Сдерживал себя, когда другие возмущались, требуя порядка. Не сердился, если уходил с пустыми руками. Не бунтовал вслух против очередной глупости окаянных начальников, доведших страну, не каялся в собственных прегрешениях. Мол, напрасно старался в жизни, зазря кому-то верил... И теперь вот... В покорных глазах новичка, сосредоточенных на личных заботах, можно было прочесть: «Зачем лишний раз рвать нервы? Что людям, то и мне!»

Завсегдатаи толкучек знали его имя: Миша, Михайла... О дальнейшем не расспрашивали, откуда, мол, и какими судьбами... Москва не деревня, чтобы перед всяким объясняться, хотя без малого не все новопоселенцы за последние полвека кучно разместились в окраинных кварталах и предместьях первопрестольной. Прислушиваясь отнюдь не к досужим рассуждениям таких же бедолаг, как он, новый обитатель ареала, полуголодных лимитчиков в тон им, оборзевшим от неудач, вздыхал:

— Говорите, одинокой остались, мамаша?

— Как перст одна теперича, родимый! Максим прибрался на погост три года тому... Только и нажитого — ящик с плотницким инструментом. Хотела сбыть на рынке, да все недосуг отнести... Дочь, Светка, своим домом правит возле Челябы. А сын, Андрюша, по военной профессии пошел. К этому вовсе не рукой подать. Иной год и в отпуск не показывается. И то рассудить: по морю почти сутки плыть, пока к самолету прибьются... А ребятишки еще малые... Так и коротаю времечко за шитвом да у телевизора... Чего ждут? Разве у стариков об этом спрашивают? Гондоблю малышам чего-либо из стареньких платьев. Может, и пригодится. А нового сейчас не докупишься.

Миша, покачивая своей модной кепочкой, вслушиваясь в очередную чью-то судьбу, вставлял по слову, если разговор собеседнице не в тягость. Но больше молчал, внимая бедам попутчицы к далекому еще прилавку.

— Квартира у вас отдельная? — осторожно и не сразу проявил интерес к пенсионерке бородач. — Не сдадите ли внаем хотя бы «угол», а?

Бабуся — в данном случае это была Елизавета Филипповна Бубнова из дома номер тринадцать дробь два — подозрительно взглянула на вежливого соочередника. Горожанке в таких случаях полагается быть бдительной. Столько приезжих рэкетиров шастает по подъездам, да и на своих кровных бандитов Москва никогда не скудела. Таким только дверь приоткрой ненароком. Еще в гости напросится.

— Нет уж, милой, — остепенила мужчину старуха. — На исходе годков хочется в тишине побыть. От посторонних в доме одна маета. А пенсии мне хватает... Покамест хватает! — вздохнула по привычке.

К продолжению разговора участливый Миша приступил не сразу. На другой день он занес в извилистую очередишку пакет с колготами и кофточку фланелевую, будто случайно приобретенные по дороге. Недорого просил, увидев интерес к покупке. По прежней цене отдал, вроде подарка приятным собеседницам.

— Что-то вы сегодня одна? — спросил Елизавету, когда та расплатилась за кофту. — Где же подружка, что в черной шляпке?

— Приболела, — погоревала вслух. — Навестить бы надо мою Веронику. У нее никакой родни в Москве. Воды подать некому. Про колбаску однова напомнила. И как это я упустила?

Услужливый Миша тут же предложил женщине аккуратно завернутую в фольгу булочку с сервилатом, взятую про запас. Филипповна, конечно же, отказалась от чрезмерной его любезности, углядев в этом жесте нечто унижающее достоинство. «Не хватает мне с чужих рук питаться!»

Выведав, что ему требовалось, Миша подступился к главному:

— А что, если вы, Елизавета Филипповна, сдадите мне свою квартиру? Переселитесь к знакомым... Деньжонками не обижу. И от очередей избавлю.

— Ой ли? — не поверила Елизавета. — Нет, нет, сердечный. В чужом доме хорошо на досуге чайком побаловаться. А на ночь тянет в свой куток.

— Тысячу в месяц! — не отступался от старухи прыткий молодец. Провел ладонью по горлу. — Недавно женился... Ни у нее, ни у меня угла нет. Деньги хорошие получаем, а личного счастья не достигли. Ночуем с супругой порознь, будто в разводе до утра.

— Не верится что-то, — засомневалась старуха, полагаясь на первое впечатление. Как выяснилось позже, не обманулась в подозрении. Слишком уж холеное лицо у несчастного молодожена. Белая, в полоску, модная сорочка с галстуком... Явно не наше все на нем. Житейский опыт подсказывал пенсионерке: что-то недоговаривает учтивый очередник. Но ведет себя хотя и навязчиво порой, но с уваженчем к возрасту. Когда скажет, а иной раз и помолчит. Может, и впрямь мучается в разлуке с любимой человек?

— Я не шучу, — продолжал Михаил Зотович, не повышая голоса, доверительно. — Тысяча целковых в месяц, и деньги наперед! — Он тронул карман. — Продуктами поделюсь, если еще хуже станет. На кондитерской фабрике знакомые...

Только сейчас бабка взяла в толк названную скороговоркой

сумму. За всю жизнь она и в руках таких добытков не держала. Может, пожалеть неприкаянных любовников, пустить на месяц или два? Сама в подружкиной хрущобке перебилась бы, а то и в доме отдыха — фабричные предлагали... Вероника-то к себе зовет, жалуется на скуку по вечерам. Конечно, придется с нею малость поделиться нежданной прибавкой к пенсии.

В тот же вечер передала Веронике Сидоровне весь разговор с галантным молодоженом без утайки. От кого таиться? С подругой детства она приехала полвека тому назад из Тверских Кимр для учения ремеслу при Трехгорке. Да так и прикипели друг к дружке на все годы, имея между тем совсем разные характеры. Вероника почему-то присвоила себе старшинство над ровесницей. Возможно, потому, что конторская, а Елизавета — цеховая рабочая.

То было время, когда над их Сергеевкой под Кимрами будто ураган пронесся, отрывая людей от дедовских селитьб. Снимались с нагретого предками места семьями, оставляли без пригляда родительское подворье, разъезжались куда глаза глядят молодые и старые. Сиротели поля, дичали вековые рощи. Свою биографию девушки начинали в пыльном ровничном цехе... Потом ровесница Лизы вышла замуж, свекровь обучила ее на оператора в сберкассе. С семьей, правда, не повезло девке: по настоянию той же свекрови сделала аборт, неудачно. А муж стал попивать, дошло до белой горячки. Рано отошел вслед за матерью. Вероника осталась одна в квартире.

Елизавета трубила в ровничном до выхода на пенсию. Теперь интеллигентная подруга, падкая до новостей, внимательно слушала всяческие байки, услышанные в очереди. Хозяйка двухкомнатной квартиры и сама замечала возле магазина того всезнайку-говоруна в кожанке. И после рассказа Елизаветы она не нашла в предложении их общего знакомого ничего подозрительного.

— Да сейчас всяк, где лучше, пристраивается, — заключила сочувственно. — Небось с родителями повздорили молодые, ищут своего причала. Я сама жалею, что не ушла с мужем от его родителей сразу после женитьбы. Может, по-иному судьба на нас глянула бы...

После недолгого спора подруги решили на равных паях сдать Елизаветину однокомнатную. Товарка Елизаветы без колебаний приняла ее под свою крышу.

Через неделю хозяйка квартиры, внимательно проверив паспорт нового жителя, списала на тетрадный листок все данные о щедром незнакомце и вручила ему свои ключи. Предупредила, чтобы жили супруги без шалостей, соседям музыкой не докучали, в комнате не дымили табачищем, не забывали вынести мусор. Михаил, заступая во владение квартирой и имуществом, ни в чем не перечил хозяйке. Уговорил женщину принять плату не за месяц наперед, как условились, а за полгода. Сунул в руки на подпись какую-то бумагу, мол, на случай, если соседи спросят. «Не понравимся вам, — заверил, — тут же уйдем».

Пугливая скудость существования Елизаветы молчаливо глядела в эти минуты на гостя из каждого угла. Будто устрашаясь отказа, Михайла принялся метать на стол из портфеля тугие пачки.

Сознание Елизаветы не воспринимало кучу вываленных перед нею на стол пачек с купюрами. От них несло неправедным ремеслом, а то и разбоем. Но руки женщины как бы сами по себе подгребали те пачки ближе к хозяйственной сумке. Все это богатство казалось пенсионерке сказочным сном: век считала потертые в шершавых руках рублики от получки до получки, а в один день стала обладательницей шести тысяч! Даже не пересчитав, охваченная радостным нетерпением, сгребла нечаянный добыток в сумку и, оглядываясь по сторонам, не гонится ли вслед грабитель, заспешила в дом к Веронике. Там они вдвоем перебрали до последней бумажки, разглядывая крупные купюры на свет. Разложили на две равные кучки и спрятали каждая свою долю под матрац. Тут же легли сверху для верности, хотя на дворе было еще видно. Принялись мечтать, на что потратят деньги. Вероника вслух гордилась нежадной подругой, в которую всегда верила, будто в родную сестру...

Михаил Зотович как бы вскользь обронил при последней встрече просьбу пореже заглядывать на сданную ему квартиру, чтобы не помешать счастью молодых. Еще раз поклялся, что все здесь будет в сохранности.

Доверчивой домохозяйке, обласканной так щедро, достало выдержки ровно на месяц. Терпела бы больше, радуясь удаче. В хлопотах пролетали деньки. Женщины затеяли купить цветной телевизор и носились из края в край по городу. Пришлось потревожить полузабытый профком... Приобрели хорошие покрывала на койки. Отгрохали себе по новеньким сапожкам, посбросав еле державшиеся на костлявых ногах, пообтершиеся суконные полуботы модели «прощай молодость». Но вспомнила Елизавета о пенсионной книжке, оставленной за портретом покойного мужа на стене. Надо было справиться в собесе о начислении пособия. Другим вроде уже приносить стали больше прежнего. Даровые деньги вместе с квартирантом могут однажды исчезнуть, а жить, может, еще долго придется. Решила потревожить постояльца лишь на минутку. Приготовилась извиниться с порога... Да и на невесту Михайлову взглянуть не терпелось, удовлетворить женское любопытство. Какая она должна быть красавица, если муж ради нее тысячу за одну комнату не пожалел?

Робко позвонила в знакомую и чем-то отпугнувшую ее дверь, ожидая увидеть на пороге всегда улыбавшегося ей Михайлу. Дверь была обита новеньким дерматином. Металлический номерок на ней так и сиял, начищенный. Сама собиралась освежить вход в жилище, да больно цены на дерматин подскочили. Порадовалась догадливости квартиранта.

Открыл ей высокий, на голову выше Михайлы, худой и лысый человек в клетчатой пижаме, пробормотавший что-то невразумительное. Мужчина не торопился уступить дорогу хозяйке, посматривал себе за плечо, будто ждал подмоги. Вскоре из ванной шагнул юркий темнокожий толстяк с намыленной щекой. Этот всплеснул руками, с улыбкой воскликнул: «О-о, мама!», будто весь век ждал ее появления. Извинился на ломаном языке, сказав, что быстро-скоро закончит процедуру и обо всем поговорит с хозяйкой.

Отсутствовал толстяк чуть больше минуты, ну, может, две. И все это время Елизавета сидела в кожаном кресле у самого входа, ощущая свою невесомость. Ей показалось, что она ошиблась домом и угодила в чужое жилье. Прежними в квартире оставались разве подоконники, да и те были заново окрашены. Все остальное, от бронзовых карнизов до пола, застланного пушистым паласом, от роскошных с бахромой синих с выбитым рисунком штор до двер-

ных точеных ручек было новым, ласкающим глаз. В комнате, ставшей вдруг просторной, похожей на конторский офис, со вкусом расставлена негромоздкая мебель: тахта в зашторенной бархатной нише, два мягких кресла, тумбочка для телефона, журнальный столик. Телефона у старухи за всю жизнь не было, не смогла достояться в очереди за аппаратом связи.

Долговязый неулыбчивый человек в пижаме в самом начале визита прошел мимо опешившей женщины в глубь комнаты и тут же забыл о ней. Уселся за мигающую зелеными огоньками машинку, водруженную на подставочке между окон. Принялся как ни в чем не бывало отстукивать длинными пальцами по клавишам. Первое, о чем приготовилась спросить новых обитателей квартиры Елизавета Филипповна, — где сейчас Миша и куда он подевал ее старенький, застланный потертым пледом диван?

Темнокожий толстячок, явившись из ванной чисто выбритым, благоухая духами, забегал вокруг Елизаветы, справился о ее здоровье. Еще раз извинился и, по-смешному расставляя наперекос русские слова в фразе, передал просьбу господина Глинского, то бишь Михаила, чтобы госпожа Элиза не волновалась, берегла себя от житейских бурь. Их компаньон в свадебном путешествии по южным морям готовит ей ценный подарок. А в доме поживут неделю-другую они с господином — тут он назвал то ли имя, то ли фамилию, кивнув на долговязого, — тоже занятые важными делами... О мебели просил не беспокоиться. Господин Глинский скоро вернется и покажет, где диван и все прочее надежно хранятся... Сказал вежливый толстячок и о себе: коммерсант из Южной Кореи... Извлек из тумбочки коробицу, перепоясанную синей лентой, и с полупоклоном вручил несколько опешившей женщине. После этого Елизавете Филипповне ничего не оставалось, как, в свою очередь, раскланяться с занятыми людьми. Она ушла, пряча в сердце законную тревогу за происходящее у нее в квартире, считай, с ее позволения.

В коробице оказался набор туалетной воды, шампунь в плоском флаконе со срамным рисунком и два крохотных, чуть больше наперстка, пузырька, источавшие приятный запах. Придя к Веронике, она тут же объявила о подарке. Старухи долго любовались пузыречками, нюхали по очереди. Частично протрезвев от благовоний, надумали было пойти в райисполком с покаянием в грехе.

Как есть, рассуждали они наперебой, лукавый надсмеялся над бабьей жадностью к деньгам. По явной оплошке в квартире пенсионерки живут иностранцы, возможно, шпионы. Стучат себе на какой-то мигающей огоньками машинке. Не ровен час — передают за рубеж наши секреты... Больше все же, как подобает старшей в их кругу, рассуждала Вероника: «Но власти могут потребовать вещественных доказательств! Как пить дать, велят сдать в казну полученные из нечистых рук деньги...» А часть полученных от Михайлы купюр ушла на оплату телевизора и покрывал на кровати. Так можно и в тюрьму угодить за потерю бдительности. Больше, ясное дело, переживала Елизавета.

Веронике удалось подуспокоить расстроенную подружку, к чему она особенно не стремилась. Бабуси решили никуда пока не соваться со своею бедой, положиться на русский авось, не однажды выручавший бедолаг в житейских передрягах. Надо набраться терпения и ждать приезда Миши. С глазу на глаз, а не в служебных кабинетах объясниться с ним начистоту. Потребовать

убраться из дома подальше, коль вероломен по натуре. Тем более, отмечала про себя хозяйка, что квартира теперь отремонтирована.

Неунывающий бородач еще больше раздобрел в поездке по зарубежью. От экстрасенса во время круиза он научился читать мысли у других. А может, знал от тароватых компаньонов много раньше: не избалованного радостями человека легко ублажить подарком... Не успев отозваться на приветствие Елизаветы, тут же вручил ей длиннополый халат с золотистой шнуровкой по подолу и расклешенными под кимоно рукавами. «Халату износу не будет!» — отметила, ликуя, бабка, не в силах отвести рук от подарка. Сверху того приношения Миша положил какую-то зелененькую хрустящую бумажку, размером чуть длиннее нашей пятидесятирублевки.

Заграничный подарок был в единственном числе, а Елизавета со дня переселения к подруге привыкла делить любой добыток на равных. Догадавшись, что зелененькая — доллары, но не ведая, сколько там в купюре, она, привыкшая за дорогу к халату, давшая себе обет не расставаться с ним ни за какие коврижки, тут же отдала заморскую купюру более понятливой в таких ценностях подруге. В знак компенсации за хвалебные слова в адрес халата.

Взглянув на купюру, Вероника без всяких эмоций сунула бумажку в карман засаленного, с отвислыми карманами передника. Безотказный в пересчете денежных знаков «компьютер» бывшей сотрудницы сберкассы перевел доллары на рыночный курс и вызвал у нее внутренний восторг такой силы, что она мгновенно забыла о японском халате, будто перед ее взором мелькнула тряпка для мытья полов.

Старухи выписывали в складчину газету «Вечерняя Москва». Елизавета не прикладывалась к чтению из-за слабости глаз. Новости она узнавала от начитанной Вероники Сидоровны. Однажды та пересказала ей заметку о скандале между столичной мэрией и заезжими купцами. Новые власти приняли постановление повысить цены за ночлег. Согласно тому закону иностранец обязан платить за месяц гостевания в московской квартире, если занимает трехкомнатное пристанище, пять тысяч семьсот долларов... Гостиничные сутки обходились неосмотрительному вояжеру в баснословную сумму, которую иной работяга на заводе не получит и за год целый! Теперь Моссовет, став мэрией, требовал с чужаков, да и со своих, если кто успел разжиться конвертируемыми, плату в два раза большую прежней. Газета злорадно сообщала: иностранцы забастовали против такого произвола московской мэрии. Через ловких посредников обиженные купцы ищут ночлега у более покладистых москвичей, что живут неподалеку от кусачих отелей.

Елизавета вспомнила: любезный толстячок из Южной Кореи, передавая ей коробицу с благовонной водичкой, вычерчивал на ладони цифру 1000 и толковал, что столько платит за жилье. Речь, оказывается, шла не о рублях, а о долларах.

— Дура! — бросала в лицо подруге Вероника. — За твою хавиру постоялец хапает от компаньона в сто раз больше, чем жалует тебе вроде чаевых... Ха! Вот откуда его щедрость!

— Что же мне делать теперь-то? — сокрушалась обманутая Елизавета Филипповна. — Я ведь какую-то бумагу подмахнула по его настоянию. На год целый сдала квартиру.

— Гони в шею! — продолжала наставительно подруга, свирепея

от возмущения. В ту минуту и полусотенная в загашнике не казалась ей таким уж богатством.

Обе женщины по деревенской привычке относились с презрением к людям нечестным, способным на обман ради сиюминутной выгоды. Вероника Сидоровна негодовала оттого, что обвели вокруг пальца близкого ей человека, и без того несчастного. Михаил, выходит, придумал историю с женитьбой. Таких квартир небось с десяток снимает по городу. На чужой темноте наживается... Благодетель новоявленный!.. Вампир да и только.

Вероника трудно успокаивалась:

— Такие фортели-кортели сейчас в чести. Их называют по-базарному: бизнесом. Горькая присказка о жизни нынешней в народе ходит: «Обдирай свой своего, чтобы чужой духу боялся!» Хапай в обе руки, набивай пазуху, волоки из общего к себе в нору, соседям завидуй, если они поболе твоего домой поволокли.

Толковала этак сердито Вероника Сидоровна с досады об утраченных возможностях. Дряблые щеки ее раскраснелись, будто у молодки. Отвисшая на щеках кожа в такт словам подрагивала, рождая сходство с индюшкой. Мысли старухи мешались в такие мгновенья. Устав прорабатывать без вины виноватую подругу, Вероника незаметно для себя сбивалась на петлястую стезю житейских дрязг. «Не сдать ли мне внаймы собственные хоромы иностранцам? Пусть свежими обоями обклеят прихожую... Под кирпич жженый, как у заведующей сберкассой Вешняковой... Както увидела, поздравить зашла с юбилеем — сердце зашлось от зависти... Только где найдешь постояльца с мошной? Михайла и тут опередит».

На всякий случай Вероника заговорила о возможной перемене жительства. Напомнила Елизавете: племянница Наталья давно зовет в Тверь. В прошлом году двойней разрешилась. Мается, бедняжка, без няньки в доме. Пропадет красный диплом... Муж, кооператор, хорошо зарабатывает. Тысячи раздаривает чужим людям за мелкие услуги по дому. Перепелки у них в пристройке. Двух хрюшек держат. И тепличка своя заложена с электрическим обогревом.

— Считай, и харч дармовой, — мечтала вслух экономная на расходы подружка. О том, что Наталья пообещала своей тете почти не ношенную цигейковую шубку, Вероника умалчивала. Главное в тех откровениях — донести до сознания Елизаветы свое решение о переезде в Тверь.

— Бери меня с собою! — запросилась вдруг Елизавета. — Ты с мальцами за няньку, а я возле живности да в огороде.

Елизавета страшилась остаться одной в большом, вдруг опостылевшем городе. А Вероника ей квартиры не оставит, даже временно. Характер подруги Елизавета изучила. Страшась пустоты своего существования, ткачиха по-пролетарски прямолинейно осуждала чересчур расчетливую Веронику: «Неужто и у нее на почве наживы в голове шурум-бурум приключился? А как же их клятва: глядеть друг дружку до кончины и даже на том свете не расставаться? Что-то больно часто землячка глаза в сторону отводить стала... Как бы не окосела невзначай!»

В последние дни у Вероники только разговоров, что о приватизации. Изнервничалась, избегалась, собирая справки. Вся жизнь ее на иной лад пошла.

Смерч, прикончивший их деревеньку под Кимрами в тридцатых годах, оторвавший юных крестьянок от корней, гулял с той поры, набирая силу, по раздолам и пустошам, притихая ненадолго и возникая вновь, в ином разорительном обличье. Теперь злая сила эта в слепости своей набрела на каменные стены столицы. Осатанев на воле, не знающая окороту стихия ломает не только стены — и души людские, нагоняет на все живое страху. И за высокими белыми стенами города не отсиделись подружки. Не судилось им свековать поблизости ладком да в покое. Лукавый завлек их в свои сети соблазном пожить красиво, вдали от вековой скудости. Взвихрил перед глазами денежный сор — надолго ли? — помутил разум. Сровнял с землей отцовские могилы и грозится вот-вот разметать их самих по разным сторонам.

...ПО ЗАЕМНОЙ СХЕМЕ

Размышляя об истоках нынешних потрясений, обозначенных сначала домовитым словом «перестройка», после — как только не склоняемого по падежам, я набрел в памяти на эпизод, который за давностью лет, да и по своей малой привлекательности успел потускнеть и изрядно выветриться. Случилось это в году шестьдесят первом. Тогда я посещал лекции на Тверском бульваре. В погожий майский день забрел в приемную ректора, не помню уже по какой заботе. На полчаса остался там в одиночестве, потому что секретарша Таня отлучилась на обед. Зазвонил телефон, и я, не считавший себя посторонним в данном учреждении, поднял трубку. Беспокоили престижный вуз из Тимирязевского райотдела милиции:

— У нас тут женщина задержана, — четким голосом доложил дежуривший в тот день лейтенант Потапов. — Голая ходила по территории ВДНХ. С обычным хулиганом мы знаем, как поступить: оформляем протокол и в суд. Но гражданочка назвала себя поэтессой. Вроде неудобно применять стандартные меры к служителям муз. Одно слово: интеллигенция... Вот напарник мой уточняет: творческая! В общем, натворила.

Мне понравился вежливый, не без иронии правда, баритон офицера милиции. В те годы шла реабилитация невинно пострадавших литераторов. Ужасало число репрессированных: из одной тысячи трехсот членов творческого союза было сослано в лагеря девятьсот... Были такие — драматург Д. Зорин, юморист А. Ковинька... Их содержали в женских изоляторах. Я мгновенно проникся симпатией к органам правопорядка, учившимся бережно относиться к талантам, даже если кто-либо из нашего брата вступил в противоречие с законом.

На волне «оттепели», теперь уже без всякого опасения, молодые борцы за права человека устраивали митинги у подножия памятника Маяковскому. Сочиняли едкие стишки про страну «керосинию». Давали интервью иностранным журналистам на даче в Переделкине. В ЦДЛ с трибуны большого зала зачитали стенографический отчет помощника канцлера ФРГ, сопровождавшего в поездке по стране советского поэта Е. Евтушенко, с убийственной характеристикой на последней странице: «Болтлив, глуп... Не будет толку от такого ни нам, ни русским». Расторопный немчук опровергал таким образом древнюю погудку: «Что русскому хорошо,

то немцу худо». Худо от кривляки, не уважающего свое Отечество, любому выходцу из народа в любой стране.

В то время считалось неким шиком утверждать свое имя через скандалы. Так что хождение голышом среди многолюдной толпы могло сойти за шалости приготовишки, как невинное занятие, если на такой манер свою одаренность проявляет молодая сочинительница стихов. Студентка И. была не только молодой, но прекрасной, со смуглым лицом и большущими, с южной раскосинкой, миндалевидными глазами. И если бы я не подал ей руки в беде, я перестал бы уважать сам себя.

Едва выслушав лейтенанта, я предложил свой выход:

— Отпустите ее... Она хорошая... А выбрык — от настроения... Хочет привлечь внимание, не больше. Мы сами здесь с виновницей разберемся.

— Да как же я отпущу?! — взопил дежурный. — Она и сейчас в чем мама родила. Сидит вот напротив, добивает мою пачку сигарет... На теле и тряпки нет. Еле допытались, откуда взялась такая прыткая. Обликом на иностранку смахивает. О документах — не спрашивай.

Теплинка в голосе дежурного оставляла мне какую-то надежду. Переведя разговор на шутливую волну, я выторговал для сокурсницы освобождение. Шмотки в пользу пострадавшего человека, возможно, раздетого начальником, пришлось собирать по аудиториям взаймы, с участием возвратившейся на свое привычное место Тани — таковы были встречные условия милиции. Потапов вместо документа, подтверждающего личность задержанной, с порога кабинета потребовал показать хотя бы для нее юбку, ну и что-либо на плечи. Лейтенант оказался человеком целомудренным и берег от разбазаривания женскую красоту.

Мы с Таней по-своему жалели строптивую поэтессу и даже в разговоре между собою, пока собирали в долг шмотки у людей, пользовались намеками, чтобы история эта не разошлась по институту, как очередная неумная сенсация.

Когда И., кое в чем одетую, привезли в альма-матер на служебном «бобике» и сдали нам с Таней под расписку, я, совсем не настаивая на желании пожурить вызволенную из плена, задал сокурснице несколько проходных вопросов, скорее чтобы успокоить ее и помочь забыть о случившемся. Разговаривала она со мною вполне доверительно, хотя нервное напряжение долго не покидало ее. Среди всплесков эмоции и негодования по адресу милиции было и объяснение причины, приведшей женщину в состояние, когда она плохо контролировала свои поступки. Не придерживалась, как говорят, ни ока, ни бока.

— Мне было жарко, — начала она с легкого обмана, который, мне думается, простителен женщине, когда речь идет о защите своей чести. — Ну а если я так хочу — ощутить полную свободу, даже от одежд? И кто в конце концов может определить толком, где начинаются, а где заканчиваются так называемые приличия?

— М-да, но ходить нагишом перед толпой зевак... — я пытался понять однокурсницу. — Там наверняка были дети.

— Плевать на скопище идиотов! Может, я завтра сбегу отсюда! От стада ничего не смыслящих баранов... Живу как в клетке: то — нельзя, на другое — запрет... Надоело!

— Меняй сразу все, если все не по нраву, — примирительно сказал я.

— И поменяем! — с вызовом заявила И. С этой минуты она разговаривала как бы от имени некоего содружества по грядущим переменам, во множественном числе. — У нас уже все готово.

— Ты не одна?

— Разумеется! — Студентка продолжала обнажаться не телом, а душой. — У нас есть свои люди. На любой пост, вплоть до министров... Есть и партия единомышленников.

— Даже так?

— Она всегда была... Разве ты не знал?

— Понаслышке... Не партия, а движение в середине двадцатых годов: «Долой стыд». Кажется, так называлось.

— Сейчас другие цели, — отгородилась от сторонников голой морали студентка. — Революция не удалась. Ее надо повторить заново.

— В чем она не удалась?

— Передоверились русским. По тупости они все испортили, что было задумано.

— ?

— Не строй из себя наивность, — бросила резко И. — Ведь революцию для вас совершили мы.

Это «мы» отчетливо говорило о какой-то обособленности. И еще о чем-то, что мне не сразу удалось уловить из-за резкой интонации явно рассерженной женщины. Я осторожно изложил нечто фамильное: мой отец, Иван Данилович, орловский крестьянин, пошел добровольно, после митинга на деревенской площади, по призыву с урядником, воевать с германцем. Насчет добровольно я здесь не оговорился, потому что на защиту царя и отечества шли по убеждению: так надо земле родной. Позже, на гражданской войне, он стал кадровым военным, выбыл из строя по ранению в сабельном бою на границе в 1923 году. Вернулся в деревню, опять батрачил на подворье богатого односельчанина. Создавал первый колхоз. Отец наверняка обиделся бы, если бы услышал, что революцию совершили без него, преподнесли ему Октябрь на чистеньком блюдечке.

— Твой отец, — спокойно рассудила сокурсница, не ведая покамест о течении моих мыслей, но догадываясь о них, — шел за нами слепо. Он был рядовым исполнителем. Сначала все шло без отклонений от программы. Затем русские перестали нас слушаться и наделали кучу глупостей.

— А как надо было вести себя *нам*, если ты так уж определенно делишь общество на наших и ваших и явно недовольна другой стороной?

На выдачу ответа ей потребовалось не больше минуты:

— Незачем русским лезть в политику, искусство, — заявила твердо. — Мы все это дадим вам в готовом виде на уровне мировой цивилизации: литературу, кино, театр, телевидение. Ваше дело — сеять хлеб, кукурузу, выращивать животных. — Студентка улыбнулась краешком пухленьких губ, вспомнив, вероятно, о недавнем вояже Хрущева в Америку за опытом земледелия для соотечественников. — Зачем вам большая политика? Вы же ни черта в ней не разбираетесь.

С выражением досады на хорошеньком лице И. вздохнула, поглядев за окно. Я почувствовал себя случайным собеседником для столь эрудированной и радикально мыслящей функционерки по-

вторной революции. Она отдавала лишь долг вежливости за участие в неприятной истории и вела себя как на уроке политграмоты перед несмышленым учеником. Я не сразу уловил эту перемену настроения в собеседнице.

— В общем, вы хотите кое-что поменять в нашей жизни? — рассуждал я вслух. — Не подумай, что мне все у нас кажется состоявшимся, нормальным. Но ведь для любых изменений, тем более крупномасштабных, потребуется организованная сила. От рядового до генерала, между прочим, и жертвенники.

— У нас имеется такая сила!.. Если угодно — партия. Она готовит людей, способных в день икс заменить Совет Министров, создать парламент из компетентной элиты — умной, европейски образованной, умеющей повести хозяйство страны и внешнюю торговлю с выгодой и по заслугам распределить достаток. Да, да! У нас будет демократический парламент с несколькими партиями, кроме коммунистической, разумеется... Ну, как во Франции. Совдепы устраним от руля управления. Навсегда!

Заявлять о таких намерениях в те годы было большой смелостью. На слух подобные речения даже не воспринимались, ибо они походили на игру больного воображения: замена Верховного Совета буржуазным парламентом, выдворение из органов власти руководящей партии, которая пришла к власти почти полстолетия тому в результате поддержки народных масс. Но ведь для таких перемен полагалось бы спросить позволения того же народа, не решать судьбы за его спиной келейно! Мне казалось: И. по юному заблуждению считает партией кучку завсегдатаев какого-нибудь салона. Сборища подобного рода легко возникали и исчезали в любом обществе во все времена, не оказывая сколько-нибудь заметного влияния на людей вне узкого круга. Поговорят, повыставляются друг перед другом в красноречии и разойдутся по своим официальным конторам, лелея мысль о возможной личной карьере. Пусть малое, но облегчение мятущейся душе. Бунт кумира на восприятие студентки выглядит в такой обстановке дерзким, пылким и романтичным. Вызывает порой бурные овации молодежной аудитории.

В конце концов, думал я, на идеалах Октября воспитано три поколения людей. Едва ли они согласятся на коренные изменения общественного уклада, затеянного кучкой самовлюбленных ораторов, бряцающих аргументами. Склонить голову советскому человеку перед новоявленными господами? Не тот русский народ, чтобы за посулы благоденствия отказаться от своего поистине выстраданного прошлого!

Часть из этих скоротечных мыслей я высказал вслух своей собеседнице.

— Согласятся! — ехидненько, с прищуром глаз заявила сокурсница. — В первом же декрете новая власть предложит тем, кто у станка и за рулем трактора, на выбор: надоевшую скудость существования или пятьсот рублей зарплаты в месяц на каждого работающего, автомашину иностранной марки, трехкомнатную квартиру или отдельный двухэтажный коттедж... Посмотрим, за кем пойдут сторонники книжных идей — за коммунистами или за нами.

— Откуда все это возьмется? — изумился я. В те минуты не без интереса размышлял: за кем пошел бы мой брат, проходчик с горловской шахты имени Румянцева, живущий с семьей в одной, правда, просторной комнате? По какую сторону выбора оказались

бы другие родичи и знакомые? Ответа на эти вопросы, заданные самому себе, я, разумеется, получить тогда не мог.

— И обещанное в декрете — сбудется! — заверяла в экстазе сокрушительница уличных нравов. — Машины, пусть не новые, привезут сюда авансом из-за океана, они там стоят недорого; сборные коттеджи тоже доставят пароходами; доллары в нужном количестве богатые кредиторы ссудят в долг, если уверятся в нашей лояльности к демократии, сложившемуся миропорядку. Накормят досыта, откроют шикарные магазины, где всякого товара будет навалом. Чего еще надо обыкновенному «совку»? — Так словотворящая И. назвала в беседе своих, обиженных судьбой современников.

— Кому потом расплачиваться?

— Нам, конечно!

Когда речь зашла о восполнении заморских авансов, студентка великодушно впустила в свой салон и меня. В нем элитарные философы давно развязно толкуют о народе, ждущем спасения от большевизма. Строят планы роскошного житья, не забывая о самих себе. Ясное дело — за счет заводчан, крестьян, мастеров редчайших старинных промыслов. Как и положено избранникам, все вошедшие в тот клан функционеры и творцы будущего одарены с рождения чем-то особенным: музыкой или призванием к живописи, талантом радиокомментатора или умением повелительно водить рукой над головами других.

Уже в те дни по Москве разгуливали в узких брючках ретивые противоборцы матросских клешей. В своих претензиях на перемены, а том ряду и на модные одежды, они были правы. Проржавевшие обручи власти сдавливали грудную клетку, стесняли дыхание. Наше будущее, пусть медленно, вызревало. Не на бульварах или в салонах. В трудовых низах прежде всего. Люди страдали от несправедливости, дурного руководства, а другие отказывались терпеть, шли на демонстрации, под пули, прекращали работу, слали одиночные протесты в центр — чаще анонимные, без подписей. Были и такие, что жертвовали собой, семейным благополучием. В полный голос заявляли в серьезных произведениях о бесправии деревни известные писатели, публицисты. Менять надо было многое. Но не ценой отречения от самих себя, от своей истории.

Я никогда не интересовался национальностью южанки. И сейчас мне такие сведения о конкретном человеке совершенно без надобности. Гении есть у всякой нации, иначе она не выжила бы в веках. Дураков хоть отбавляй у тех, других и третьих. Но почему студентка И. так пренебрежительно рассуждает о никчемности русских скопом? Не все русские оказались губителями идеалов революции. Сотрясающий удар по этим идеалам нанесли пришлые карьеристы и доморощенные бездари, прорвавшиеся к власти. Сыграли на доверии людей и на страхе. Зачем же так хлестко, огулом обо всех сразу — о тамбовском землепашце и брянском металлисте? Подлинная Россия не в салонах и дискуссионных клубах. В глубинке! Оттуда и ждите ответа на ваши бумажные новации, господа!

У действительных радетелей за перемены не было мыслей поправить свой дом за счет богатых соседей. Не путем унижений и попрошайничества свершаются перемены к лучшему. Не долгами под залог собственных детей!.. Когда это было, чтобы великая

держава пошла по миру с сумой за плечами? Русь пережила голод и мор, нашествия чужеземцев. Однако унизить себя не позволяла. Почему нынешний разброд стал возможным? Не по салонным ли меркам идет перелицовка отчей земли, собиравшейся воедино веками? Что готовим потомкам, рассуждая на своих митингах лишь о еде да одежде? Разве гордые предки наши ходили в шелках и жили только распродажей домашнего скарба? Куда забрели мы на зов новоявленных оракулов?

Не сработал ли здесь пресловутый «декрет», исподволь размноженный миллионными тиражами «независимых» газет и сотнями радиоголосов? А где был народ-труженик, кормилец и заступник? Неужто обошли главного хозяина страны салонные краснобаи, усыпили бдительность Великого Немого, подсластили ему медовыми речами посулов горькую пилюлю, от которой уже сейчас выворачивает нутро. «Знаю, на место сетей крепостных люди придумали много иных», — тревожился еще в веке минувшем Н. Некрасов. Певец народного страдания знал о заговоре против мирян сто с лишним лет тому назад. Почему же мы, просвещенные в новых десятилетиях, не ведаем, в какие коварные сети завлекают нас ныне ловцы доверчивых душ? Не пора ли пробудиться от грез!

Дороги наши с И. после завершения курса разошлись. По слухам, она опять угодила в развод. Позже вступила в брак с почтенным старцем. Не сами ли супруги распустили слух о скором выезде за рубеж? И сейчас в ходу древняя пословица кочевых людей: «Родина моя там, где мне хорошо». Почему-то все же не уехали. Не все статьи «декрета» воплотили?

Как-то наш общий знакомый назвал новую фамилию моей сокурсницы. Оказывается, живет И. в одном доме с ним, этажом выше. «Вечно заливает мое пристанище грязной водой, — пожаловался человек. — То у нее засорится туалет, то закупорится ванна. А мне — разгребайся с их добром». Выходит, сражение против неугодных нравов в очужевшей стране продолжается. Теперь на уровне сливного бачка.

Свои рецепты переустройства мира И. закладывает в строки сочинений, больше напоминающих шифрограммы для узкого круга посвященных. Всем прочим, как в тот злополучный день на ВДНХ, остается лишь гадать, почему в регентах правителей России веками ходят особы, одетые скуднее, чем пигмей из джунглей, даже без набедренной повязки, и с немытым из-за испорченного водопровода задом?

ШЕСТЬ ВОЙН

За неполный век страна, известная миру издавна как Россия, претерпела шесть опустошительных войн. Огненная стихия прокатилась по ее землям тяжким катком вдоль и поперек, разрушая то, что было создано руками человека, испепеляя, высасывая из организма державы живительные соки.

1. 1904—1905 годы. Война с Японией. Сотни тысяч покалеченных и убиенных, переналадка хозяйства нации на военный лад, поглощение молохом бойни огромных средств и материалов, отвлечение от созидательных дел десятков миллионов трудоспособного населения...

2. 1914—1917 годы. Война с Германией. Те же напрасные траты и

потери, только умноженные десятикратно. Особенно — людские. Но не только... Экономика страны в смысле снабжения населения питанием и предметами быта не развивалась в годы войны совсем. Донашивались вещи, что на теле, доедали припасы из-под сохи.

3. 1918—1923 годы. Гражданская война. Окончательное опустошение резервов. Полное разрушение хозяйства и одновременно — векового уклада общества. И это итог первой четверти века.

За этими тремя войнами, поглотившими трудовые накопления огромной страны без остатка, последовал какой-то десяток лет очень медленного восстановления, тормозимого доморощенными политиками в их наивном опыте коллективного хозяйствования. Ни одному из тех политиков так и не удалось овладеть сколько-нибудь продуктивным методом, ведущим к процветанию общества. Шло развитие в основном тяжелой промышленности в предчувствии новой беды. Предчувствие, впрочем, не подвело. Возможно, промышленность и спасла нас от порабощения в подстерегавшей страну очередной мировой войне.

4. 1939—1940 годы. Война с белофиннами. Весьма болезненные, ощутимые людские потери молодых мужчин и нелегкие материальные затраты на снабжение действующей армии. Непростые для народа моральные потери.

5. Великая Отечественная война. Помимо стократных материальных затрат на снабжение фронта — опустошение и ограбление оккупантами наиболее насыщенной материальными ценностями европейской части государства. К концу первого года противостояния — 90 миллионов оставшегося вне оккупации разноплеменного населения СССР против 360 миллионов подчиненных германскому рейху человек! Единственный на то время промышленный Урал против сонмища высокоразвитых концернов Германии, Чехословакии, Италии, Бельгии, поверженной Франции и прочих вассалов Гитлера.

Итог беспрерывного четырехлетнего сражения: еще одно повальное опустошение народного хозяйства за очередные четверть века летосчисления России.

Из двух десятков недолгих для истории годков мирного времени, дарованных стране после навязанных ей войн, половина этого времени ушла лишь на поправку сожженного факельщиками жилья, на возведение крыши над головой. В те дни и ночи мало кто думал об удовлетворении личных потребностей. Тем более не приходило в голову мыслей о каких-либо накоплениях ради детей и внуков... Лишь бы душа в теле!

6. 1973—1986. Афганская война. Отнюдь не малые (разве они бывают малыми?) людские потери. Беспрерывный поток военных и продовольственных грузов через южную границу. На содержание гарнизонов и в помощь населению соседней страны. Впрочем, этот поток не прекращался долго и после ухода наших войск.

Здесь перечень лишь «горячих» войн, когда лилась кровь. Истощалась казна, затягивались пояса. Однако, добираясь до причин сегодняшнего оскудения, почему не принимать в расчет жертвы в тылу — инфаркты родителей при получении похоронки на сына с фронта, преждевременный уход из жизни отца или матери, потерю их трудоспособности? Тяжкие душевные травмы на всю жизнь у жен фронтовиков и детей?!

Но ведь, кроме «горячих» войн, были и «холодные», когда исполинские суммы национального дохода уплывали на сторону, об-

рушивались в ненасытную пасть того же военно-промышленного молоха. А перекачка золотых запасов державы на развитие сельского хозяйства Америки и Канады — закупка зерна — при очевидной малоемкой механизации своего земледелия? А непрекращавшаяся десятилетиями помощь безвозвратными ссудами другим державам во имя поддержки их социалистической ориентации?

Все это ослабляло собственную экономику, сковывало ее маневренность, лишало вконец измотанное «вахтовым» напряжением население страны житейских радостей и достатка в доме. Напрягались, лишь бы вытянуть семейный возок до очередного дня зарплаты, кое-как насытить детвору, одетую кое во что.

А бездарность наших политиков, то и дело допускавших глобальные провалы в организации хозяйства... Одни долгострои во что обходились! А сомнительные денежные операции корыстолюбивых чиновников по ведомству международной торговли, когда нашей стороной явно переплачивались миллиарды золотых рублей за бросовые товары иноземных коробейников...

Не бедности нашей удивляться следует, не беспочвенности задумок и не изношенности машин на пороге двадцать первого века, а тому, что мы еще живы! Объявленная на весь мир и вдруг остановленная на полдороге перестройка — это еще одна разорительная война против своего же народа. Седьмая в этом веке.

Иные земляки-политиканы толкуют с трибун: вся надежда на богатого дядюшку теперь!.. Есть, есть такие толстосумы на белом свете. Любят путешествовать и к нам не ради любопытства заглядывают. Еще в прошлом веке царский министр К. П. Победоносцев предупреждал государя: «Россия не имеет друзей в западных государствах — все высматривают наши болезни и хотят ими воспользоваться и, где возможно, прижать нас».

На этот раз прижали, кажется, основательно. Предки, попав в переплет судьбы, находили способ вывернуться. Наверняка надеялись и на нашу сметку.

Нужен ли нам новый Петр Первый, новый Столыпин, новый Ленин с присущими только им, однако современными идеями, чтобы взбодрить впавшую в прострацию Русь? А может, нужен Иван Грозный? Ведь кому-то пришивать остатки страны с отрубленными в угоду дьявольскому эксперименту руками-ногами! Нелишне вспомнить: распад империи в былые века происходил от надрыва нации при затяжных, изнуряющих организм державы, войнах с соседями. Удары извне расшатывали наспех заложенный фундамент. В пылу схватки с врагами лишались владений могучие акулы тогдашнего мира: Англия, Германия, Португалия, Франция. В бытность мою школьником дети на уроках географии подсчитывали, во сколько раз дарованная предками своя земля европейских стран была меньше «проглоченных» ими колоний в Африке, Австралии, Южной Америке. Впрочем, к названным здесь инициаторам раздела мира на сферы влияния в те годы относилась и Япония. Был в ходу даже стих: «Злодейка акула дерзнула напасть на соседа-кита». Империи рушились, не переварив проглоченной добычи. Однако, зализав раны после очерѳдного передела чужих земель с соседями, любая из потрясенных неудачей метрополий стояла насмерть за каждую пядь закрепленных порой насильственным договором территорий. Тому подтверждение в наши дни — Фолкленды, Панама, Алжир.

Грянувший внезапно для остального мира пересмотр границ Советского Союза через полвека после войны — явление, не имеющее подобия в общечеловеческой истории. Передвижка рубежей на краю и внутри своей державы — без всяких претензий со стороны — уникум непостижимый для здравого рассудка. На языке военных — это наказуемое членовредительство, в дипломатии — грубое нарушение во вред себе (но себе ли только?) Хельсинкского соглашения о нерушимости сложившихся на начало семидесятых годов границ. Это соглашение имеет еще свежую юридическую силу. Оно подписано руководителями всех европейских стран и авторитетными свидетелями из-за океана. Случись это с любой другой страной, последовали бы акты Организации Объединенных Наций вроде вселенского похода против Ирака.

В попытке постичь это явление на память приходят горькие сравнения с отчаявшимися животными, когда медведь, угодив в капкан, отгрызает себе лапу. Или того горше: разыгравшаяся дворняга кусает себя за хвост, взлаивая от боли и вызывая лишь насмешку со стороны. Но капкан может и пригрезиться, тогда еще смешнее.

Внешних сил для сокрушения могучей славянской державы с тысячелетней историей ни в прошлом веке, ни в нынешнем не отыскалось. Пытались многие — не вышло. Летописцам предстоит по истечении годов доискаться причины добровольной сдачи страны в плен. Какой недуг изнутри низвел великую страну к самораспаду? Одному существу — Богу ли, царю или герою, — оказавшемуся у кормила, крах целого государства с громадным народонаселением был бы не по плечу. Быть может, от лукавого действовали наши политики, провозглашая выпущенные из черного сосуда цунами и смерчи явлениями созидательными? Где такое видано, чтобы горный сель или смещение пластов земли оставили бы по себе благо, одарили кладом или возделанной под новый посев нивой? Шокированные хаосом люди не спасают самих себя и детей своих, отдавшись на волю беспощадной стихии. В горле терпящих бедствие граждан обреченной страны застрял вселенский крик ужаса.

За последний год только на окраинах бывшей столицы и ее площадях скопилось сто двадцать тысяч разноплеменных беженцев, будто возле Ноева ковчега. Но ведь и Ною не дано гарантий на благополучное плавание к обетованным берегам. Молитвами Россию не убережешь от напасти, хотя кое-кто сейчас уповает на религию. По дороге к пропасти напрочь вылетели из головы слышанные когда-то от предков молитвы, забытые отцами в пору посещения ими курсов воинствующих безбожников... Грозный и неясный Богу ропот толпы, где смешались мольба и проклятия, возносится к небу...

А зачинатели этого хаоса вместо поисков путей спасения одурманенных ими же людей заняты сочинением мемуаров, предварительно продав их в твердой валюте за рубеж, видимо, заказчикам этой вселенской трагедии. Авторы репортажей о страданиях соотечественников упрямо надеются выжить в отличие от остального народа, всегда бывшего для них — остальным! В этой стране. И жить долго. Как и положено победителям. Ибо для суда над ними, по их прикидкам, не останется свидетелей. Или не оставят?

А. ВИНОГРАДОВ

ГОСПОДА, НА ВАШИ ВЗНОСЫ ЖИРЕЕТ ЗАГРАНИЦА

НЕ ПРЕСТУПНА ЛИ ПОЛИТИКА НЫНЕШНЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА?

«Заграница нам поможет! — сказал Остап. — Делайте взносы, господа!» И ополоумевшие старгородцы сделали взносы... Прошло шестьдесят лет, и вновь над великой страной из уст коллег очередного «гиганта мысли, отца русской демократии, особы, приближенной к императору» понеслось: «Заграница нам поможет!» И вновь радостно повторяется это на всех углах. Но, зная итог первого опыта, посмотрим на второй. «Заграница нам поможет!» Поможет ли?

Конечно, США и другие страны «семерки» могут напечатать свои бумажные купюры, но члены ЕЭС связаны жестким ограничением размера выпуска денежных знаков, а США, хотя и отправляли ежегодно в 1990—1991 годах по 3,5 млрд. долларов в СССР, не могут перейти через 7 млрд. — предел прироста средста в обращении. Кроме того, эти 3,5 млрд. долларов должны оставаться в России, не выходя на мировой рынок, так как в противном случае это вызовет финансовый кризис в США, обязанных дать обеспечение ничем не обеспеченным «деревянным» долларам. Приток же долларов к нам необходим США для замены на них рублей по курсу 26 : 1 и обесцениванию всего в стране в 49 раз. За 1990—1991 годы чистый рост цен составил 5,1 раза, то есть возможен дальнейший рост в 9—10 раз (без повышения зарплаты), что мы и наблюдаем сегодня. Нужна ли такая помощь России? Казалось бы, положение с финансами страны катастрофическое, внешний долг официально ухитрились увеличить за 1985—1991 годы с 31 до 71 млрд. долларов, то есть на 40 млрд., хотя пользы для России от этого никакой. За это же время в качестве процентов по долгу было выплачено 46,7 млрд. долларов (то есть на 6,7 млрд. больше, чем получено). Но, с другой стороны, проблемы долга нет вообще, потому что СССР, как правило, брал деньги в долг под залог в виде золота и алмазов. Таким образом за пределы государства в промежуток между 1985 и 1991 годами «утекло» почти 2 тыс. тонн золота, что составляет 28 млрд. 775 млн. долларов, а с алмазами и платиной эта сумма возрастает до 33 млрд. 275 млн. долларов, таким образом неоплаченный долг составляет всего 6 млрд. 700 млн. долларов, что в 100 раз меньше внешнего долга США, помощи которых у нас так лихорадочно ждут. Но не стоит забывать, что государственный долг других стран СССР составляет на сегодняшний день 92 млрд. долларов, а общий долг (включая долги частных фирм и коммерческих банков) составляет 424 млрд. долларов. Отметим, что при всей нашей вопиющей нищете СССР оказал в 1990—1991 годах помощь Венгрии в 5,5 млрд. долларов, Чехословакии — 5 млрд. долларов и т. д. Интересно, что единственным реальным результатом участия президента СССР в лондонской встрече «Большой семерки», о которой со слезами умиления писала вся наша демократическая пресса, явилось согласно сообщению Всемирной службы Би-би-си предоставление Западу 20 млрд. долларов, сэкономленных СССР на конверсии. Так кто кому помогает?

Валюты взаймы, судя по всему, стране не нужно. Есть своя, надо только получить. Но, может быть, обнищали мы ресурсами, все выкачали из родной земли и теперь пора идти по миру с протянутой рукой? Ничего подобного! Россия обладает 30% мировых запасов угля, 36% торфа, 40% нефти, 45% газа, 50% сланцев, 44% мировых запасов железных руд, 30% хромовых руд, 74% марганцевых руд, 40% редкоземельных и т. д. и т. п. В стране сосредоточено 28% мировой добычи алмазов и 30% — драгоценных камней. Население же у нас составляет 4,88% мирового. И эти без малого 5% мирового населения произвели в 1990—1991 годах почти 22% мировой добычи нефти, 45% — добычи газа, 15,5% электроэнергии (причем такие АЭС, как Ровеньская, Хмельницкая и Сосновоборская, давали электроэнергию только за рубеж, а отходы оставляли, естественно, нам). Производство стали в России составило 18—22% мирового, чугуна — 22%, проката — 23% и т. д. Причем более чем значительная часть всего этого ушла в Европу, от которой у нас так надрывно просят помощи, а пока весьма эффективно помогают ей сами. Так, экспорт редкоземельных и урановых руд в 1990—1991 годах вообще превысил все допустимые пределы, обеспечив годовой спрос НАТО. Здесь могут возразить, что Россия ввозит и сталь, и прокат. Но, во-первых, это делает и Германия, ввозя их из России, а во-вторых, их ввоз необходим для спасения разрушенных экономик стран Восточной Европы, а вовсе не России. Таким образом, страна не нуждается в топливно-энергетических ресурсах и металлах, поскольку является основным их производителем и поставщиком на мировой рынок.

Но, может быть, в России нет техники и оборудования? Ничего подобного. Россия производит 17,9% всей мировой машиностроительной продукции: из них 22% мирового производства металлорежущих станков, 46% комбайнов, 47% тракторов, 11,3% оборудования для пищевой промышленности, 63,2% энергетического оборудования, 27% самолетов, до 50% военной техники, 21% грузовых автомобилей и только 4,8% легковых. Таким образом наша страна является одним из крупнейших поставщиков машиностроительной продукции. И хотя Россия производит лишь 17,9% машиностроительной продукции, а капиталистические страны 73,1% (без КНР), о чрезвычайно высоком качестве нашего оборудования свидетельствует то, что на нем работает 35% базовых отраслей промышленности КНДР, 36% — Индии, 45% — Ирана, 65% — Ирака, 30% — Пакистана, 20% — Турции, 50% — Алжира, 25% — Египта, 50% — Ливии. А это отнюдь не отсталые страны. По крайней мере семь из них указываются как вероятные ядерные державы и три имеют баллистические ракеты. На плохом оборудова-

нии таких результатов не добьешься. В Аргентине, например, 25% электроэнергии вырабатывается на российском оборудовании. Мы производим лучшие в мире самолеты и космические корабли, что тоже невозможно без наличия высококлассной техники.

Могут возразить, что из-за границы в страну ввозится большое количество оборудования, но в 1991 году импорт его упал в 3—5 раз, и ничего страшного не произошло. Кроме того, очень часто из-за несовместимости в стандартах и технологиях западное оборудование в СССР вначале украшает цеха и заводские дворы, а затем позволяет выполнять планы по сдаче металлолома.

Конечно, можно сказать, что все это высокие материи, а жизнь есть жизнь. И где, скажите, пожалуйста, телевизоры, холодильники и вообще товары народного потребления? Статистика отвечает: страна произвела в 1990—1991 годах (в год) — 13,2 млрд. $м^2$ ткани, или 37,В $м^2$ на человека. Для сравнения — ФРГ 32 $м^2$ на человека. В том числе 75% мирового производства льняных тканей, шелка 12%, хлопчатобумажных 13%, шерстяных 19% — 2,6 $м^2$ на человека (для сравнения в ФРГ — 2,4 $м^2$, в США — 0,7 $м^2$). В стране катастрофически не хватает чулочно-носочных изделий и трикотажа. Но посмотрим, что же происходит на самом деле. Чулочно-носочных изделий страна выпускает 19—20% мирового производства, то есть 2,9 пары на человека (в Великобритании — 0,В; в США — 3,5 пары на человека). Трикотажных изделий в СССР было произведено 22% мирового, то есть в 2,5 раза больше Японии. Чудовищный дефицит обуви стал уже притчей во языцех, но ведь у нас в стране производится 27% мирового производства кожаной обуви, в 4 реза больше, чем в КНР, в 6 раз больше, чем в США, в 8 раз больше, чем в Японии. Многие наши соотечественники еще помнят отличную обувь «Скорохода» и других отечественных обувных фабрик. Казалось бы, при таком производстве никакого дефицита быть не должно. Может быть, в 1991 году было крупное сокращение производства? Тоже нет. Производство осталось на уровне 19В5 года. В сравнении с 1990 годом хлопчатобумажных тканей стало меньше лишь на 5%, шелка — на 8%, шерсти — на 9%, трикотажа — на 12%, чулочно-носочных изделий — на 8%, а обуви стало даже больше на 2%. Объяснение дефицита предельно простое — возрос вывоз. Он достиг (как официально, так и через СП) чудовищных цифр — хлопчатобумажных тканей 50%, шерстяных 42%, шелка 12%, то есть вывозится свыше 41% произведенных в стране тканей. Вот вам и нехватка. Нет товаров длительного пользования, и опять та же история. В 1991 году в стране возросло производство стиральных машин на 5%, магнитофонов — на 8%, пылесосов — на 7%, мясорубок — на 35%, магнитол — на 34%, машин типа «Зигзаг» — на 2%, а остальное осталось примерно на уровне 19В9—1990 годов. СССР произвел 9—10 млн. телевизоров (10,9% мирового производства, ФРГ — 5 млн., Япония — 12 млн.). Электропылесосов — 6 млн. шт. (12,4% мирового производства, Япония — 6,6 млн., ФРГ — 4,6 млн.). Утюгов мы производим 16 млн. шт. (15% мирового производства), холодильников — 6,5 млн. шт. (17,4% мирового производства, Япония — 5 млн.), стиральных машин 6 млн. (12,6% мирового производства, Япония — 4 млн., ФРГ — 2 млн.), фотоаппаратов — 3 млн. шт. (4,4% мирового производства), часов — 72 млн. шт. (17,1% мирового производства). Вот такие дела, дальше, как говорится, ехать некуда.

В 1991 году вывоз из страны и продажа внутри страны товаров народного потребления длительного пользования составили:

	Вывезено	Продано в СССР
холодильников	3,152 млн. шт.	3,448 млн. шт.
магнитофонов	2,516 млн. шт.	4,0В5 млн. шт.
пылесосов	2,631 млн. шт.	3,363 млн. шт.
мясорубок	650 тыс. шт.	350 тыс. шт.
магнитол	750 тыс. шт.	450 тыс. шт.
радиоприемников	3,589 млн. шт.	5,310 млн. шт.
швейных машин	624 тыс. шт.	976 тыс. шт.
стиральных машин	3,724 млн. шт.	3,876 мнл. шт.
фотоаппаратов	1,600 млн. шт.	1,400 млн. шт.
часов	56 млн. шт.	20 млн. шт.
автомобилей	720 тыс. шт.	200 тыс. шт.
телевизоров	7,420 млн. шт.	2,500 тыс. шт.

Ну кто же нам должен и может помочь? Вывоз из страны давно превысил все мыслимые и немыслимые пределы. Ведь дело доходит до анекдотических ситуаций. Так, официально в Турцию в 1990—1991 годах экспорта советских телевизоров не было, и тем не менее в нее ввезли их 2 млн. шт. — это 25% всего производства. Граждане и кооперативы вывезли из страны в 1990 году товаров народного потребления на сумму около 51 млрд. долларов (в том числе в ПНР по В67 долларов на каждого поляка). В 1991 году этот вывоз составил 1В0 млрд. долларов (в ПНР по 2599 долларов на человека). На решение той же «сверхважной» для нас задачи спасения жизненного уровня стран зарубежной Европы направлены и все усилия государственной внешней торговли.

Нас все время убаюкивают обещаниями, уверяя, что, когда придет «рынок», товаров отечественного производства станет столько, что некуда будет девать. «Ведь на Западе они никому не нужны!» — убеждают нас. Не обольщайтесь. Даже если в стране вдруг будет рынок и возрастут экспортные цены, товары из России будут брать за рубежом. Хотя мы и привыкли ругать все свое и гоняться за импортными нашлепками, там, «за бугром», цену советским товарам знают. Ну в самом деле, ведь не из-за большой дешевизны оказалось в Турции 2 млн. советских телевизоров, а в Африке советский холодильник, который а наших магазинах стоил 300—320 рублей, продавался за 2—2,5 тыс. долларов, что зачастую равнялось 7—10 годовым доходам. И их не хватало, а французские по 500 долларов старались не брать из-за их, увы, плохого качества. Так что, если и нужно применять какие-то меры по производству и реализации товаров народного потребления, то те, что применяли в свое время Япония и Китай, которые запрещали вывоз товаров за пределы страны до полного насыщения внутреннего рынка, а не те, что применяют власти РСФСР. И еще одно замечание. Вывезли, продали, а где же результат для страны? Где деньги?! И если постоянно нищает основная масса населения, то кто же тогда богатеет?

И, наконец, обратимся к самому больному вопросу — **продукты питания**. Полки магазинов пусты, пресса вопит об огромном ввозе и мизерном вывозе, народ обвиняется в патологической лени и т. д. и т. п. Статистика, свидетельствующая о наших продуктовых внешнеторговых операциях, крайне запутана. И тем не менее попробуем разобраться в этих почти детективных историях с хлебом, мясом, молоком и т. д. Итак, зерно! Средства массовой информации вновь, в январе 1992 года, сообщили нам, что стране не хватает 20 млн. тонн и поэтому неизбежны закупки на Западе. Что же, действительно только американские фермеры могут спасти нашу «обленившуюся» страну, или все не так уж и безнадежно?

В 1991 году СССР произвел 194 млн. тонн зерна, причем ячменя 29,5% мирового производства (или 5 урожаев США), пшеницы 16,2% мирового производства (или 2 — США), овса — 45,1% (или 4 — США), ржи — 55% мирового (или 12 — ФРГ), проса 2,5% мирового (или 2 — Австралии) и т. д., а также большую часть гречихи и гороха. Так нуждалась ли страна в импортном зерне? Вероятно, скажут, что зерно нам нужно кормовое, чтобы увеличить количество молока и мяса для трудящихся. Но и здесь мы сталкиваемся со странностями — кормового зерна страна производит от 10,1% до 13,7% мирового. «Пульс» наших зерновых закупок вообще необъясним, как необъясним с точки зрения здравого смысла тот факт, что советские организации, отвечающие за закупку зерна, старались делать это в Канаде и Аргентине, а власти предержащие закупали в США, Австралии и Франции. Причем откровенно заявляя, что делается это для исправления торгового дефицита названных стран, в качестве «жеста доброй воли». Во что обходится нашей стране подобная благотворительность, это разговор особый. Но что касается американского зерна, то, во-первых, до трети пшеницы составляли сорняки, мусор и зараженное зерно. Во-вторых, американскую кукурузу, ввозимую в СССР, согласно отечественным стандартам и технологиям можно использовать лишь для откорма свиней на сало и как добавку в корм птице, причем в очень малых количествах (во избежание падежа). И в-третьих, 5 кг американской кукурузы или 3 кг пшеницы по своим кормовым качествам равны **1 кг** русского овса, которого у нас 45,1% мирового производства, как в четырех США. Такие вот «пироги». А порой вообще случаются чудеса. Так, в 1990 году в балтийском порту советское судно было загружено советской пшеницей для юга СССР (хотя ее можно было провезти и по железной дороге) и, обогнув без погрузки или выгрузки всю Европу, доставило в Одессу **американскую** пшеницу. Как зерно «сменило гражданство», осталось загадкой. И в целом учесть объем такого «импорта» очень трудно. Стоит заметить также, что, в отличие от мифов о непомерных урожаях американских фермеров, правда не так радужна. Во всем мире урожаи зерновых с 1986 года практически не растут, а в США они упали с 271 млн. тонн в 1989 году до 186 млн. тонн в 1991 году. А ведь в 1986 году американские фермеры собрали 317 млн. тонн зерновых. Такие вот дела. Судя по всему, помощь в разрешении «зерновой проблемы» нам не нужна. Да и нет самой проблемы. Страна выращивает от 357 до 473 млн. тонн зерна, и для его уборки просто надо оставить бензин и технику дома, а не гнать их за границу.

Кто из нас не возмущался отсутствием молока и молочных продуктов в наших магазинах, кто не выстаивал в кошмарных очередях? Но ведь всего несколько лет назад никакой молочной проблемы в стране не было. Да, не было, но до тех пор, пока не вступили в строй новые мощности по производству сухого молока. И молочные реки резко сменили направление — не к нам, простым советским потребителям, а на Запад. Официальная статистика на такую информацию очень скупа. Так, официально считается, что СССР не ввозил молочные консервы в ЧССР, ГДР, ФРГ и Финляндию. Однако в Финляндии продается советская сгущенка, а в ЧССР она поступала прямо из России, но с немецкой маркировкой. На Алтае, например, с пуском производства сухого молока на вывоз за рубеж его уходит 75—90%, а раньше все шло на местное потребление. Мы производим 33,7% мирового выпуска молочных консервов. А где они? Там же, где и все остальные, там же, где, кстати, и знаменитое русское масло. Уже в 80-е годы во многих городах страны были введены карточки (талоны) на масло. За эти годы нормы упали с 1 кг до 200 г, а цены выросли с 3.50 руб. до 100 руб. и выше за кг. Может быть, так резко упало производство? Ничего подобного. Производство масла по сравнению с 1972 годом **возросло на треть**. Но в 1972 году у нас в стране не было проблем с маслом, оно лежало во всех магазинах. Стремительного роста населения за эти годы также не наблюдалось. Так в чем же дело? Ответ все тот же. Уехало за границу. Общая безрадостная картина такова: СССР производил 1,8—1,9 млн. тонн масла, что составляет 21,4% мирового производства, при населении, составляющем 4,88% мирового. На одного человека у нас приходится на 26% больше масла, чем в благополучной Великобритании. Официальная советская статистика утверждает, что в СССР ввозилось от 200 до 450 тыс. тонн масла в год из других стран. Интересно, из каких? Согласно статистике и социалистических и капиталистических стран они сами потребляли его больше, чем производили: Болгария на 6 тыс. тонн, Польша на 90 тыс. тонн, Чехословакия на 1 тыс. тонн, Югославия на 1 тыс. тонн, Венгрия на 14 тыс. т, Италия на 57 тыс. т, Британия на 141 тыс. т, Финляндия на 3 тыс. т, ФРГ на 16 тыс. т, Япония на 16 тыс. т, США на 1 тыс. т, Бельгия на 10 тыс. т. Свое масло на продажу на мировом рынке вывозили только Дания, Франция, Нидерланды, Австралия и Новая Зеландия. В нашей стране, как в зеркале, отразились все перипетии международной торговли маслом. В 1972 году масла в странах Западной Европы и США вполне хватало, и у нас никто не помышлял о карточной системе. В 1985 году нехватка масла на мировом рынке составила 166,4 тыс. т, и в Союзе, соответственно, несмотря на рост производства, появились талоны. В 1990—1991 годах нехватка масла за рубежом составила 595 тыс. тонн, и в СССР, где все время увеличивалось его производство, масло вдруг исчезло. Ну а что же наша статистика? Она скромно умалчивает о многом. Так, в частности, в советской статистике указывалось на то, что в середине 80-х годов советское масло не ввозилось в Эфиопию, но его доставляли туда самолетами и продавали в Аддис-Абебе по 7 руб. 50 коп. за килограмм. Аналогичная ситуация с поставками масла в Великобританию, «не замеченными» нашей статистикой, но наличествующими в магазинах Лондона.

Примерно та же банальная история и с мясом. В 1991 году производство мяса в России осталось на уровне 1986 года и составило

11,7% мирового производства (больше производили только КНР и США). В 70-е годы на мировом рынке был излишек мяса в 210 тыс. тонн, и в Союзе мясо продавалось свободно. В 1985 году нехватка его на мировом рынке составила 359 тыс. тонн, а 1986 году — 637 тыс. тонн, в 1988-м — 670 тыс. тонн, в 1989-м — 600 тыс. тонн и в 1990 году — до 1 млн. тонн. Характерно, что уже в 1988 году в СССР было потреблено мяса и мясопродуктов на 668 тыс. тонн меньше, чем произведено. Если при этом учесть чрезвычайно высокое потребление его в столицах, западных и южных республиках, то в исконно русских областях оставалось около 25% того, что они производили. Как раз на уровне Ирана или феллахов Египта. В 1991 году экспорт возрос еще больше и достиг 3,396 млн. тонн, так что мясом себя Россия вполне снабдит, и если ждать от кого-то помощи, то скорее от Монголии, чем от США и стран Запада.

Еще один наш «больной» дефицит — сахар. В 1990—1991 годах СССР произвел 15,7% всего мирового сахара, что в 2 раза больше, чем США, и не ниже производства 80-х годов, когда сахарной «проблемы» не существовало. Чем же объяснить существующее сегодня ненормальное положение? Объясняется оно тем, что в конце 80-х годов мировое производство сахара сократилось, что соответственно вызвало рост цен в 2—3 раза. Кроме того, выяснилось, что выработанный по советским технологиям желтый свекольный сахар в отличие от тростникового или свекольного европейского полезен. Нужно было решить следующую проблему: обеспечить западных потребителей полезным свекольным сахаром, снизить цены на мировом рынке и сохранить как доходы, так и рабочие места в сахарной промышленности Запада. Задача была решена блестяще. Из СССР было вывезено 3,6—4,3 млн. тонн сахара. Кроме того, Советский Союз резко сократил закупку сахара на Кубе. В результате этой операции кубинский сахар был выброшен на мировой рынок, и цены поползли вниз. Вместо проданного на Запад отечественного сахара для покрытия его нехватки в стране власти провели закупки за рубежом, но не у Бразилии или развивающихся стран (что было бы дешевле), а у стран Запада, которые по высокой цене продали до 700 тыс. тонн своего сахара, не шедшего раньше на мировой рынок из-за невысоких потребительских качеств. Тем самым были сохранены и западная сахарная промышленность, и ее доходы, а оплатили эту «блестящую» операцию мы с вами из собственных карманов. Опыт, завершившийся столь успешно, будет, судя по всему, продолжен. В 1992 году наши «власти предержащие» вновь собираются закупать сахар в Европе и США, а своим расплачиваться с «цивилизованным» миром.

Аналогичное положение и с другими видами продуктов. Наша страна производит 12,7% мирового производства пищевого растительного масла — где оно? 30,7% мирового производства кондитерских изделий на уровне трех ФРГ, а наши дети уже забыли, как выглядят конфеты и печенье. Мы производим 19,6% мирового производства шоколада (лучшего в мире), а наши прилавки завалены дорогущим и не ахти каким по вкусовым качествам шоколадом «Марс». Страна выпускает от 15—20% мирового производства различных видов консервов (в том числе рыбных — 42% мирового производства). В прошедшем 1991 году советскими консервами «Сайра» была буквально завалена Югославия. А вы их видали в наших магазинах? Нет. Ну зато жители обеих столиц удостоились чести познакомиться с высокими вкусовыми качествами собачьих

и кошачьих консервов из ФРГ, куда они, в свою очередь, поступают прямым сообщением с мясокомбинатов Северного Кавказа. В 1991 году в СССР было произведено 12,2% от мирового производства маргарина, которого нет в наших магазинах, а ведь его изготовили столько же, сколько в двух США или трех ФРГ.

И, наконец, витамины — фрукты, овощи, ягоды. Как обстоят дела с ними? В стране собирают в среднем в год: 8—11 млн. тонн яблок (30% мирового сбора), 3 млн. тонн груш (27% мирового сбора), 1 млн. тонн вишни (35% мирового сбора), 2 млн. тонн сливы (44%), 0,8 млн. тонн абрикосов (70% мирового сбора), 4 млн. тонн дынь (80% мирового сбора), овощи — от 29 до 45 млн. тонн.

Сведем вместе все вышеперечисленные цифры, посмотрим на них и, конечно, скажем: «Невероятно богатая страна!» Кто же ей может помочь? Неужели заграница? Вряд ли. Сейчас у нас в стране широко рекламируется так называемая гуманитарная помощь Запада, составившая в 1990 году 14 300 тонн продовольствия — по полкотлете на человека, 522 т медикаментов — по 3 таблетки аспирина, 211 т старой одежды и обуви — по 0,0001 ботинка на человека. Много это или мало? Нам надо для выхода из кризиса в течение года в рамках старой системы 545 млрд. долларов (напомним, что долг других стран СССР равен 424 млрд. долларов). А если кто-нибудь захочет нам помочь перейти к западной системе по самому мягкому немецкому варианту, то понадобится 19 триллионов 279 млрд. долларов. Таких денег ни у кого нет! Таким образом, помощи от заграницы ждать не приходится. И эксперимент обречен на провал. Но сыновей и внуков «комиссаров в пыльных шлемах» это не страшит. Ведь от риска перехода румынской границы с «бронзулетками» на спине их избавит Аэрофлот и «Лионский кредит». И они улетят в солнечные Майами и Рио-де-Жанейро, оставив обворованной стране «общечеловеческие ценности», ведь «заграница им поможет!».

Не преступна ли подобная политика нынешнего правительства?

●

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

О. ГУСАРЕВИЧ,
механик колхоза «50 лет Октября»
Орловская обл., с. Троицкое

КАК «ПАЛ» ДЕВСТВЕННЫЙ СОЦИАЛИЗМ?

1

Рейган, будучи у власти, сказал: «Мы будем присутствовать при закрытии последней страницы истории, называемой коммунизмом». И это произошло по воле коммунистического генсека. Последнюю страницу вырвали с корнем и пишут заново. Мы попытаемся ответить на вопрос: «Как это все случилось?» — с точки зрения политической экономии.

Наш кризис — это прежде всего производственный кризис. Его истоки в глубине промышленности и земледелия, и лишь затем он поразил образование, культуру, науку, медицину, семью, армию, спорт, стал обширным кризисом всего общества и опрокинул социализм.

Победное наступление рынка обнаружилось в политической экономии лет десять назад в невинном споре о том, действует ли при социализме закон стоимости. Победу одержали «купцы», «товарники», «торгаши». Было торжественно провозглашено, что отныне закон стоимости выпускается из тюрьмы, и профессор Валовой показал по телевидению на всю страну на картинке из журнала «Крокодил», как это произошло. Из тесных научных кругов спор вырвался на бескрайний простор газет, журналов и телевидения и стал государственной политикой. В брошюре «Социализм мысли против социализма чувств» А. Стреляный образно выразил суть спора так: «Кавалеристы из института красной профессуры отменили закон стоимости дружным поднятием кавалерийских сабель». Он доказывает, что «закон стоимости действует так же неумолимо, как и закон всемирного тяготения».

Так как же действует неумолимый закон всемирного тяготения? Посмотрите на самолет. Когда он летит горизонтально, сила тяготения приложена перпендикулярно к направлению движения и согласно законам физики работы не производит, не действует, ей не дает действовать подъемная сила крыла. Как говорят торгаши, она посажена в тюрьму. Если же самолет падает, она производит работу, а значит, действует. Это авария, это закон тяготения «из тюрьмы выпускается».

Посмотрите на спутник. Там сила тяготения не только не действует, но даже не ощущается. И тем не менее спутник не покидает земные пределы — стало быть, она есть. Разница между самолетом и спутником в том, что она по-разному заключена в тюрьму. В самолете подъемная сила приложена к полу, и тяготение ощущается. А в спутнике центробежная сила вращения вокруг Земли уравновешивает силу тяготения в каждом атоме тела. Это невесомость.

Итак, самолеты и спутники не падают потому, что человек вызывает силы, не дающие действовать силам земного притяжения. Это технический прогресс. Подобно этому человек может не дать действовать силам товарных законов и закона стоимости. Это социальный прогресс. Эту способность общества можно назвать с о ц и а л и з м о м. И наоборот, когда самолеты и спутники падают — действуют неумолимые силы всемирного тяготения, однако причины аварий ищут в «черных ящиках». Также и общество. Когда производство выходит из-под контроля, душит людей и гибнет — в действие вступают неумолимые силы товарных законов, это «закон стоимости вышел из тюрьмы», эта авария называется кризисом. И я не разделяю ликования торгашей. Причины этой аварии надо искать в «черном ящике», называемом политической экономией.

Я везде применял вульгарные выражения «закон действует» и «закон не действует» и должен оговориться. Действуют только силы, а законы лишь описывают эти действия. Они говорят, как силы возникают, от чего зависят их величина и направление, как одна сила вызывает другую, как они взаимодействуют и какую производят работу.

Рынок же — это власть товара и товарных отношений над производителем, это нечто противоположное социализму. Причем определение социализма как способности общества преодолевать силы товарных законов подобно способности преодолевать силы всемирного тяготения не только проясняет суть социализма, но и определяет его пределы. Длительная земная невесомость вызывает в организме необратимые изменения, однако люди постепенно справляются с последствиями невесомости. Чрезмерная социальная невесомость также обессиливает общество, и встает задача научиться справляться с губительными последствиями социальной невесомости. Человеку нужны и земное притяжение и способность преодолевать его. Обществу также необходимы товарное притяжение, власть товара — рынок и способность, когда надо эту власть преодолевать — социализм.

Говорят, социализм и рынок несовместимы. Да, это непримиримые противоположности. Борьба между ними составляет суть развития современного производства. Наша задача не довести эти противоречия до антагонизма, разрушающего общество, то есть до гражданской войны. Такая способность общества также есть социализм.

2

Маркс указывал на «свойственную человеку казуистику менять вещи, меняя их названия». Сторонники рынка так и делали. Одной из первых причин кризиса реформаторы назвали «волевые методы управления». При этом возникла такая психологическая обстановкв, что никто даже и не спросил: а возможны ли «безвольные методы управления»? Ведь лучшим в мире производством управляют волевые люди. Королев, Курчатов, Туполев, Ильюшин были волевыми людьми. Только сильная воля способна объединить миллионы людей. Поэтому причиной кризиса стали называть «административные методы управления». «Администрация» переводится с

латыни как «руководство» или «управление». Выходит, «административные методы управления» — это управленческие методы управления? Но ведь это галиматья! Реформаторы чувствуют это и уточняют его такими понятиями, как «командные», «приказные» или «административно-командные» методы управления, подразумевая все ту же ненавистную им способность общества противостоять товарным и рыночным силам. Но и рыночное производство невозможно без управления, а управление осуществляется приказами и командами. Выход нашли в западном термине «тоталитарная система». Теперь реформаторы шельмуют социализм под кличкой «тоталитаризм».

До августовской революции сторонники рынка не могли открыто говорить о восстановлении капитализма. И здесь им неоценимую услугу оказала наука. Она объявила о переходе к «экономическим методам хозяйствования». Но ведь экономика или хозяйство означают способ производства. Капиталистическая или социалистическая экономика означает капиталистический или социалистический способ производства, капиталистическое или социалистическое хозяйство. Все словари понятие «экономика» определяют понятием «хозяйство». Словарь «Политическая экономия» Волкова говорит, что «экономика — это хозяйство страны», а словарь Ожегова, что «хозяйство — это экономика». «Экономика» переводится с латыни как «ведение хозяйства», оба эти слова — синонимы и обозначают общественное производство в широком смысле. В науке и публицистике применяется множество оттенков этих слов. Хозяйское отношение — это экономное или бережное отношение. Крепкое хозяйство или экономика означает высокое развитие производительных сил. Экономический кризис — это производственный кризис.

Зарплата и распределение также относятся к экономике и хозяйствованию. Семья, воспитание детей, школы, больницы, музеи, училища, оперы, театры — все имеют экономику и свое хозяйство. Таким образом экономика или хозяйство в политической экономии — это всеобщие понятия производственной деятельности подобно тому, как материя и сознание — всеобщие понятия философии.

Применение этих обширных понятий во всевозможных сочетаниях и оттенках создает в науке и публицистике богатую палитру красок и дымку многозначительности, за которой подразумевается глубина содержания. Это и губит науку. Термины отличаются от художественного слова тем же, чем чертеж отличается от картины. Черная тушь на белом ватмане однозначно передает техническую мысль. Многозначительная игра красок в картине художника передает его чувства. Поэтому наука приносит смысловое богатство слов в жертву точности, простоте и ясности терминов. Такого рода прием «затемнения» мысли весьма распространен у наших академистов, приверженцев новой экономической политики, когда они провозглашают «переход от административных методов управления экономикой к экономическим методам хозяйствования», — ведь эта бессмыслица означает «переход от управленческих приемов управления производством к производственным приемам производства», — глупость, но мы чувствуем, что надо переходить от чего-то плохого к чему-то хорошему. То есть от социализма к рынку.

3

Этой болезнью поражены многие термины политической экономии, в том числе и такой распространенный, как себестоимость. Словарь «Политическая экономия» определяет себестоимость как издержки производства. У Маркса этого термина нет. В четырех томах «Капитала», на четырех тысячах страниц «себестоимость» встречается один раз в цитате вульгарного экономиста. Почему дополнительно к таким простым и ясным понятиям, как «издержки производства», «цена», «стоимость», понадобился термин «вульгарная экономика»?

Стоимость означает общественно необходимые затраты труда. Поэтому каждое отдельное производство необходимые для себя затраты называют своей индивидуальной стоимостью, или «стоимостью для себя», или «себестоимостью». Как эта научная путаница сбивает с толку, видно на примере статьи профессора Хасбулатова «Кто диктует цены?» («Комсомольская правда», 02.06.87 г.), в которой он с возмущением спрашивает: «Почему отечественные джинсы должны продаваться по 60 рублей, когда красная цена им 20 рублей?» Статья играет на самых сильных чувствах. Читатель разделяет возмущение автора и вместе с ним ищет, из кого вытрясти душу. Однако случилось так, что читатели стали демократическими избирателями, автор стал главой российского парламента, а джинсы стали стоить 600 рублей. Поэтому разберем упомянутый пример. Если джинсы без труда находят покупателей по цене 60 или 600 рублей, значит, цена соответствует стоимости, а разница с красной ценой состоит из следующего.

Во-первых, в издержках производства (себестоимости) джинсов сырье, энергия и т. д. учтены в ценах, отличающихся от стоимости, как говорит американский ученый Леонтьев, в сотни раз. Эта дикая разница всплывает в цене готовой продукции.

Во-вторых, в себестоимости (издержках производства) учитывается только прибыль предприятия. Но это далеко не вся та прибавочная стоимость, за счет которой осуществляется оборона, развитие производства, науки, образования, медицины и т. д. Если рабочий за изготовление джинсов получает 10 рублей, то в их стоимости по различным оценкам содержится от 10 до 40 рублей прибавочной стоимости.

В-третьих, суть стоимости такова, что учитывает не только затраты на производство джинсов, но также затраты, необходимые обществу для производства всех товаров этого назначения — брюк. Но покупатель предпочитает модные джинсы, поэтому цена на них выше, а на брюки ниже, а в целом они все вместе будут проданы по своей стоимости.

В-четвертых, предположим, общество производит ежемесячно необходимых жизненных средств на 25 млрд. рублей. Чтобы их купить, надо 25 млрд. зарплаты. Но мы, как известно, получаем больше, например, 30 млрд. Если мы хотим устроить социализм, то разница в 5 млрд. — это грубейшая ошибка в расчетах. Она исправляется расчетным повышением цен, увеличением производства и приостановлением роста зарплаты. Если же над нами господствуют товарные отношения, то разница в 5 млрд. — это обычный прием рынка, позволяющий получать 100, 300 и даже 1000 процентов прибыли. Однако и рынок может воспользоваться этим приемом лишь кратковременно, рано или поздно и ему

придется приводить совокупную зарплату рабочих в соответствие с совокупным производством необходимых жизненных средств. Он это делает также повышением цен, увеличением производства и снижением зарплаты. Социализм и рынок отличаются не по сути, а по форме. Рынок это делает свирепо и безжалостно. Он просто скручивает быдло в бараний рог. Социализм же предполагает отношение к рабочему как к человеку и требует его участия в разрешении этих вопросов. Социализм — это осознанная необходимость. И политическая экономия призвана раскрыть людям их действительные отношения в производстве и распределении. Но такими понятиями, как «себестоимость», она их запутывает до неузнаваемости. Разница между стоимостью и себестоимостью воспринимается как грабеж народа государством, и люди отвечают тем же. И вот квартирный грабитель защищается на суде мыслями профессора Хасбулатова: «У нас всякий товар в 10—20 раз дороже себя: легковой автомобиль, мебель из ДСП, водка... У нас рубль — дрянь! Деньги — ложь! Я только винтик в этой системе» («Комсомольская правда», 27.03.89 г.).

Павел Флоренский говорил, что «современная наука устроила из понятий тюрьму для сознания народа», а Лев Толстой выражался еще резче: «Газетная и журнальная деятельность, — писал он в дневнике, — умственный бордель, из которого нет возврата».

Еще пример соотношения стоимости и себестоимости. Килограмм стирального порошка когда-то стоил 30 коп., и эта ценв вполне соответствовала себестоимости. Но закон стоимости вынудил по-иному учесть сырье, энергию, прибавочную стоимость, и цена порошка стала стремительно расти. Потом выяснилось, что городская семья из четырех человек расходует этот килограмм за две недели и выпускает в канализацию, расходуя по 300 литров воды на человека в день. То есть в стоимости 1 кг порошка сидит очистка 18 тонн сточных вод. Но и это еще не все. Во многих городах и поселках очистки сточных вод нет, они заражают реки, питьевую воду и приносят такой ущерб, по сравнению с которым себестоимость порошка — капля в море. Вот почему порошок теперь стоит 25 рублей пачка.

Стоимость бензина — также загадка. Когда-то его красная цена была 7 коп. литр. И она соответствовала себестоимости. Однако, кроме всего вышеперечисленного, на стоимость бензина влияют еще два обстоятельства. Стоимость любого товара предполагает его воспроизводство, но нефть — невозобновимый продукт, поэтому воспроизводство энергии в прежних размерах возможно за счет других ее видов: ядерной, термоядерной, ветровой, солнечной, приливной и т. д. Поэтому стоимость бензина включает в себя эти затраты и выражает стоимость воспроизводства энергии в целом. Кроме того, производство энергии потребовало колоссального страхового фонда, соизмеримого с затратами на самое производство: это Чернобыль, Челябинск, взрывы трубопроводов, неимоверные загрязнения природы и т. д. Поэтому цена бензина увеличилась в 10 раз и уверенно приближается к мировым ценам.

Ходит такая шутка: «Два экономиста — три мнения». Неискушенные в экономическом словоблудии удивляются, зачем же так запутывать понятия? Ведь из них действительно устроили тюрьму для сознания народа! На этот вопрос ответил Кант: «Какая в самом деле может быть честь в том, чтобы утверждать положения, столь легко доказуемые? — писал он более двухсот лет назад. — Утонченное заблуждение представляет привлекательность для самолюбия, с удовольствием ощущающего свою собственную силу; напротив, очевидные истины усматриваются настолько легко и столь обычным рассудком, что с ними в конце концов происходит то же самое, что и с теми песнями, которые становятся надоедливыми, как скоро звуки их доносятся к нам из уст черни. Одним словом, некоторые познания ценятся не потому, что они правильны, но потому, что они имеют известную ценность, и дешево стоящая истина не вызовет к ней большого доверия».

Итак, возвращение к первобытному рынку возвращает нас к классической политической экономии, к Марксу и к последней странице нашей истории. Кровавая резня тридцатых годов шла под барабанный бой чистоты марксизма. Мрак того времени и марксизм слились в сердце интеллигента в сплошное кровавое месиво. При упоминании о марксизме содрогаются чуткие интеллигентные души, и в истерике родился вопль: «Долой идеологическую девственность!» Мы склонили головы перед светлой памятью генетики и кибернетики, но о гибели марксизма еще не сказано. Генетики и кибернетики погибли в борьбе за свои убеждения. Марксизм же погиб иначе. Расправа с генетиками и кибернетиками творилась «марксистами» в погонах НКВД по приказу «марксистского» диктатора. Кафедры марксизма и общественных наук стали научными осведомителями марксистской полиции для травли славных имен. Они получили неограниченную власть определять, что такое прогресс, и насилием принуждать к нему. Поколение марксистских жандармов ушло, но их многочисленные наследники наследовали ключевые посты в науке, обществе и государстве. В итоге шаталины, явлинские и гайдары стали создавать утопические проекты развитого социализма, а потом дружно повернули к капиталу. Теперь они возглавили антикоммунистические течения и мстят народу за свое научное ничтожество. Они опять у власти. И на вопрос о том, как же выйти из кризиса, их ответ опять оказался ложным. Рынок сам источник кризисов, а не средство от них. Чтобы выйти из кризиса, передовые страны первым делом ограничивают влияние рынка и усиливают влияние центра, реформаторы же наши делают все наоборот. Вот, например, что говорил один западногерманский ученый лет десять назад: «Вы на словах клянетесь в верности Марксу, а на деле используете его плохо. А мы его используем вовсю, хотя этого нигде не афишируем».

А экономист из Австрии Л. Маше Суниц писал в «Правде» 19.01.88 года: «Меня удивляет и поражает, с какой последовательностью буржуазная политическая экономия придерживается в частных вопросах экономического учения Маркса и с каким упорством советская политическая экономия, на словах объявляя веру в Маркса, по существу от него отпихивается». Вот почему передовым странам удается избегать кризисов или существенно ослаблять их влияние и почему это не удалось нашим реформаторам. Зато им теперь не надо униженно цитировать Маркса, они теперь его открыто травят.

Чтобы вернуться к Марксу, надо отделить его учение от преступлений марксистской инквизиции.

Владимир ЗАРУБИН

ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ

На волне ничем не обоснованной русофобии, еврейского солипсизма и разномастного национализма, исподволь лелеемого лжеинтернациональными идеологами, перестройка близится к завершению, пройдя пик невероятного явления 19—21 августа 1991 года. До этого были жалкие попытки русских патриотов, похожие на увещевания и заклинания, доказать кому-то, может, всему миру, что русский народ не виноват в своей гибели и гибели своей культуры. Но эти заклинания и увещевания после семидесяти лет умолчания были организованно встречены презрительными усмешками и циничными выпадами мгновенно перестроившейся прессы при поддержке всего конклава мировой русофобии, раньше называвшейся антисоветчиной, а ныне заговорившей в унисон с теми писателями, которые, побывав в Европах и Америках, стали известны «всему миру» гораздо больше, нежели в местах проживания.

Полная экономическая разруха, которая наступила в стране в результате, скажем, теперь уже не перестройки, а *перерасстройки*, петлей инфляции туго впилась в шею малообеспеченной части населения, и недолго ждать асфикции. Но эта «малообеспеченная часть», если не мудрствовать лукаво, составляется из рабочих и колхозников и, как ни считай, включает полностью затюканное советскими интеллектуалами русское население.

Все малые народы варились в общем котле коммунистической идеологии, составляя сталинско-сусловскую похлебку под названием «советский народ», но русские люди лишь в том и виноваты, что, находясь в этническом большинстве, не возмутились, теряя последнюю русскость, а примирились: хоть горшком назови, только в печь не суй! Русский национализм преследовался и преследуется, особенно теперь, пожалуй, жестче, чем любой иной. А практически русского национализма не видать на все четыре стороны света, куда ни всматривайся и каким научным методом ни вооружайся. Так было испокон веков от Рюрика до Джугашвили, так будет, пока русских окончательно не удушат, завершив перестройку.

И теперь-то можно разглядеть, что она, перестройка, отнюдь не являлась только *нашим* внутригосударственным делом, а жила в умах как планетарная идея строительства единого *мирового дома*. Видимо, в этом «доме» русским людям не планировалось не токмо своей «комнатки», но и вида на жилье...

Эти грустные мысли приходят, когда задним умом постигаешь «значение» Октябрьской революции, сравнивая ее с нынешней

перестройкой. Там были пламенные большевики-революционеры, тут воспламенились демократы-перестройщики. Последние и не скрывают своей близости по духу и родственных чувств к первым. Один только Иосиф удосужился тумаков. Строителя тотального государства с безликой аббревиатурой в названии и впрямь можно заподозрить чуть ли не в русофильстве. И то лишь потому, что не мог он со своим «сбродом тонкошеих вождей», как характеризовал их поэт, полностью уничтожить русских людей! Не мог. Это было невозможно и физически и по идеологическим причинам: кто бы тогда построил Союз Советских Социалистических Республик?!

И тут еще одна вина может быть инкриминирована русскому народу — он не противился созданию этого супергосударства. Не противился, а строил его с голым задом и бесплатно, а в 1941—1945 годах и защищал — еще одна вина! — от нашествия германского фашизма.

И как начнешь размышлять обо всем этом, то становится невмоготу — кругом виноват русский народ: сделал революцию, провел гражданскую войну, заключил себя в колхозы и ГУЛАГ, разбил немцев под Москвой и Сталинградом, взял Берлин, создал атомную и водородную бомбы и много чего еще сделал предосудительного на взгляд пламенных демократов-перестройщиков.

Но не хочет, бестолочь, перестройку делать так, как ее спланировали демократы. Не хочет, хоть ты его убей. И стали действительно убивать. Мировая коммунистическая революция его не берет, в «гражданке» он частично уцелел, в колхозах не сдох, фашистам не сдался, на стройках коммунизма не спился окончательно. Извести его можно только чернобылями. Но рвать атомные котлы — себе дороже. Этих русских еще аж почти 150 миллионов!

Удушить его можно только экономически. Пять лет с начала перестройки разжигали в прессе беспардонную русофобию, чтобы вызвать ответную реакцию, чтобы он полез, как медведь, на рогатину. «Советские» писатели буквально вопили по поводу «русского фашизма», который им мерещился даже в «призраке коммунизма». Увы, молчит народ. Водку жрет и молчит. Убрать водку. Самогонку жрет. Убрать сахар. Одеколон пьет. Убрать одеколон, к «Шанели» вряд ли пристрастишься, больно дорого. Все убрали! В магазинах — ни шиша. И дорого, если что-то есть. Теперь передóхнут эти русские от нитратов в капусте. Говорят, ее хоть квась, хоть не квась, а они не выводятся.

Жрем эти нитраты, нуклеидами атомных станций запиваем. Теперь подождать надо, поглядеть: че будет?

А Ванька хрумкает гнилую капусту и, наверное, сукин сын, думает про себя: «Ничо. Перезимуем... Пока нас сто писят мильонов вымрет, то и остальные сто писят — туда же». Фашист проклятый!

И верно ведь! Что толку в башкирском, татарском и даже украинском суверенитете и нэзалэжности? Корабль тонет — на плотах из воронки не выплывешь, все «меньшие братья» нахлебаются этих нитратов и нуклеидов и следом булькнут, если не раньше того.

В этом — только в этом! — и проявляется «русский шовинизм». В непротивлении злу насилием.

Трудно сказать, чтó это: то ли болезнь русского народа, то ли его сила. Ни фашизма, ни шовинизма и даже антисемитизма не

могла за шесть лет разжечь в России советская пресса. Раньше эта пресса была вся красной от коммунистической натуги, при перестройке оранжевой, потом желтой, теперь зеленеет, подернулась голубизной. Остается посинеть и достигнуть последнего цвета радуги — фиолетового, цвета мертвечины. Это и будет концом перестройки.

Но передóхнут ли все простые русские люди — вот вопрос! Как бы пламенные демократы вновь не просчитались и лет этак через пятьдесят не стали вновь обвинять русский народ за то, что он затеял перестройку. Уже сидит какой-нибудь Кляйнманн и пишет роман под названием «Все вытекло», бывший коммунист, но веривший более в Нострадамуса, чем в Маркса.

Но если говорить о народе, то настрадался он и от того и от другого пророков земного бытия, а лучше сказать, от их сторонников, проповедников и последователей. Народ же шатнулся за коммунистами, но не проявил последовательности, смирился с «нарушителем» марксизма-ленинизма Сталиным. Так ведь преподавали: ошибки культа, искажение «ленинизма», пока не сообразили, что никакого искажения не было — Джугашвили четко провел Ильичеву линию. Ныне Ленина уже не чтут и под шумок разрешили железного Феликса и кровавого Янкеля с постаментов своротить. Наверное, скоро и Мавзолей прикроют. И, между прочим, русский народ уже пошел за демократами — выбрал себе самого демократического Президента. Так что обязательно будет виновен русский народ в совершении этой перестройки!

Мы уже перешагнули черту необратимости. ЧуК и ГеК помогли. Если кто помнит произведение очень советского писателя Гайдара о том, как два мальчика переполох наделали. Но там все хорошо обошлось. Тут тоже, слава Богу, обошлось. Правда, не два, а восемь мальчиков устроили ЧуоГеКиану, чуть ли не ГеПеУ с ЧеКой или что-то в этом роде, ГэКаЧеПе — одним словом. Больше всех должна была перепугаться Европа, когда смолкла бесовщина и по московскому телевидению разлилось «Лебединое озеро». Действительно ЧП.

Все эти годы красно-оранжево-желтые культурмахеры потчевали нас роком и страхами о «русском фашизме», раздували резиновую куклу под названием «Память», и вдруг как снег на голову: «патриотический переворот»! 19 августа русские патриоты должны были бы вздрогнуть от внутреннего толчка: «Наши пришли!!!» Должны были бы, если бы в подкорке у русских была бы хоть капля яда национализма. Никто не вздрогнул. Ловите их теперь. Сколько оказалось? Восемь? Четырнадцать? Да хоть четырнадцать тысяч! Что это значит? Ровным счетом ничего, если русских сто сорок миллионов... Впрочем, никто не знает точно, сколько их на самом деле.

19-го утром русские патриоты, а патриоты — все русские! — конечно, вздрогнули и мысленно произнесли одно слово: «Провокация!» И это было в самом деле самой величайшей в мире провокацией. На первый взгляд выиграли демократы, сорвали коммунистический банк. А нам все равно: власть от коммунистов перейдет к демократам. Вместо «товарищ секретарь» научимся произносить слова «господин председатель» — что от этого изменится?

Не стану упрекать демократов в том, что они развалили Советский Союз — это было бы несправедливо. Его развалили сами

коммунисты, играя всеми цветами радуги. Они развалили все в стране: медицину, образование, культуру, экономику. Что ж такого, если эти разрушители теперь самоназвались демократами? Сокрушать государства начали коммунисты, марксисты, ленинцы. У них мечта такая с детства, они ею бредили: все государства разрушить, осуществив мировую революцию, и построить коммунизм — единый строй. Не получилось таким путем, как замыслил его Володя Ульянов? Что ж! Как истинные ленинцы, они сказали: «Мы пойдем иным путем!» И пошли. Что мы теперь строим? Европейский дом! Сначала европейский, а далее — мировой будем строить, чтобы жить в единой коммуне.

ГеКаЧеПуховина показала, что никакого фашизма, русского национализма, шовинизма и так далее вплоть до антисемитизма не существует. Русский коммунизм тоже отсутствует. Народ не идет ни за коммунистами, ни за демократами. Он поступает мудро. Жрет нитраты и ждет, что будет: может, горожане быстрее вымрут? Но горожане тоже ушлые стали — «фазенды» по четыре сотки завели, думают выжить. Сообразили, что коммунизму не бывать, но его не миновать, только в иной форме. Это ведь только в России в конце XX века дипломированный инженер, врач или учитель и офицер кадровый сейчас роется в земле, заботливо выращивая безнитратный помидор или кочан капусты. В других странах, поди, такого нет. А чернобыльская пыльца веет по всей планете! Веет, навевая мутационные всплески. Дебилизация по всему миру блаженствует. Интеллигенция деградирует быстрее. А народу что? Он как был темным, таким и пребывает, и как были в нем светочи нравственности при всей его необразованности, так они и светятся. Народ, как природа, а он и есть сама природа, ждет, когда самоуничтожатся пассионарные подонки, среди которых то СПИД полыхает, то наркомания дымится.

К восьмидесятым годам вся партийная элита уже стояла за последней чертой. Она сожгла себя в карьеризме, в пьянстве, в коррупции, взяточничестве, в ежедневной постоянной лжи. «Жить не по лжи»? — кого призывал Солженицын? Партократов? Себя? Но все продолжали лгать: и коммунисты с принципами и без принципов, и диссиденты лгали, особенно великие диссиденты, всемирно известные нобелевские лауреаты. Они обвиняли коммунистов, но попутно обдавали своими испражнениями русский народ, в чем его только не подозревая: и в низкопоклонничестве, и в шовинизме, и в юдофобии, и в жестокости, и в рабской покорности. Все эти подозрения запечатлены в трудах и Сахарова и Солженицына. Что написано их пером, того теперь не вырубишь топором.

И вот объявился «патриотический путч». И если бы русский народ был таким, каким рисуют его и теперь позеленевшие от злобы демократы, то он бы обязательно должен был восславить восьмерку болванов с криком «Ура! За Родину!» да и сотворить то, чего смертным страхом боится деградирующая Европа, проституционно брошенная в постель Гитлера еще в середине века.

Вот сейчас вроде бы растоптали компартию демократы. И народ эту партию не защитил, хотя всех нас зовут и коммунистами, и павликами морозовыми, все мы были октябрятами-ленинцами, пионерами-ленинцами и многие — членами ленинского комсомола, а некоторые из народа еще ленинские партбилеты в тумбочках держат. А почему же народ, этот рабский народ, сталин-

ский, глупый и покорный, не защитил-то компартию? Не настоль глуп этот народ — понимает, что партия сама себя растерзала, как стая беснующихся свиней, не поделивших места у корыта с деликатесами привилегий. Демократы? Хай будуть демократы! Будут вести себя так же, как повели себя коммунисты, — придут к тому же концу. У человека, у личности, какой бы она ни была великой, жизнь куцая, а у народа — век долгий. Русский народ, хоть и смутно, но помнит себя тысячу лет. По сравнению с другими, это только юность к нам пришла. Обманули нас марксисты. Круто подвели!

Не потому ли евреи переполошились, что за Маркса русский народ им мстить станет? Во всем мире беспокоятся по этому поводу. Все же видели и слышали, как один ушастенький американец из Одессы обоих русских президентов после путча пытал насчет антисемитизма. Президенты стыдливо обошли этот вопрос, отделавшись невнятицей в ответах. А вообще-то с антисемитизмом надо кончать. Пора уже. И это нетрудно сделать: стоит только перестать о нем говорить, и он тут же исчезнет. Мы уже все прекрасно понимаем, что призрак коммунизма бродил по Европе в обнимку с призраком антисемитизма, но после революции призрак коммунизма остался в России и стал творить чудеса, а призрак антисемитизма орудовал в Германии и тоже творил чудеса. Потом Европа сдалась антисемиту Гитлеру, выжидая, когда же он уничтожит евреев и коммунистов. Президенты это прекрасно знают, поэтому ничего не могли ответить на провокационный вопрос ушастика. Но дело тут не в национальности. Просто марксистский коммунизм себя изжил, а обманулись на нем не одни русские.

Все российские евреи, а в начале века они составляли добрую половину мирового еврейства, обмишурились с этим коммунизмом. Впрочем, когда гитлеровский антисемитизм был низложен и казнен на Нюрнбергском суде, наша красная тоска о коммунистическом светлом и справедливом будущем становилась не просто пустой мечтой, а вредной мечтой: по всей Земле бродил призрак Единого мирового правительства. Советские евреи, которые посообразительней оказались, уже тогда выкинули вон книжки ВКП(б), другие же, менее сообразительные, носили их до того момента, пока не стало ясно, что сам генсек грубо и зримо отдраил кингстоны на днище партийного корабля. Сначала, правда, отстегнули «6-ю статью» Конституции, чтобы дать возможность некоторым красным недоумкам уйти в цвета побежалости и спастись.

В последние годы можно было с экрана ТВ и где угодно громогласно называть русских людей ленивцами, пьяницами, свиньями, дураками и так далее, а весь народ русский — рабами с жестокой садистско-мазохистской психологией. Разве не обидно такое слышать? Обидно. Молчим, словно и впрямь мазохисты, дураки и свиньи. А на деле? Молчим, потому что понимаем: т а к браниться человека заставляет какая-то внутренняя болячка...

Поэт Вознесенский сказал о себе как-то в стихах: «Деградирую!» Давно сказал, задолго до перестройки, когда «Лонжюмо» написал, и воспринималось тогда это признание в деградации как поэтический образ, метафора или сравнение. Но вот пришла перестройка, и Вознесенский публикует матерщину. Если увидите поэта, который, вывалив язык, на заборе пишет эти самые слова, то не пугайтесь. Просто человек деградировал.

После семнадцатого года народ остался без интеллигенции.

После падения коммунистической власти, оказывается, тоже с мозгами у нас не все в порядке. Ладно уж политики! — у них профессия интриганов. Но что делается в Союзе писателей! Уму непостижимо. Спросить бы сейчас у поэта Евтушенко: «Хотят ли русские войны?»

Итак, народ подвели к последней черте, через которую потащили его на удавке, названной почему-то «рыночная экономика». Заладили, как киборги: «Запад поможет нам!» Кому — нам? «Помог» в 41—45 годах. До сих пор долги не выплатим по ленд-лизу. Поможет Запад разместить все вредное производство на территории бывшего «нерушимого». Демократия наша деградировала, не успев родиться, — понятно, что это врожденный порок. О чем говорят демократы — страшно слушать. Говорят о стране, где родились, — э к о н о м и ч е с к о е п р о с т р а н с т в о. Народы, населяющие это «пространство», можно считать, уже списаны в ревизские сказки. А. Сахаров называл это «рабочей территорией». Д о м — Европа, но кому не ясно, что дом этот довольно густо населен уже теперь. Триста миллионов бывшей Страны Советов подлежат либо умерщвлению, либо... Эх, любо, братцы, любо! Любо, братцы, жить! С нашим президентом не приходится тужить!

А правда: хотят ли русские войны? Не-а! Иначе давно бы своротили эту парламентскую кувырколлегию с марионеточным президентством вместе.

Будь что будет! Но русские не хотят войны. Не хотят и по характеру своему, а еще потому, что в случае войны русские не воспользуются плодами своей победы, приколотят щит на дверях Капитолия и уйдут домой, несолоно хлебавши, доедать щи из капусты с нитратами.

Ну, ладно. Товаров нет, продуктов нет. Есть рыночные отношения, которые понимать надо только так: стоят и сидят у лотков на рынках какие-то рыла и продают все товары широкого потребления по жутким ценам. Польшу догоняем. Все есть, но ничего не купишь, деньги-то платишь, а они утекают в карманы рыночных рыл.

Медикаментов нет, медицина вообще подключилась, как видно, к мероприятию для скорейшего образования «экономического пространства». Чтобы пенсионеры сразу не окочурились, им для вида какие-то пайки́ дают. Где пенсионеры достают теперь лекарства, не знаю. Наверное, спортом занимаются, тем и поддерживают свое здоровье.

Образование... Да какое это образование? Если только сексуальное. Ясно и то, что СПИД нам поможет поскорее образовать «пространство».

Что дальше-то? Колхозы еще не разогнаны, не успели это сделать. Разгонят! Недаром Стародубцева в ГэКаЧеПе вмазали. Повесят его как изменника Родины и начнут колхозы силой разгонять — двадцатипятитысячников организуют для этого. Господин Черниченко годится в руководители силовой расколлективизации.

Чего ждут демократы, не понимаю. Кончать надо скорей! Чего по-садистски наблюдать за агонией граждан? Западу необходимо это экономическое пространство, иначе к 2000-му году Запад сам попадет в петлю кризиса, и тогда нам, дуракам, станет ясно, что не от хороших предчувствий западные дельцы торопятся с орга-

низацией единого мирового пространства, а чуя гибель свою. За счет же России они еще проживут. Сколько лет мы леса рубим, газ качаем и за границу гоним? Сами сидим без жилья, без одежды и без топлива. Но еще не все вырубили и не все выкачали, хотя продолжаем. Валюта нужна! Зачем? Чтоб купить презервативы и компьютеры для игр электронных. Презервативы — понятно зачем: чтоб не размножались больше. А компьютеры зачем? Для дальнейшей дебилизации подрастающего поколения.

Будь на месте демократов, то я не мешкая принялся бы за крушение колхозов — чтобы на тех полях ничего, кроме осота, не росло. А то как-то неудобно: хлеб гниет на полях, а мы за границей покупаем. Разогнав колхозы, получим оправдание, что ничего на русских полях не растет, не цветет, не колосится и не гниет.

Фермерство — гиль черниченячья. Лет десять надо для становления фермерского хозяйства, и то при условии, что промышленность обеспечит фермеров техникой, удобрениями, оборудованием и строительными материалами. А при состоянии промышленности сегодня — о фермерстве говорить, что кур смешить.

Два-три года при разогнанных колхозах нам обеспечат хронический голод. И экономическое пространство будет готово для западных инвестиций.

Но, может быть, господа демократы поймут, что их сдует с этого пространства в первый же год всесоюзного голода? И никто о них не напишет романа «Унесенные ветром перестройки».

Демократия победила, и теперь сами демократы в растерянности: а что же дальше делать? Ну, имущество КПСС разделили: кому дачу, кому машину. А теперь?

В этом все дело! Отказавшись от социалистического метода или отвергнув «социалистический выбор», никто в стране теперь не знает, как же вести это растрынканное хозяйство! В капиталистических развитых странах к реальному благополучию люди шли по сто, двести и более лет! Мы же намерены построить развитой капитализм за 500 дней?! Господа, вы не из дурдома отпросились, чтобы прийти и предложить такое?! Столыпин, начав реформу в 1907 году, намеревался завершить ее к 1930-му! Почти четверть века планировалось. Явились явлинские, которые возомнили себя умнее всех западных экономистов, столетиями реформировавших экономику, умнее Столыпина. Что это? Да одно слово — авантюра! Можно согласиться, что время сейчас не то — все-таки техпрогресс шагнул далеко, процессы теперь протекают ускоренно. Но если бы господин Явлинский и иже с ним предложили бы нам что-то реальное, хотя бы лет за пять растянуть коммунистические завалы, зарыть чевенгурские котлованы, опериться мало-мало приватным хозяевам и двинуть производство на рынок, то никто бы и не возразил! Пять-десять лет — это реально. Но авантюристов и почище Явлинского видел наш народ предостаточно. Вспомним хотя бы Н. С. Хрущева, строителя коммунизма к 1980 году.

Но... коммунизм неизбежен. Вот в чем парадокс. Разве капиталисты, строя Единое Экономическое Пространство (сперва в Европе, а далее — на всей планете), идут не к коммуне? Конечно, этот грядущий капитал-коммунизм будет отличаться от нарисованного нашим наивным воображением светлого будущего. Коммунизм сам по себе даже в утопиях «солнечных городов» сегодня не больно лицеприятен. Но мир идет к жесткой схеме

коммунистического распределения всех благ и, вероятно, придет. Единая мировая система производства, распределения и потребления, единая система финансов, единое мировое правительство, когда государства со всеми их парламентами, монархиями и прочими правительствами практически исчезнут, — разве это не Всемирная Коммуна?

Мы говорим: Ельцин! Мы говорим: Буш! Мы говорим: лидеры! Да, лидеры. Но, Господи! Эти лидеры так же немощны и спутаны такой зависимостью от сильных мира сего, что лишь глупцы могут позавидовать жизни лидера в наше время. Управляют миром давно уже не воля и мудрость Президента, Монарха, Парламента, а деньги, владельцы мировых денег. Росчерком пера в чековой книжке они могут сделать больше, чем самая сильная и до зубов вооруженная армия мира, да сами армии уже пойдут туда и будут делать то, что начертит это перышко потомков плюшкиных и гобсеков. Разве «буря в пустыне» нам ничего не показала, не открыла глаза на могущество мировых денег? И Буш, и Миттеран, и прочие лидеры самых демократических стран вынуждены были утюжить «Фантомами» небо над головой мирных жителей Ирака лишь потому, что Хуссейну вздумалось вытащить из кармана Всесильных мира сего «кувейтский кошелек».

Россия — не Кувейт, а кошель пошире того.

И теперь у нас нет выбора. Путч сделал свое черное дело. Мы перешли рубикон и невольно должны влиться в систему мировых денег. Попробуй заикнись теперь о социализме — засмеют.

В лучшем случае — засмеют, но могут записать в число «поддержавших путч» (кто не с нами — тот против нас!). Деградировавшие советские интеллигенты Черниченко, Карякин, Евтушенко уже требуют классических сталинско-бериевских расправ над «путчистами».

Продолжаются споры и раздумья о том, кого поддержал народ — путчистов или демократов? Это — глупо! И тоже говорит о деградации. Народ никого не поддерживает, он ошалело давно готовится к всесоюзной голодовке. Причем теперь неясно абсолютно, кто ее нам организует: то ли недобитые путчисты, то ли недееспособные демократы. А демократы недееспособны, потому что уповают на «помощь Запада». Держите карман шире! Вам, может, что-то и перепадет. А что достанется колхознику или рабочему? Только то, что вырастет на его «приусадебном» участке — на четырех сотках при «даче», если таковая у рабочего есть.

Странен был путч, в котором демократы одержали победу, пойдя с голыми руками против танков и бронемашин. Но не менее странной может оказаться их «победа»: теперь, чтобы заиметь доверие народа, демократам придется выполнять «программу» путчистов, объявленную 19 августа. Другого выхода нет. Или и тут «Запад поможет»?

Может, мэр Москвы напишет еще одну статью под заголовком «Что делать?» да изложит своими словами все пункты «Заявления ГКЧП?» Вот загадку загадала нам восьмерка!

Ведь для того, чтобы хоть как-то свести концы с концами, нам придется делать все то, что предлагалось в их «Заявлении»...

г. Феодосия



Валентин СОРОКИН

В журнал я пришел работать в 1967 году. Журнал уже был на прицеле у тех, кто национальные боли, обиды, заботы умело и громко топил в «советской общности», интернациональной окраске любой мысли, пустяковой и глобальной, и «русскому вопросу» затыкал рот с особым рвением и бдительностью.

Чуть ли не в каждом очередном номере «Литературная газета» давала по две, по три и более «нахлобучки», обучая «Молодую гвардию» советскому строю и логике. Газету до истерии раздражал серьезный разговор журнала о нравственности, любви, верности, а когда речь поворачивалась к взорванным и оскорбленным храмам — «Литературка» формировала «делегации» наверх — и нас громили...

Да, как и теперь, «Молодая гвардия» тогда держалась на народности и государственности, широко отдавая страницы республикам и областям страны.

Благодарю судьбу за то, что мне посчастливилось трудиться с А. Никоновым, Вас. Федоровым, В. Чивилихиным, С. Викуловым, А. Ивановым. Через «Молодую гвардию» встретились с читателями произведения Вл. Солоухина, П. Проскурина, И. Акулова, М. Лобанова, В. Чалмаева, поэтов — Н. Благова, Б. Ручьева, Л. Татьяничевой, Н. Рубцова... Да разве возможно перечислить имена прозаиков, критиков, поэтов, кому помогла в известности и славе «Молодая гвардия», оставаясь неизменной — честной, острой, не боящейся навета и чиновнической злобной нудистики?

Журнал не предал традиции: его опора — молодость, новые таланты, но храбрый дух журнала тот же: Родина, земля отцов и дедов, их горе, их подвиг, их свет!..

Здоровья тебе и успехов, родная наша «Молодая гвардия»!

Николай ФЕДЬ,
доктор филологии

Семь десятилетий жизни литературно-художественного и общественно-политического журнала — срок немалый. А если учесть, что на его судьбе не могли не отразиться ужасающие контрасты времени, судорожные метания из стороны в сторону общества, тревожное состояние мира, — то можно сказать, что возраст «Молодой гвардии» солидный.

Последнее пятилетие было для журнала весьма знаменательным. Приобретенный опыт борьбы с ренегатами, христопродавцами, предателями и уценителями прошлого и настоящего России помог творческому коллективу, журналу в целом не только выстоять «в годину смуты и разврата», но и обрести свой голос, повернуться лицом к главным проблемам времени — и широкие массы услышали и поверили молодогвардейцам.

Именно «в годину смуты и разврата»... Назовите век, нацию, общество, где бы с молчаливого согласия граждан и — извиняюсь! — цивилизованного мира кучка зарвавшихся ничтожеств торговала бы (фактически невиновным, иначе — надо посадить за решетку всех правителей государств) человеческим достоинством неизлечимо больного старца? Не назовете! Ничего и никогда подобного не было. А разве было когда-нибудь и где-нибудь, чтобы, как ни в чем не виноват, жировал за счет им же обворованного и обездоленного народа бывший Генеральный секретарь КПСС, бывший Президент могучего государства — тоже им проданных, преданных и отданных на поругание гробокопателям истории? До сих пор подобного не смогла породить даже самая изощренная фантазия.

Журнал прямо и открыто сказал обо всех этих мерзостях и их носителях, презрев клевету, ложь, политические доносы целой своры, злобной и трусливой, «псов перестройки», начиная с ее архитектора и «виртуоза» Александра Яковлева и кончая одним из самых жалких холуев Виталием Коротичем... Правда — за «Молодой гвардией», а там, где правда, там сила и вера. Читатели высоко оценили достоинство и мужество молодогвардейцев.

Нет надобности перечислять темы и проблемы, безбоязненно поднятые и принципиально решенные на страницах журнала. Скажу лишь об одной — всемерная поддержка культуры, искусства, литературы России и беспощадная борьба против тех, кто пытается надругаться над духовными святынями народа, против тех, кто, размахивая кухонными ножами, пахнущими селедкой из гуманитарной помощи, ринулись растаскивать имущество писателей.

Журнал первый назвал вещи своими именами: состояние литературы последних двух-трех лет явилось одним из убедительных свидетельств глубокого кризиса сознания нации. Как ни тяжело об этом говорить, но горькую правду не скрыть: современная литература находится в упадке — ее захлестнули вульгарность, нищета духа, словесный блуд; литературу разъедает мелкотемье, а ее язык низведен до пошлого газетного жаргона...

Вот на какое время выпал юбилей «Молодой гвардии». Тут нужна гражданская доблесть, а равно мудрость и спокойствие духа. Они помогут молодогвардейцам идти своей дорогой.

Михаил БЕРНШТАМ,
историк, США

ПОЧЕМУ ПОБЕДИЛИ БОЛЬШЕВИКИ

Россия оказалась в XX веке узлом всемирной истории, узлом всечеловеческой судьбы. А история народного сопротивления России стала главным вектором этой судьбы, решающим фактором бытия человечества.

С 1917 года на российской земле установился враждебный всему народу оккупационный режим, никакое не национальное тоталитарное государство. Установился режим, поддержанный всем миром, тем самым человечеством, которое этот режим планировал завоевать и подвергнуть социальной вивисекции, и давно бы это осуществил, если бы не то самое всенародное сопротивление России, никак не поддержанное народами и политиками других стран.

Еще не написана история сопротивления всего народа огромной страны самой истребительной силе за все время существования людей. Не написана история сопротивления универсальной исторической силе, остановленной и скованной только этим сопротивлением. Не написана история сопротивления, спасшего биологическое бытие человечества как такового.

И без истории этого сопротивления нет правдивой истории XX века, да и всей всемирной, всеобщей. Главное, итоговое столкновение в ней — не понято и даже не замечено.

Одним из ведущих авторов, кто делил нации и их право на жизнь по критерию их отсталости и развитости, реакционности и прогрессивности, революционности и консервативности, — был Карл Маркс. Он приветствовал «самого умного из всех поляков» полковника Лапинского за то, что «вместо борьбы национальностей он признает лишь расовую борьбу. Он ненавидит армян и т. п.». Маркс с удовлетворением цитирует Лапинского: «Крестьяне — это природно-реакционная масса... Россиянин выказвл себя опять настоящим татарином».

В свою очередь, Ф. Энгельс писал не менее однозначно: «На сантиментальные фразы о братстве народов, с которыми обращаются к нам от имени контрреволюционных национальностей

Михаил Бернштам — историк, демограф, экономист, эмигрант третьей волны. Живет в Сан-Франциско. Среди западных советологов отличается наибольшей объективностью в отношении к истории и судьбе России. Данная статья — отрывок из большой научной работы «Силы в гражданской войне», опубликованной на Западе в 1979 году.

Европы, мы отвечаем: ненависть к русским была поныне и является у немцев их первою революционною страстью».

Наверное, в России не всем известны эти слова Ф. Энгельса: «Со времени революции (французской революции 1871 года. — Ред.) к ненависти к русским присоединилась ненависть против чехов и хорватов, и мы... утвердим революцию против этих славянских народов самыми решительными мерами терроризирования... Мы знаем теперь, где сосредоточены враги революции: в России и в славянских землях Австрии... Тогда мы знаем, что нам делать! Тогда борьба, безжалостная борьба не на жизнь, а на смерть с изменническим, предательским по отношению к революции славянством. Тогда — истребительная война и безудержный террор — не в интересах Германии, а в интересах революции!»

Вот когда была провозглашена идея утверждения революции «против... славянских народов». И нельзя не увидеть, что эта идея последовательно и в высшей степени точно проводилась в жизнь.

К. Маркс и Ф. Энгельс были не первыми носителями такой идеологии. Еще Великая французская революция делила нации на революционные и контрреволюционные. Французские радикалы XIX века развили эту позицию, а Парижская коммуна уже начинала воплощать в практику. Вслед за этим в течение столетия германская социал-демократия воспитывала население в соответствующем духе — Гитлер пришел на готовое, лишь вывернув наизнанку принцип революционного геноцида: террор в интересах Германии.

Почему же все-таки большевики победили? Это вопрос специального исследования. Существует множество фактических данных, которые в сумме определяют благоприятный исход в гражданской войне для Красной Армии. Прежде всего надо сказать, что многочисленные интеллигентские группировки, хотя и с оговорками, поддержали социалистическую революцию, уничтожающую консервативные устои России. Во всяком случае, большевики без больших усилий смогли создать из интеллигенции весь необходимый аппарат хозяйственного и гражданского управления. В то же время начавшее борьбу против большевиков в защиту национальной России белое движение не смогло опереться на соответствующий аппарат гражданского и хозяйственного управления, а сами военные, естественно, проводить профессиональную внутреннюю политику не могли. Связующего звена между группой патриотических военных и массой населения не оказалось. Белое движение было чрезвычайно малочисленно. К середине февраля 1919 года, то есть ко времени максимального развития белого движения, оно, по исчислениям на основе советских военных сводок, имело всего 537 000 человек. Из них убито за годы войны против социализма примерно 175 000 человек. Из последнего оплота белых армий, Крыма, генералу Врангелю удалось эвакуировать только 83 000 человек, среди которых была значительная часть и гражданского населения. Судьба остальных белогвардейцев, очевидно, трагична.

В это же самое время к лету 1920 года большевики, опираясь на четко поставленное внутреннее управление, смогли сформировать армию в несколько раз большую, чем была у белых. Под ружье было поставлено 3 538 000 человек. А к концу 1920-го Красная Армия насчитывала уже 4 110 000 человек, то есть разница в численном составе Красной и Белой армий к этому времени превышала три миллиона человек.

Советской власти удалось организовать гигантскую военную силу

путем насильственной, чуть ли не поголовной мобилизации дезориентированного юношества, политической обработки призванных и оторванных от родных деревень молодых людей. Одним из средств организации войск служил беспощадный террор внутри самой Красной Армии — положение, при котором, по словам коммунистической деятельницы Ларисы Рейснер, «красноармейцев расстреливали, как собак».

В. И. Ленин специально подчеркивал внутренний террор в армии как новую в истории черту специфической коммунистической военной политики: «В Красной армии... применялись строгие, суровые меры, доходящие до расстрелов, меры, которых не видело даже прежнее правительство. Мещане писали и вопили: «Вот большевики ввели расстрелы». Мы должны сказать: «Да, ввели, и ввели вполне сознательно» (Ленин В. И. ПСС, т. 44, с. 166).

Из Красной Армии в громадных масштабах начcалось дезертирство. Выдернутые из родных деревень, оторванные от духовных корней, молодые люди бежали в чужие леса, нападали на население, грабили, громили деревни и т. д. Все это безусловно было прямым результатом атмосферы и порядков, царивших тогда в Красной Армии, где постоянно расстреливали командиров по подозрению в предательстве, а простых красноармейцев — «как собак» — за отступления, потерю оружия, обмен обмундирования на продовольствие, политическое инакомыслие и иные провинности такого рода.

Это был уникальный исторический эксперимент — победить страну оккупационной армией, насильственно составленной из самого оккупированного населения, — армией, управляемой посредством расстрелов.

Изучение коммунистической революции приводит нас к нравственно тяжелому, но научно необходимому выводу: политические возможности террора, его эффективность — едва не безграничны.

Как уже говорилось выше, самая политическая активная сила русского общества революционных лет — интеллигенция, в массе своей, несмотря на внешнее, партийное, разногласие с коммунистами, внутри глубинных процессов истории, объективно, явилась одним из факторов победы социализма в России.

Отрицательное отношение интеллигенции к белому движению, как и ко всем консервативным силам России, привело к тому, что так или иначе у большевиков гражданское управление было создано, а в большинстве занятых белыми областей — нет. Отсутствие необходимых специалистов, гражданских администраторов достаточного уровня, компетентных политических советников, экономистов, продовольственников и т. д. было естественной причиной того, что необходимые реформы, прежде всего аграрная, не были белыми проведены, экстремистские элементы внутри движения не были устранены. В итоге образовался во многих случаях разрыв между руководством белых армий, сосредоточившимся, понятно, на военных вопросах и недостаточно компетентным в экономике, социальной и гражданской политике, и населением занятых ими областей. Такой разрыв произошел между белыми армиями и повстанческим рабочим и крестьянским антидиктаторским сопротивлением, а в ряде мест, как в Черноморье и на Украине, даже вызвал противоборство белых и зеленых армий. Тут можно прямо сказать: интеллигенция в гражданской войне предала народ.

Образовалось три силы вместо двух: белое движение, народное

сопротивление диктатуре власти и интернациональный социализм. И каждое по отдельности, еще и борясь друг с другом, зеленое и белое движения оказались слабее интернационал-социализма. А то, что белое движение и народное повстанчество часто противоборствовали, особенно ослабило их и было Советской властью использовано.

Однако, кроме названных трех, в гражданской войне участвовала еще одна немаловажная сила, сыгравшая в событиях тех лет далеко не второстепенную роль. В первые месяцы революции военные формирования коммунистов состояли из разрозненных отрядов, и только в августе — сентябре 1918 года их удалось превратить в армию в собственном смысле слова. Но и эта армия была ненадежна, и бывали острые моменты, когда только организационная сила коммунистов удерживала от того, чтобы эта армия целиком не разбежалась или не повернула бы против власти большевиков. Для управления страной и для управления такой ненадежной армией нужен был некий военный костяк, ударный кулак, мобильный, на все готовый, нацеленный на террор против всех и вся. Нужны были, говоря языком политической аналогии, военная организация типа СС в национал-социалистической Германии.

Создание таких формирований стало задачей с первых дней революции и даже в процессе ее подготовки. И они были созданы, что в конечном счете обеспечило победу социализма против более опасной силы, чем белое движение, вместе взятое, — против массового сопротивления народа. Эту ударную силу можно назвать — ландскнехты революции, с той существенной усиливающей разницей, что ландскнехты социализма воевали не за деньги, а движимые политической организацией и интернациональной социалистической идеологией. В литературе их называют — интернационалисты.

Это была денационализированная и деклассированная человеческая прослойка, собранная, спропагандированная и сорганизованная из находившихся в России ко времени революции военнопленных и из люмпен-пролетариев разных стран, находившихся в России на заработках. Значительная часть этой массы и была превращена в ландскнехтов мировой революции, часть из которых воевала против народа в России, а другая часть, приобретя опыт первой интернационально-социалистической революции, была разослана по миру в качестве подготовителей следующих ударов этой революции в других странах. Пропаганда и организация ландскнехтов-интернационалистов явились делом основного ядра интернационального социализма — интернациональной социалистической интеллигенции, оказавшейся в России или съехавшейся сюда сразу после революции.

В советской исторической литературе не скрывается того факта, что, когда мобилизованные формирования Красной Армии были малочисленны, неорганизованны и необученны, ударные отряды интернационалистов и, в частности, полки и бригады Латышской стрелковой дивизии были основной военной силой в основных операциях — в подавлении народных восстаний (именно интернационалисты применили артиллерийский обстрел химическими снарядами при подавлении восстаний в Ярославле, Ижевске и Воткинске).

Интернациональные бригады состояли из бывших военнопленных Центральных держав, а также белочехов, поляков, финнов, китай-

цев, корейцев, персов, сербов и других. Всего они насчитывали 74 000 осенью 1918-го и 268 000 — летом 1920 годов *. Из них Латышская дивизия насчитывала соответственно 24 000 и 18 000 человек **. Красная Армия в это же время имела 387 500 — в 1918-м и 3 538 000 — в 1920 годах ***.

Из этих цифр видно, что интернационалисты составляли очень высокий процент для любой армии в любой войне и он уникален в истории. Для войны же, в которой основные операции — не стратегические фронтовые, а подавление повстанчества и сопротивления коренного населения, роль ударного костяка, именно на подавлениях сосредоточенного, — является, несомненно, ключевой ролью в победе режима над населением. Особенно это было важно для трудного первого года революции, когда мобилизация только началась, регулярной армии почти не было, восстания не прекращались ни на день, — тогда не неуправляемые отряды красноармейцев, а железный костяк интернационалистов спас мировую революцию от русского народа. Контролируя остальную армейскую массу и являясь ударным кулаком в войне против населения, формирования ландскнехтов-интернационалистов стали главной, решающей силой социализма в 1917—1920 годы.

При хорошо организованной постоянной переброске по территории страны гигантский ударный кулак интернационалистов был способен подавить даже 100-тысячные восстания. Социализм проявил феноменальные способности и организовал мощную стратегически-политическую систему, способную завоевать очень большую страну с очень непокорным народом.

Следовательно, всемирно-историческое значение народного сопротивления в России состоит в том, что оно отвлекло на себя вооруженную интернациональную силу, возглавляемую самым стратегически способным политическим аппаратом в истории, и защитило остальной мир от мировой революции.

Когда в оборот политической науки попали факты о террористическом характере троцкистско-сталинского режима на территории бывшей Российской империи, не оставалось ничего другого, как создать концепцию, что в СССР не социализм и не прогресс, а каким-то сложным генетическим путем произошедшая реставрация извечного русского деспотизма, возможная благодаря рабской природе населения.

Теперь же, когда в научном обиходе все чаще и чаще стали появляться факты о массовом народном сопротивлении, разрушающие легенду о впитанном веками русском деспотизме, пошли трещины по всем предыдущим концепциям прогрессивного пути в истории, возникла ситуация, в которой научно честное мышление должно отказаться от интеллектуальных верований по меньшей мере двух веков.

●

* Интернационалисты. Трудящиеся зарубежных стран — участники борьбы за власть Советов. М., 1967, с. 577.

** Латышские стрелки в борьбе за Советскую власть в 1917—1920 годах. Воспоминания и документы. Рига, 1962.

*** Директивы Главного командования Красной Армии. М., 1969, с. 130—131.

Валерий ХАТЮШИН

ЧЬЯ НАД РОССИЕЙ ВЛАСТЬ?

I

В первом документе Октябрьской революции — а именно в ленинском обращении «К гражданам России!», опубликованном 25 октября 1917 года в петроградской вечерней газете «Рабочий и солдат», объявлялось: «Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства, это дело обеспечено» (Ленин В. И. ПСС, изд. 5-е, т. 35, с. 1. Далее ссылки на это издание).

Вдумываясь в смысл этого документа, наверное, только восторженной радостью за близящуюся победу большевистского переворота (Временное правительство к тому времени еще не было низложено) можно объяснить слишком уверенное и не совсем согласующееся с логикой того неопределенного времени убеждение: «...немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности... это дело обеспечено». Откуда была такая уверенность у лидера социал-демократов — непросто понять, тем более что нам-то прекрасно известно, чем обернулось для России это самое «предложение демократического мира» и эта пресловутая «отмена помещичьей собственности». Хотя многие вполне допускают, что наша дорога, если и не в ад, то в нынешний национальный развал и экономический хаос, начиналась с благих намерений.

Мне могут возразить: кто же знал заранее в октябре 1917 года, что Германия не пойдет на «демократический мир» с большевиками, изрядно потрудившимися в войсках над разложением морального духа российской армии, и что национализация земли уже через год приведет к ужасающему голоду по всей стране, к крестьянским восстаниям, к политике продразверстки, раскулачивания, а затем — к поголовной коллективизации, которая, в свою очередь, станет причиной многих нынешних бед в деревне? Кто мог знать заранее... И все же мне гораздо труднее понять столь уверенную революционную надежду на «обеспеченность» обратного.

Публикуя статью В. Хатюшина, мы понимаем, что она вызовет неоднозначную реакцию у многих читателей «Молодой гвардии». Время диктует необходимость объективного осмысления истории нашего государства, во многом фальсифицированной. Факты, на которых автор строит свою статью, и выводы, вытекающие из этих фактов, наверное, будут поразительны для неискушенного сознания и для сторонников прозападной демократии. Статья призывает к размышлению, к спору. Поднятая В. Хатюшиным тема требует дальнейшего откровенного разговора. Мы готовы к такому разговору на страницах нашего журнала (Ред.).

Созванный в срочном порядке еще до начала штурма Зимнего дворца Второй Всероссийский съезд Советов состоял в основном из делегатов-большевиков, которые, конечно же, проголосовали за своих при выборах в Совет Народных Комиссаров и ВЦИК (из 649 делегатов к началу открытия съезда большевики составляли 390 человек. Меньшевики, эсеры и бундовцы в знак протеста покинули съезд). Во второй день работы, после ареста «правительства буржуев и помещиков», съезд утвердил Декрет о земле как законопроект, который должен был действовать «по возможности немедленно» до будущего Учредительного собрания. В своем докладе на съезде Ленин говорил: «Здесь раздаются голоса, что сам декрет и наказ (имелся в виду опубликованный в «Известиях» эсерами «Крестьянский наказ о земле». — В. Х.) составлен социалистами-революционерами. Пусть так. Не все ли равно, кем он составлен, но, как демократическое правительство, мы не можем обойти постановление народных низов, хотя бы мы с ним были несогласны (это «несогласие» покажет себя в очень скором времени. — В. Х.). В огне жизни, применяя его на практике, проводя его на местах, крестьяне сами поймут, где правда. И если даже крестьяне пойдут и дальше за социалистами-революционерами и если они даже этой партии дадут на Учредительном собрании большинство, то и тут мы скажем: пусть так. Жизнь — лучший учитель, а она укажет, кто прав, и пусть крестьяне с одного конца, а мы с другого конца будем разрешать этот вопрос. Жизнь заставит нас сблизиться в общем потоке революционного творчества, в выработке новых государственных форм. Мы должны следовать за жизнью, мы должны предоставить полную свободу творчества народным массам. Суть в том, чтобы крестьянство получило твердую уверенность в том, что помещиков в деревне больше нет, что пусть сами крестьяне решают все вопросы, пусть сами они устраивают свою жизнь» (т. 35, с. 27).

Я привел эту довольно пространную ленинскую цитату для того, чтобы читатель самостоятельно мог сравнить широкие и, возможно, вполне искренние революционные посулы вождя «диктатуры пролетариата» с той реальностью, с какой столкнулись и крестьяне и все население России в последовавшую за этими посулами бескомпромиссную эпоху. В конце 1917 года прошли выборы в Учредительное собрание, которое должно было стать высшим государственным органом страны. Как известно, большинство голосов на этих выборах получили правые эсеры. Такой исход не мог устраивать правящую ленинскую фракцию РСДРП и примкнувших к ним левых эсеров (через полгода левые эсеры будут разогнаны большевиками). Упустить власть из своих рук через элементарные выборы — с этим правящая партия не только не могла согласиться, но даже не допускала для себя такой мысли. Ленин срочно пишет «Проект декрета о роспуске Учредительного собрания», где без всяких оговорок сказано следующее: «Развитие русской революции изжило буржуазный парламентаризм в ходе борьбы и соглашательства, создав советскую республику как форму диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства. Ни шагу назад» (т. 35, с. 232).

Эти слова о «буржуазном парламентаризме» последовали только после подведения итогов голосования, но до того Ленин, надеясь на успех, поддерживал парламентскую демократию, от самих выборов не отказывался и баллотировался от Балтийского

флота. Вот ленинская телеграмма во Всероссийскую комиссию по выборам в Учредительное собрание: «Прошу считать меня выбранным от армии и флота Финляндии, по остальным же округам, по которым я прошел, считать меня отказавшимся. В. Ульянов (Ленин). Петроград, 28 ноября 1917 года» (т. 50, с. 14). Одним словом, правящую партию устраивал только тот парламентаризм, который оставлял ее у власти. Так, незадолго до этого, в ноябре 1917 года, в обращении «Ко всем членам партии и ко всем трудящимся классам России» («Правда», № 182) Ленин утверждал: «В России завоевана Советская власть, и переход правительства из рук одной советской партии в руки другой партии обеспечен без всякой революции, простым решением Советов, простым перевыбором депутатов в Советы. Второй Всероссийский съезд Советов дал большинство партии большевиков. Только правительство, составленное этой партией, является поэтому Советским правительством» (т. 35, с. 72).

В своем же «Проекте декрета о роспуске Учредительного собрания» Ленин пишет: «Собравшееся 5 января Учредительное собрание дало... большинство партии правых эсеров...» И констатирует: «Тем самым Учредительное собрание разорвало всякую связь между собой и Советской республикой России». И бескомпромиссно заканчивает: «Поэтому Центральный Исполнительный Комитет постановляет: Учредительное собрание распускается» (т. 35, с. 236—237).

Ну как тут еще раз не вспомнить заверений Ленина, сделанных им два с половиной месяца назад — в октябре 1917 года: «И если даже крестьяне пойдут и дальше за социалистами-революционерами (а победу правым эсерам на Учредительном собрании обеспечили именно крестьянские депутаты. — В. Х.), и если они даже этой партии дадут на Учредительном собрании большинство, то и тут мы скажем: пусть так... Мы должны следовать за жизнью, мы должны предоставить полную свободу творчества народным массам». Да, упоительно было большевистским лидерам после захвата власти произносить красивые демократические лозунги в надежде соблазнить крестьян широтой взглядов и великодушием. Но как быстро слетел с них весь пропагандистский флер при столкновении с жесткой и реальной действительностью, которая оказывалась не в их пользу! И сразу же все неугодные реальные люди получали ярлык контрреволюционеров, а «не оправдавший» себя парламентаризм выбрасывался на свалку как «буржуазный» *.

Декрет о земле — «временный закон», имевший силу лишь до созыва Учредительного собрания, в дальнейшем нигде никем не утверждался и как бы должен был потерять свою силу, ведь большевики с самого начала, как указывал Владимир Ильич, «с ним были несогласны» (у них была своя программа ограбления деревни, которую они затем и провели в жизнь). Так, в сущности, и произошло. После разгона «учредиловки» в стране была объявлена политика «военного коммунизма», в деревнях — введена продразверстка, и начался варварский, ничем не прикрытый грабеж крестьянских хозяйств. Если Декрет о земле при всей своей безжалостной сути все же имел кое-какие гуманные положения, как, например: «Вложенная в землю стоимость удобрения и мелиора-

* Ирония истории в том, что Ленин так и не сумел стать законным, избранным главой государства.

ции (коренные улучшения), поскольку они не использованы при сдаче надела обратно в земельный фонд, должны быть оплачены», то после января 1918 года все, что в этом законопроекте могло иметь хоть малейший положительный момент для крестьян, было отброшено и забыто, что и послужило главным толчком к глобальному народному подъему против диктатуры и террора нового режима. Декрет о земле с того момента прекратил свое действие, и только этот момент можно считать подлинным началом гражданской войны в России. Население российских деревень со страхом прозрело и остро почувствовало, ч е м все это обернется для них в недалеком будущем... К сожалению, эти страницы нашей истории практически не исследованы, имеют тенденциозное и в корне искаженное толкование.

Нередко приходится сталкиваться с убеждением, что началом гражданской войны послужили выступления против советской власти войск Керенского, Краснова, Корнилова, Каледина и кадетских вооруженных формирований сразу же после октябрьского государственного переворота. Насколько серьезным было это сопротивление Советам, можно судить по словам самого Ленина, сказанным им в воззвании к крестьянству в декабре 1917 года, а именно, что все это — не больше и не меньше, как действия «советских армий против н и ч т о ж н о г о числа надеющихся на силу богатства и желающих свергнуть Советскую власть» (т. 35, с. 151, разрядка моя. — **В. Х.**). Ленин был прав: сопротивление это и впрямь оказалось ничтожным. И не случайно все учебники истории СССР началом гражданской войны ставят 1918 год, так как именно с этого года против диктатуры большевиков поднялось трудовое крестьянство России. Крестьяне воочию убедились в том, что правящая партия большевиков, на словах провозглашавшая власть народа, на деле проигнорировала их настроения, наказы и требования как на Втором Всероссийском крестьянском съезде в декабре 1917 года, так и на январском Учредительном собрании, на котором чаяния крестьянских депутатов вообще были растоптаны, когда большевикам стало ясно, что крестьяне от них отвернулись.

В. И. Ленин не скрывал силы и опасности для диктаторской власти этой всенародной борьбы. Он признавал, что сила повстанческой, по его выражению, «мелкобуржуазной анархической стихии» оказалась для коммунистического режима опаснее всех белых армий, вместе взятых (т. 43, с. 23—24). В письме Кларе Цеткин в июне 1918 года вождь российского пролетариата сообщал: «Классовая борьба и гражданская война проникли в глубь населения: всюду в деревнях раскол — беднота за нас, кулаки яростно против нас» (т. 50, с. 128).

В последнее время с трудом, со скрипом, но все-таки восстановилось в большей части современного общества справедливое отношение к многочисленному, основному слою крестьянства, некогда заклейменному этой убийственной кличкой «кулаки». Действия советской власти по раскулачиванию явились не чем иным, как унижением, закабалением и физическим истреблением ни в чем не повинных людей, единственное «преступление» которых состояло в том, что они умели и желали выращивать хлеб. Конечно, были на селе и мироеды, но среди миллионов жертв они составляли единицы.

Как отнеслось революционное правительство к этим людям — теперь, в общем-то, хорошо известно, и тем не менее есть смысл

еще раз напомнить сухие строки ленинских телеграмм тех первых лет социалистической революции. Вот лишь некоторые из них. Наркому продовольствия А. Д. Цюрупе: «...о б о б р а т ь и отобрать в с е излишки хлеба у кулаков и богатеев всей Тульской губернии...», «Дать задание — **очистить** уезд от **излишков** хлеба д о ч и с т а» (т. 50, с. 137, здесь и далее разрядка и курсив В. И. Ленина). В Пензу, Е. Б. Бош: «Необходимо организовать усиленную охрану из отборно надежных людей, провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города» (т. 50, с. 143. Так что советские концлагеря уже вовсю действовали, а ведь это — август 1918-го. — **В. Х.**). Ей же: «Не хочу думать, чтобы Вы проявили промедление или слабость при подавлении и при образцовой конфискации всего имущества и особенно хлеба у восставших кулаков» (т. 50, с. 148). Пенза, В. В. Кураеву: «Необходимо с величайшей энергией, быстротой и беспощадностью подавить восстание кулаков, взяв часть войска из Пензы, конфискуя все имущество восставших кулаков и весь их хлеб» (т. 50, с. 144). Елец, С. П. Середе: «Крайне важно поставить дело так, чтобы в одной волости за другой ссыпались и вывозились все без изъятия излишки хлеба». Задонск, М. Ф. Болдыреву: «Действуйте самым решительным образом против кулаков и снюхавшейся с ними левоэсеровской сволочи. Обратитесь с воззваниями к бедноте. Организуйте ее. Запросите помощи от Ельца. Необходимо беспощадное подавление кулаков-кровопийцев» (т. 50, с. 152). А. Д. Цюрупе: «Проект декрета — в каждой хлебной волости 25—30 **заложников из богачей**, отвечающих **жизнью** за сбор и ссыпку **всех** излишков», «Я предлагаю «заложников» не **взять**, а **назначить** поименно по **волостям**. Цель назначения: именно богачи, как они отвечают за контрибуцию, **отвечают** ж и з н ь ю за немедленный сбор и ссыпку излишков хлеба» (т. 50, с. 144—145). Пенза, А. Е. Минкину: «Роту латышей оставьте пока в Пензе до подавления Чембар. Передайте всем членам исполкома и всем коммунистам, что их долг беспощадно подавлять кулаков и конфисковать весь хлеб повстанцев. Я возмущен Вашей бездеятельностью и слабостью» (т. 50, с. 156). В Козлов, А. Л. Колегаеву: «Сообщайте два раза в неделю, насколько энергично идет призыв переселенцев и подавление восстания» (т. 50, с. 314. Имеется в виду восстание донских казаков. — **В. Х.**). В Богучар, Г. Я. Сокольникову: «Наступление на Петроград удесятеряет опасность и крайнюю необходимость подавить восстание немедленно, во что бы то ни стало» (там же). Киев, X. Г. Раковскому: «Декретируйте и проведите в жизнь полное обезоруживание населения, расстреливайте на месте беспощадно за всякую сокрытую винтовку» (т. 50, с. 324). Ливенскому исполкому: «Необходимо... конфисковать весь хлеб и все имущество у восставших кулаков, повесить зачинщиков из кулаков... арестовать заложников из богачей и держать их, пока не будут собраны и ссыпаны в их волости все излишки хлеба» (т. 50, с. 160). Симбирск, Гусеву, Лашевичу: «Обратите сугубое внимание на восстание в районе Иргиза. Не запускайте, мобилизуйте поголовно все окрестности, обсудите, нельзя ли аэропланами побить повстанцев» (т. 50, с. 345). Ф. Э. Дзержинскому: «Если мы получим восстание на Кубани, **вся наша политика** (о которой говорили в Цека) **крах-нет**. Надо во что бы то ни стало не допустить восстания, не пожалеть на это людей и сил» (т. 51, с. 271).

Не менее красноречиво и распоряжение Ленина о том, как обязаны были действовать насильно мобилизованные красноармейцы и следовавшие за ними комиссарские отряды в оккупированных ими деревнях: «Войскам Кавкфронта идти пешком через всю Украину, рассчитав маршрут так, чтобы в каждую волость (из 1900 приблизительно волостей Украины) заходила дважды, через определенный промежуток времени, сначала конная, потом пешая часть для выполнения (и затем проверки выполнения) следующих задач: сбор продовольствия (по разверстке); составление на месте, т. е. в каждой деревне, под охраной местных крестьян и под их ответственностью двойного (против разверстки) запаса продовольствия (ссыпанного в амбаре, в доме попа, помещика, богача и т. п.)...; составление (и проверка) списка **«ответственных»** крестьян... «Ответственные» крестьяне лично отвечают за выполнение продовольственных и других заданий власти. После ухода войска специальной задачей местной власти (за неисполнение этой задачи — **расстрел**) является ведение в исправности и сохранение этого списка; разоружение крестьян-богатеев. Полный сбор оружия. Ответственность за ненайденное оружие на начальнике воинской части; за незаявленное оружие на том, у кого найдено (расстрел), **и на всей группе «ответственных»** крестьян (штраф, но не деньгами, а хлебом и вещами; конфискация имущества, арест; работы в копях)... В «упорных» волостях или селах воинские части либо организуют «третье посещение» (войском), либо остаются **на постой** подольше (до 2-х недель) для наказания и исправления» (т. 51, с. 245—246).

Не похоже ли все это на действия вражеской, оккупационной армии? Или кто-то станет утверждать, что уничтожение народа совершалось ради его же блага? Россия купалась в крови, и что же — такова была воля народа?

Существует расхожее мнение, будто наш народ после 1917 года чуть ли не молча покорился диктаторской власти. Это абсолютно не так. Обманутый народ ответил на нарушение его тысячелетнего уклада жизни упорным и повсеместным сопротивлением, потеряв при этом более десяти миллионов человеческих жизней из почти двенадцати миллионов общих жертв гражданской войны. Крестьянская борьба за освобождение от деспотизма «военного коммунизма» закончилась лишь после того, как Ленин вынужден был объявить о переходе к новой экономической политике. Вот только не было никаких оснований относиться с доверием к словам Ленина о том, что нэп введен «всерьез и надолго», помня о часто слишком лживых тактических и пропагандистских заверениях лидеров «пролетарской диктатуры», являвшихся для них обычным делом. Лейба Троцкий в книге «Литература и революция», вышедшей в 1923 году, прямо сказал: «Пришел нэп. Пришел и уйдет» (с. 73). Это был тот редкий случай, когда он сказал правду.

Конечно, окруженный приверженцами перманентной революции, Сталин довел до конца дело «ликвидации кулачества как класса», но было бы малодушно не помнить о том, из чьих рук он принял убийственную эстафету уничтожения русского крестьянства.

Какую же цель преследовали теоретики «пролетарского интернационализма»? Об этом можно судить по тем страшным делам, какие они творили в нашей некогда процветающей и благодатной обители. После горького опыта их кровавых экспериментов мы можем откровенно сказать, что путь социалистической революции

в России — это путь от расказачивания, от раскрестьянивания к расчеловечиванию всего народа.

В июле 1918 года на Пятом Всероссийском съезде Советов Ленин, настаивая на проведении в жизнь «правильного» распределения продуктов среди населения России, высказывает потрясающее и многое объясняющее убеждение: «Но глубоко ошибается тот, кто думает, что социализм можно строить в мирное спокойное время: он везде будет строиться во время разрухи, во время голода, так и должно быть...» (т. 36, с. 501).

Таким образом, согласно ленинскому определению приступать к строительству социализма можно только тогда, когда страна будет доведена до разрухи, голоде и нищеты, доведена сознательными, целенаправленными действиями (не то ли же самое делается у нас и теперь?). И это состояние разрухи и нищеты еще нужно было внушить народу как состояние во всех случаях неизбежное без построения социализма (ныне — без осуществления «перестройки»).

Давайте представим себя присутствующими на Пятом съезде Советов и прислушаемся к страстной речи вождя пролетариата: «...капиталисты и помещики десятки миллионов людей веками гнали и преследовали за одну только мысль об управлении землей. А теперь в несколько недель, в несколько месяцев, при отчаянной, бешеной разрухе, когда война изранила все тело России, так что народ похож на избитого до полусмерти человека, — в такое время, когда в наследство нам цари, помещики и капиталисты оставили величайшую разруху, за новое дело, за новое строительство должны браться новые классы...» (т. 36, с. 499).

Но до разрухи Россию довели не царизм и даже не первая мировая война, а непрерывная разрушительная работа интернационалистов — последователей иллюминатов, — приведших Россию к революции и гражданской войне. В 1918 году, поставив народ перед свершившимся фактом — разрухой и голодом, Ленин, точно следуя своей формуле построения социализма, страстно и прямолинейно стремится убедить делегатов съезда в том, что выход из создавшегося положения — только в «справедливом», «без эксплуататоров и грабителей», «без буржуев и капиталистов» социалистическом способе хозяйствования. Большинство делегатов, как видно из стенограммы, увлечено этой речью, многие потрясены проницательностью и убедительной прямотой вождя, они встают с мест и бурно аплодируют. Они еще не знают, что разруха и голод в течение трех следующих лет будут всей деятельностью Советов и карающих органов доведены до наивысшего предела: заводы и фабрики, лишенные сырья и топлива, остановятся, деревни окажутся разоренными, хлеб — конфискован, продукты и скот — реквизированы. Они еще не знают, что конфискованный хлеб будет отправлен в Германию — с одной стороны как плата за Брестский мир и с другой — для поддержки немецких рабочих в надежде на скорую социалистическую революцию в Германии, хотя нет никаких сведений о том, что они в 1918 году в этом хлебе нуждались. В России же начнется людоедство.

Но странно! Ленинская формула построения социализма только «во время разрухи, во время голода» почему-то распространялась лишь на Россию, хоть и сказано в ней, что так социализм будет строиться «везде». Ведь, ожидая социалистическую революцию в Германии, Ленин приказывал срочно отправлять туда русский

хлеб (а не наоборот), опасаясь доводить немецкий пролетариат до недовольства голодом и разрухой.

Вот тут возникает непростой вопрос: так ли уж «везде», в понимании Ленина, должен был строиться социализм лишь во время голода и разрухи? Не предназначалась ли такая участь только одной России? И, не имея пока еще твердого ответа, нам остается пребывать в недоумении: что́ это было? — искреннее заблуждение вождя или его тактический ход, рассчитанный на наивных делегатов Пятого съезда Советов (речь Ленина неоднократно прерывалась бурными аплодисментами)?

Оправдал ли себя социализм как форма «правильного распределения» продовольствия, социализм, странным образом всегда исходивший из недостатка этого продовольствия? И с другой стороны, продовольственный недостаток сам по себе как бы должен был «защищать» это самое «правильное распределение», оставаться беспредельно долгим гарантом необходимости социалистической системы, доведшей наше существование до абсурда: система обусловлена продовольственным и товарным недостатком, а недостаток есть результат «работы» самой системы.

Этот порочный замкнутый круг всевозможного «распределения» втянул нас в себя не случайно. Он был запланирован, выношен в «гениальном» сознании задолго до его применения и преподнесен нам как закономерная необходимость, в чем нетрудно убедиться, еще раз вернувшись к процитированным выше словам: «...социализм... везде будет строиться во время разрухи, во время голода, так и должно быть...»

II

Для чего нам в таких подробностях теперь вникать в события почти вековой давности? Увы, мы живем в такое переломное время, когда кошмар прошлого может повториться.

Нынешняя демократия с легкостью неимоверной осуждает революцию, ее **незаконный** большевистский переворот и последовавший за ним террор революционной власти. И никак многочисленные ее приверженцы не хотят взять в толк, что революция эта была подготовлена и спровоцирована не кем иным, как интернациональной демократией под российским флагом и что только она одна и повинна в том самом **перевороте**, в установившемся затем тоталитарном режиме, в том самом якобы ненавистном нынешней демократии времени, оскорбительно названном ею «сталинщиной». Одним словом, демократии некого винить ни в «сталинизме», ни в «ленинизме», кроме себя самой. Но демократия делает вид, что она здесь ни при чем и что всего этого — не понимает, не говоря уже о ее раскаянии в содеянном.

Интернационализированная демократия привела в двадцатом веке Россию к исторической катастрофе, к демагогически-идеологическому тупику, к морям крови, к неразрешимости в с е х проблем, вставших перед народами нашей страны. Но самое, может быть, страшное для России заключается в том, что этот опыт демократического эксперимента не пошел ей впрок, ничему не научил ни саму интеллигенцию, склонную к демократическим мечтаниям, ни весь российский народ, принесший самые страшные жертвы в угоду завезенной извне абстрактной демократической идее. В конце двадцатого века демократия вновь путем соблазнительных обещаний захватила власть в нашей стране. И уже сейчас видны предпосылки к новому террору и насилию.

Но в чем причина? Почему все именно т а к происходит? А разгадка в том, что при в н е ш н е м стремлении к «правовому государству» демократия, которую нам навязывают, — антигосударственна, и ее **свободы** в конечном счете простираются до отмены государства как такового. Для начала демократия старается стереть границы, чтобы оставить государства лишь как символические территории с идентичными для них законами и порядками. (Мы видим, что в Западной Европе границы уже условны.) Законы должны стать общими и для того, чтобы их легко можно было заменить другими или вообще отменить, а также чтобы с большей легкостью манипулировать разными народами. Потому любая демократия в коренной сути своей — противозаконна, то есть — против закона.

Демократия призвана размыть н а ц и о н а л ь н ы е границы и особенности всех народов, лишив государства этнического и национально-психологического стержня. Демократия, пытаясь внешне «сблизить» национальности, внедряет в сознание народов стереотипные клише типа «общечеловеческих ценностей», имея целью отмену национальности как исторического предрассудка, пережитка древности. Потому демократия по природе своей враждебна любой нации.

Демократия, насаждаемая сегодня, презирает патриотизм. До поры до времени она играет на патриотических чувствах, преследуя корыстные, временные цели (с одной стороны, во время войн, стихийных бедствий и т. д., а с другой — для разжигания межнациональных конфликтов), но основная ее задача — искоренить, изжить патриотизм из сознания людей, чтобы даже и зародыша этого чувства ни у кого не оставалось.

За примерами далеко ходить не надо: уже сейчас на языке нынешней российской демократии патриот — это шовинист, фашист, черносотенец, антисемит и т. п. Вся российская демократическая печать яро клевещет на патриотов, издевается, представляя их сборищем тупых, недоразвитых дебилов. И при объявлении террора (как в 1918 году) демократия первый и самый беспощадный удар наносит именно по патриотам. Они для нее — главная опасность. Демократия всегда — враг патриотизма, и в особенности — патриотизма основных, коренных народов.

Нетрудно разглядеть: как в 1917-м, так и в 1991-м годах демократические демагоги легко сыграли на естественном и понятном стремлении людей к социальной справедливости. И вот на этом своем, по сути, добром стремлении непревзойденно доверчивые русские попадают в элементарную идеологическую ловушку, из которой потом, трудно прозревая, им приходится выбираться путем неимоверных страданий и жертв. Вход в эту ловушку обставлен безобидными, заманчивыми и давно испытанными приманками типа «справедливой конституции», всевозможных «свобод», «гласности», «плюрализма», «правового государства», «человеческого фактора», «борьбы за мир» и других подобных атрибутов демократического словоблудия. За всеми такого рода пропагандистскими изобретениями стоит весьма четкая, конкретная цель: одурачивая массы, подчинить их демократической диктатуре, управляемой единым мировым центром, в руках которого — все могущество мирового капитала.

Но дело еще и в том, что в безвыходной ловушке демократической пропаганды оказались не только мы, население СССР, ССГ, СНГ и других — будущих аббревиатур, но и (в первую очередь) уже давно обработанное, окончательно зомбированное и оттого, может, самодовольное, не сознающее своей трагедии народонаселение Западного ультракапиталистического мира, главным образом, США (еще одной демократической аббревиатуры). Именно потому с нашей страной столько было возни у главных российских демократов (от Ленина с Троцким до Горбачева с А. Яковлевым и Ельциным), что мы, поначалу доверясь их красивым словам о «рабоче-крестьянской власти», «коммунизме», «перестройке» и «цивилизованном обществе», все же не теряли в себе способности если не к далекому прозрению, то хотя бы к пониманию того, что происходит со страной. Запад же покорился мировому правительству полностью и окончательно. И потому нынешняя история народов Запада ведет в тупик — к деградации и упадку. Животворящий Дух оставил их землю. Власть денег и маниакальной материальной выгоды (бизнес ради бизнеса) ведет к вырождению западного общества, с каким бы высокомерием оно сейчас ни смотрело на нашу неустроенную, развороченную, полуголодную жизнь.

Западный мир не сознает, что он порабощен демократией. Казалось, и мы в своем социализме были ею железобетонно закабалены. Но наш народ, пропустив через себя и братоубийственную войну, и гулаги, и коллективизацию, и индустриализацию, и сталинизм, и германский фашизм, и восстановление разрушенного, и «холодную войну», и ядерное противостояние, наш народ сумел так переломить, переварить тоталитарную систему, что она стала работать ему же на пользу, начала постепенно, с каждым годом все больше давать нужные народу плоды. Это произошло необъяснимо и непредсказуемо для мировой демократической власти. И дело тут, конечно, не в системе — она-то мировым кагалом задумана была как надо... Дело в нашем непредсказуемом, доверчивом, терпеливом и необъяснимом народе, который, возрождаясь, в буквальном смысле переродил систему. Россия, а с ней СССР стали выходить из-под контроля мировой закулисы. И только по этой причине в 1985 году интернациональной демократии срочно потребовалась «перестройка»...

Но вот «перестройка» завершилась полным развалом СССР. И теперь никому не удастся доказать, что именно такой результат не являлся изначально ее скрытой, подлинной целью и что М. Горбачев за что-то иное, а не за это получил Нобелевскую премию мира.

Сбылось все то, о чем последние годы предупреждала патриотическая печать и чему упорно не желало верить обманутое демократическими фарисеями население бывшей великой Державы. «Вы только посмотрите, что они пишут!» — вопили демократы еще год назад. Но прошло недолгое время, и действительность оказалась страшнее наших предупреждений.

Волею судьбы мы явились свидетелями неслыханного предательства интересов собственного государства людьми, стоявшими у его руля. Итог референдума, показавший желание всего народа жить в едином СССР, итог, который по Конституции обязан стать законом, — был полностью попран, растоптан, перечеркнут и забыт демократической властью с согласия бывшего президента страны и парламента. По всей видимости, референдум этот намечался с целью получения народного «мнения» в пользу разрушения СССР, но произошла непредвиденная для разрушителей осечка. Августовские «изменники Родины», попытавшиеся противостоять развалу, оказались в «Матросской тишине», а подлинные переворотчики еще более укрепили свою власть. Главный же предатель народа в конце концов тоже оказался не у дел, хоть и получил сказочное содержание за счет ограбленного народа и теперь скорее всего сочиняет и дальше новые валютные мемуары для своих западных покровителей.

За последний год только слабоумный человек не мог убедиться в том, что лицемерию демократов нет пределов и что лицемерие — их единственная сущность. Вспомним, как поносилась Советская Армия после прогремевших на весь мир событий в Тбилиси двухгодичной давности, спровоцированных З. Гамсахурдиа к открытию Первого съезда Верховного Совета СССР. Для их расследования было создано несколько независимых комиссий — военная, прокурорская и депутатская, которую, как известно, возглавлял А. Собчак. Вспомним, сколько месяцев муссировала пресса те события. Сколько лжи было наверчено вокруг них российскими и грузинскими демократами! Но через некоторое время сам Гамсахурдиа, уже в качестве президента Грузии, приказывал стрелять в оппозиционеров, а те же самые оппозиционеры-демократы хладнокровно расстреляли безоружную демонстрацию соотечественников, вышедших в поддержку своего президента. Российская же демократия, глядя на весь этот разбой, как в рот воды набрала — никакой реакции, ни слова возмущения. Законно избранного президента «цивилизованные» грузинские демократы вынудили бежать из собственной страны в страхе за свою жизнь. А не менее «цивилизованная» российская демократия соблюдала в той ситуации полный нейтралитет, как и во время жуткого геноцида в Южной Осетии, устроенного грузинскими национальными гвардейцами, когда средства массовой информации фактически замалчивали великую трагедию осетинского народа. Вот она — лицемерная, ехидная физиономия окружающей нас демократии!

Патриотическая печать не раз защищала Советскую Армию от нападок. Ну а что же сама армия? Ведь патриотизм, как казалось, прежде всего должен исходить из нее. Армия любого государства строится и укрепляется не только на деньгах, но и в первую очередь на идее патриотизма. Тем не менее у нас уже и в этом дефицит. Армия как-то безысходно и молчаливо проглатывала все нападки на нее со стороны демократических болтунов, а нередко и подобострастно вслушивалась в разложенческую демагогию, и, надо честно сказать, ей эта демагогия чаще всего нравилась. Идея демократизации армии нашла в среде высшего и среднего командования гораздо больше поклонников, нежели противников. Это говорит о том, что идея патриотизма среди них уже была не популярна. Не хочу останавливаться на причинах. Важно то, что сознание военных ко времени «демократизации» общества оказалось рыхлым и достаточно развращенным. Отдельные личности в таком положении ничего не решают и не меняют. Да и где они, эти личности, способные повести за собой?..

Как бы сейчас ни вертелись, какие бы запоздалые заявления ни делали российские правители, приходится признать: Россия под руководством Горбачева и Ельцина потеряла Балтийский и

Черноморский флоты, лишилась свободного и широкого выхода к своим главным морям и портам, и Ельцину в конце концов предназначено с этим смириться, как отдал он на заклание русских в Прибалтике и в Молдавии. Мановением пера на закате XX столетия перечеркнуты титанические усилия русского народа за выход к этим морям во время правления Петра I и Екатерины II. То есть, в своем историческом «развитии» Россия теперь отброшена к концу XVI века. Никакие масоны, никакие самые отъявленные русоненавистники еще пять лет назад не могли об этом даже и мечтать. Но беспримерные по ничтожности политики (один из которых нобелевский лауреат премии мира и «лучший немец года») в два счета решили проблему, веками мучившую завоевателей мировых пространств, — разорвать на куски великую Россию. И дело тут даже не только в потере территорий. Очереди за хлебом в наши дни подлиннее тех, что были в последнюю войну... За что же отдали территории?..

Отныне мы можем без всяких оговорок констатировать как данность: последние шесть лет — это самый позорный период в тысячелетней истории Российского государства. Даже Брестский мир меркнет перед коварством и непревзойденным предательством современных политиков, которые в своей преступности и подлости оказались изощреннее большевиков.

Журнал «Молодая гвардия» в статье «Для чего демократам власть?» (1991, № 6) предсказывал ближайшее будущее (хотя многие тогда еще не желали в это верить): «Чтобы добиться своих целей, пятая «демократическая» колонна обязана первым делом разоружить и разложить изнутри Советскую Армию, что их предшественники сумели проделать в 1917-м, а они успешно осуществляют сейчас. Затем — лишив продовольственного снабжения — устроить повсеместный голод.., натравить национальные окраины на русских.., запретить нерусским призывникам служить в союзной армии.., создать разобщенные национально-территориальные вооруженные формирования.., разжечь националистическую истерию в «республиках»... А следствием всего этого должна стать всеобщая война на самоуничтожение. Потом данную территорию можно будет брать голыми руками».

Миновал год — и что же мы наблюдаем? Союза больше не существует. Члены так называемого СНГ, Грузия и прибалтийские государства объявили о создании национальных вооруженных сил, а Украина и Казахстан претендуют на собственное ядерное оружие. Не абстрактный, а реальный голод стучится в наши двери. Деньги перестали быть гарантией нормального существования. Торговая мафия в союзе с властными структурами в течение полугода перед объявлением «свободного рынка» и «либерализации цен» вычистила прилавки магазинов от всех продуктов и всех товаров, чтобы, вступив в «рынок», фантастически обогатиться.

Продолжает бессмысленно молчать забитое, запуганное, доведенное до нищенского существования русское население, поголовно стоящее в бесконечных очередях, опутавших всю Россию, с омерзительными синими порядковыми номерами на ладонях (как в концлагере). Народ ли это, или — чернь, которую так яростно презирал Пушкин? Толпа, не сознающая своей национальности, равнодушная к таким понятиям, как Родина и человеческое достоинство, ужели эта безликая, безродная масса, стадо, покорно идущее на убой, — Россия? А вымирать от голода

в первую очередь придется именно ей. Когда еще в магазинах были дешевые продукты, эта толпа самоупоенно бегала на митинги демократов и истерично кричала «Долой!». Теперь же, когда на прилавках нет в буквальном смысле ничего, ее ни на один митинг силой не затащишь. «Не дай бог, опять коммунисты придут...» — вот единственное опасение этой узколобой черни. И невозможно ее пронять никакими доводами, что у власти находятся не кто иной, как бывшие коммунисты...

Телевидение нам не раз демонстрировало опыт ценовой «шокотерапии», произведенный над Польшей. Мол, ничего страшного, живут же там люди, не вымирают. Но для Польши высокие цены — более чем логичны и естественны. Польша, кроме угля, ничего не добывает, у нее нет ни золота, ни нефти, ни газа, ни цветных металлов, ни алмазов, ни промышленного леса, ни пушных зверей — всего того, чем богата Россия и за что получает она твердую валюту. У Польши нет ни Сибири, ни Дальнего Востока — богатейших природных кладовых. У Польши не было ни Гулага, ни Беломорканала, ни Днепрогэса, ни Турксиба, ни Тайшета, ни БАМа, ни КамАЗа, ни множества других «великих ударных строек коммунизма» двадцатого века, на которых люди фактически задаром в полном смысле самоотверженно и героически трудились ради «светлого будущего всего человечества». Да-да, не только ради достойного будущего своих потомков, но — всего человечества, в том числе и Польши. А вдобавок эти же люди спасли человечество от фашистской чумы. И как же можно теперь ставить нас на одну доску с Польшей, подвергать опыту той же ценовой «шокотерапии», лицемерно называя весь этот грабеж «равными стартовыми условиями эпохи первоначального накопления капитала»?! И как можно нашим людям не догадываться, что понятием «свободный рынок» «перестройщики» решили замаскировать экономический геноцид и государственное преступление по отношению к ним, живущим на богатейшей земле?! И как же нужно ненавидеть этих людей, чтобы после более чем семидесятилетней бесчеловечной эксплуатации устроить им еще один «шоковый» эксперимент на выживание!

Так что же такое демократия в современном понимании? Ответ достаточно прост: неограниченная власть денег. А все те закостеневшие представления, которые когда-то стояли за этим термином, давно отброшены и превращены в пропагандистские наживки для легковерных.

Известное «Слово к народу», опубликованное в прошлом году в «Советской России», не случайно не нашло отклика у тех, кому предназначалось, явившись, по сути, «гласом вопиющего в пустыне». Теперь уже совершенно ясно, что другой реакции и быть не могло. Потому народ не откликнулся на это «Слово», потому он до сей поры никак себя не проявил, что на самом деле потерял способность себя сознавать единой русской нацией. Голос «Слова» был брошен в глухую, безответную пустоту. Люди, живущие на этой земле, не понимают, чего от них хотят, не желают слышать того, о чем их предупреждают. Утратившее чувство патриотизма, это население так устроено, что очень легко верит любой лжи, сказанной «по телевизору», и в штыки принимает самую элементарную, лежащую на ладони правду. Поэтому наивно рассчитывать на воздействие по отношению к нему самого прав-

дивого «Слова». Абсолютно ясно, что русские герои и патриоты должны действовать иначе.

Чтобы спасти Россию и все население от гибели, патриоты обязаны взять власть в свои руки. Для этого есть два пути: вооруженный и экономический. Первый путь вряд ли возможен без поддержки армии. Однако армия к таким действиям не готова. Остается второй путь. Инициативные, умные и деятельные русские люди должны создавать новые экономические структуры: ассоциации, союзы, объединения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, насыщая страну дешевыми товарами и продуктами питания (иначе не выжить), а также образовывая собственный, патриотический капитал, работающий не только на производство, но и на печать, на культуру, на общественное сознание, на организацию новых национально-патриотических средств массовой информации. Руководители подобных сильных ассоциаций и объединений, патриоты-предприниматели, опираясь на здоровые национально мыслящие силы из рабочей и крестьянской среды, смогут законно делать государственную политику, основанную на общенациональных интересах.

Демократы лишены созидательных способностей. Их миссия — все здесь разваливать в угоду своим западным хозяевам. Мы обязаны противопоставить их «работе» действенное, активное созидание, организованность, зрелость, жесткую дисциплину и четкую всем понятную цель, а именно: власть в России должна принадлежать русскому народу.

Нам пора осознать, что американский капитализм и троцкистский социализм — это две равнозначные формы закабаления человечества. Выйдя из социализма и вступив в жесточайший, грабительский торгово-ростовщический капитализм, мы остались под одной и той же властью. Бывшая социалистическая Россия и капиталистический Запад (прежде всего их трудовое население) — это невольники узкого круга хозяев-магнатов, управляющих главными банками мира. И дело даже не в национальности этих хозяев, а в идее всемирного господства, которой они служат. Обе эти системы закабаления народов и государств имеют единую цель — тоталитарное государство. Все демократические партии, движения, интернационалистские лозунги и тому подобные игры лукавых демократов работают на одурачивание людей исключительно в угоду абсолютной, тоталитарной власти магнатов финансового капитала.

Единственно, кто может реально противостоять такому господству — это воплощенная в жизнь идея национального возрождения. И чем эта национальная идея духовнее, то есть чем она наиболее лишена экстремизма, тем враждебнее по отношению к ней вся мировая финансовая олигархия.

Если мы не хотим быть рабами, нам ничего не остается, кроме как вспомнить о своей принадлежности к великой нации. Пусть мы вспомним об этом последними, но пусть вспомним. Во всех республиках бывшего СССР к власти пришли национальные правительства, и только в России этого пока не произошло. Когда патриоты придут к власти в России, тогда жизнь на этой земле станет самой благодатной, самой счастливой, самой независимой и самой достойной для каждого, кто будет искренне желать ей достоинства, силы и добра.

Январь 1992 г.

Герман НАЗАРОВ

БОЛЬШЕВИКИ БОЛЬШЕВИКАМ РОЗНЬ

«Новые демократы», вышедшие из недр КПСС, забыли историю, разрушая государство и социалистический строй, презирая народ, за счет которого они процветали. Чтобы понять, что сейчас происходит, надо знать, что произошло в 1917—1937 годах. А тогда тоже была перестройка, но закончилась она плачевно для перестройщиков. Напомним некоторые вехи этой истории и спрогнозируем, что ждет «демократов» в ближайшем будущем.

В августе 1900 года Ленин встречается с Плехановым по вопросу издания «Искры» и затем излагает эту встречу в статье «Как чуть не потухла «Искра». Вот что писал вождь мирового пролетариата, мечтавший перевернуть мир: «По вопросу об отношении нашем к Еврейскому союзу (Бунду) Плеханов проявляет феноменальную нетерпимость, объявляя его прямо не социал-демократической организацией, а просто эксплуататорской, эксплуатирующей русских, говоря, что наша цель — вышибить этот Бунд из партии, что евреи — сплошь шовинисты и националисты, что русская партия должна быть русской, а не давать себя в пленение «колену гадову» и пр. Никакие наши возражения против этих неприличных речей ни к чему не привели, и Плеханов остался всецело при своем, говоря, что у нас просто недостает знаний еврейства и жизненного опыта в ведении дел с евреями» (т. 4, с. 339).

Изучив материалы и документы «Союза русских социал-демократов за границей», возглавляемого Плехановым, Ленин отказывается от сотрудничества с ним. Но зато активно сотрудничает с Бундом, редактирует бундовскую «Рабочую газету» и пишет статьи для нее.

Возвратившись после длительной эмиграции в Россию (почти одновременно с Лениным), Плеханов в издававшейся им газете «Единство» (№ 81 от 5 июля 1917 года) отмечал: «Хотя сторонники Ленина составляют меньшинство в нашей революционной демократии, которая отвергает их тактику, однако это не препятствует им твердо держаться своих тактических приемов и, время от времени, делать попытки приобретения господства посредством вооруженных манифестаций. Кто поручится нам за то, что одна из вооруженных манифестаций, организуемых ленинцами, не увенчается успехом? Вооруженное меньшинство без большого труда может справиться с невооруженным большинством».

В «Единстве» от 14 июля 1917 года Плеханов писал: «Мне, разумеется, и в голову не приходит защищать Ленина: слишком много жестокого, быть может, совершенно непоправимого вреда принес этот человек России. Но я скажу, что, осуждая Ленина, его далеко

не всегда хорошо понимают... Считая, что захват власти может и должен быть делом небольшого числа революционных удальцов, которым предстоит увлечь за собой пока еще бессознательную народную массу, Ленин издавна стремился стать диктатором в среде подобных умельцев.

Всем, знакомым с историей нашей социал-демократии, известно, что раскол, начавшийся в ней в 1903 году, поддерживался и упрочивался желанием Ленина приобрести в партии, — поневоле бывшей тайным обществом, — диктаторскую власть. Власть эту он называл дирижерской палочкой... Вот такими алхимиками революции нужно признать и наших ленинцев. Они хотят искусственно ускорить исторический процесс, сделать в России социалистическую революцию в такое время, когда еще нет необходимых для нее условий. Их выступления очень дорого обошлись России. Поэтому необходимо как можно скорее отмежеваться от них.

Ленин равнодушен к судьбам своей страны... Он органически не способен понять, что поражение России будет поражением русской свободы... Ленин демагог до конца ногтей... Ленин — несравненный мастер по части собирания под свое знамя «разнузданной деклассированной рабочей черни»; он все свои псевдореволюционные планы строит на неразвитости «дикого, голодного пролетариата». Наконец, он вольно или невольно, сознательно или бессознательно служит германскому империализму».

Тем, кто сегодня пытается защищать Ленина от нападок «демократов», надо знать Ленина и «демократов». Эти «демократы» кого угодно продадут, даже своего. Ибо они в своем большинстве являются нерусскими демократами. Ленин неоднократно подчеркивал: «С самого начала революции мы говорили, что мы представляем из себя партию интернационального пролетариата». Если бы Ленин не вихлял, а пошел на союз с Плехановым, несомненно восторжествовала бы национальная, русская идея. И события 1917 года приняли бы совсем иной характер. Но Ленин был представителем наиболее реакционного левого крыла «интернацистов», а Плеханов был русским патриотом.

Уже после совершившегося в октябре 1917 года государственного переворота Плеханов писал: «Виктор Адлер говаривал мне, полушутя, полусерьезно: «Ленин — ваш сын». Я отвечал ему на это: «Если сын, то, очевидно, незаконный...» Нельзя и меня, как теоретика русского марксизма, делать ответственным за всякое нелепое или преступное действие всякого русского «марксенка» или всякой группы «марксят».

Ленин настолько был близок к реакционному еврейству, к крайне левому крылу социал-демократии, что в 1921 году активно содействовал вхождению Бунда в РКП (большевиков), а в 1922 году в РКП(б) входит и мелкобуржуазная еврейская националистическая организация «Поалей-Цион», пытавшаяся соединить идеалы социализма с сионизмом. Ленин тогда писал: «Бунд стал на советскую платформу и понял, что такое основы Советской власти». Как мы знаем, это вооруженное меньшинство сионистов, поддержанное мировым сионизмом, справилось с невооруженным большинством русского народа. Сегодняшние «новые демократы» повторяют шаги своих предков. Они тянутся к оружию.

Когда говорят о том, что большевики, взяв власть, ставили своей целью построение социализма, то надо посмотреть, что собой представляли эти большевики и какой социализм они собирались строить. Ведь большевики большевикам рознь. Объединение всех националистических еврейских организаций под одной крышей — РКП(б) и создало ту карательную организацию, которая строила свой социализм, но не русский, не татарский, не узбекский.

У. Черчилль, неплохо разбиравшийся в политических течениях, четко подметил, наблюдая за происходящими событиями в России: «В современном еврействе есть три тенденции: консерватизм, сионизм и большевизм». Сионизм и большевизм тесно переплелись между собой. Сегодня такое тесное переплетение мы наблюдаем между сионизмом и демократизмом.

Теперь давайте посмотрим, кто придумал слово «перестройка». Если кто-то думает, что Горбачев, то это будет ошибка. Это слово он заимствовал у Ленина. Народ помнит, как только Горбачев пришел к власти с помощью «демократического меньшинства», он постоянно цитировал в своих демагогических речах Ленина. Слова «перестройка», «массовая перестройка» мелькают в выступлениях Ленина 1918, 1919-го и последующих годов. Но эти слова были синонимом чудовищному слову — «разрушение» (как, впрочем, и сейчас). У большевиков-сионистов была цель, которую Ленин выразил следующим образом: «Мы видим, что русская революция была в сущности генеральной репетицией или одной из репетиций всемирной пролетарской революции» (т. 38, с. 138); «Мы с самого начала говорили, что ставим ставку на всемирную революцию» (т. 39, с. 345).

Плеханов, наблюдавший за действиями Ленина и ленинцев и постоянно разоблачавший их, говорил: «Когда совершилась наша революция, ленинцы заговорили о необходимости ее углубления. Для углубления революции, как и всякого другого общественного движения, требуется наличность известных объективных условий, нужных для углубления революции в смысле замены капиталистического строя — социалистическим».

Горбачев, не скрывая своих намерений, в интервью «Московским новостям», еще в январе 1986 года, накануне XXVII съезда партии, заявил: «Перестройка — продолжение революции 1917 года». В последующих своих бесчисленных выступлениях он постоянно утверждал необходимость углубления перестройки. И он ее действительно углублял, как и Ленин. Он копировал Ленина во всем, разрушая государство по-ленински. Горбачев углублял перестройку-революцию в смысле замены социалистического строя капиталистическим. На смену русскому социализму пришел горбачевский капитализм с идеологией сионизма.

1924 год. Умер Ленин. Перестройка, начатая им, закончилась поражением России. Его слова, сказанные незадолго до смерти, надо всем запомнить, в том числе и верным ленинцам, пытающимся сегодня защищать его честь и достоинство: «...Мы приносим и должны принести величайшие национальные жертвы ради высшего интереса всемирной пролетарской революции» (т. 37, с. 190).

Троцкий, как второе лицо после Ленина в партии, хочет стать его преемником, рвется к власти. На вопрос, «с чего началась наша размолвка», Сталин, выступая на XIV съезде партии (декабрь 1925 года), ответил так: «Началась она с вопроса о том, как быть с Троцким. Это было в конце 1924 года. Было предложено исключить Троцкого из партии». Но тогда ограничились лишь снятием Троцкого с поста наркомвоенмора. Таким образом, Сталин решил первостепенную задачу — отнял у Троцкого его детище —

Красную Армию. Лишил его наиважнейшего поста в государстве.

Троцкий, фракционер, требует многопартийности. Сталин же борется за единство партии. Выступая перед коммунистами, он подчеркивал: «Не забывайте, что каждая размолвка вверху отдается в стране, как минус для нее».

Троцкий пытается втянуть партию в очередную длительную дискуссию. Он возвращается к своей бредовой и страшной идее — теории перманентной революции, с которой он носился еще с 1905 года. И теперь мы видим, что эта теория Троцкого жива. Ее подхватили «новые демократы»: Горбачев, Яковлев, Медведев, Афанасьев и другие теоретики и практики троцкизма. Сегодня Россия переживает четвертую революцию в этом столетии, она умышленно втянута в нее.

Сталин тогда прямо дал понять оппозиционерам, что никаких перманентных революций в России больше не будет, что мы будем строить фабрики и заводы, укреплять союз рабочих и крестьян и работать так, чтобы рабочим и крестьянам жилось лучше. Он указал на троцкистский уклон в партии и открыто заявил: «На деле этот уклон ведет к разжиганию классовой борьбы в деревне, к возврату к комбедовской политике раскулачивания, к провозглашению, стало быть, новой гражданской войны в нашей стране и, таким образом, к срыву всей нашей строительной работы». Неотроцкисты, обладая средствами массовой информации, вновь разжигают борьбу. Но не классовую, а межнациональную. Вновь ведут политику раскулачивания, но — не владельцев совместных предприятий, кооператоров и теневиков, ограбивших и разоривших народ, а разоряют колхозы и совхозы. Неотроцкисты снова развязали гражданскую войну.

Перестройку (разрушение), начатую троцкистами во имя всемирной революции, Сталин повернул в направлеиии мирного строительства. Беседуя с иностранными рабочими делегациями 5 ноября 1927 года, Сталин говорил: «Социал-демократия Троцкого в стране диктатуры пролетариата является силой контрреволюционной, добивающейся восстановления капитализма и ликвидации диктатуры пролетариата во имя буржуазной «демократии»... Болтают о демократии. Но что такое демократия в партии? Демократия для кого? Если под демократией понимают свободу для пары-другой оторванных от революции интеллигентов болтать без конца, иметь свой печатный орган и т. д., то такой «демократии» нам не нужно, ибо она есть демократия для ничтожного меньшинства, ломающего волю громадного большинства».

Сегодня буржуазная «демократия» берет верх, ломая волю громадного большинства путем дезинформации и распространения небылиц про Сталина и социализм, в котором купались как сыр в масле.

На ноябрьском пленуме ЦК (1927 год) первая группа троцкистов во главе с Троцким была исключена из партии. Это была большая победа, но это было только начало борьбы по выкорчевыванию троцкизма и сионизма в России.

В речи «Партия и оппозиция» (23 ноября 1927 года) Сталин подвел итог первому этапу борьбы между русскими большевиками и «перманентной» оппозицией внутри партии: «Теперь, в конце 1927 года, в связи с новыми трудностями в период **перестройки** (подчеркнуто мной. — Г. Н.) всего нашего хозяйства, они (троцкисты) вновь начали куковать о «гибели» революции, прикрывая этим

действительную гибель своей собственной группы... Оппозиция обманула русский народ дважды. Теперь она вознамерилась обмануть его в третий раз. Нет уж, товарищи, довольно с нас обманов, довольно игры».

Сталин был и стратег, и психолог. Он понимал, в каком окружении находится. И он выбрал, пожалуй, единственно верный путь: столкнул между собой две сионистские группировки — верных троцкистов и верных ленинцев.

На вопрос, что же дальше, Сталин ответил так: «Дальше некуда идти, товарищи, ибо пройдены все пределы допустимого в партии. Нельзя больше болтаться в двух партиях одновременно, и в старой ленинской партии, и в новой, троцкистской партии. Надо сделать выбор между этими двумя партиями. Либо оппозиция сама уничтожит эту вторую, троцкистскую партию, отказавшись от своих антиленинских взглядов; либо оппозиция этого не сделает, и тогда мы сами уничтожим троцкистскую партию без остатка» *.

Увы, в наше время партия не разглядела, что ее лидеры фактически находились в двух партиях: в КПСС и троцкистской оппозиции в КПСС, с помощью которой пришли к власти. Сейчас эта троцкистская партия именует себя «Движением демократических реформ». На состоявшемся в декабре 1991 года очередном сборище этой партии ее участники открыто заявили, что они будут и дальше поддерживать развал государства (в печати этот развал назван «процессом создания содружества независимых государств»). Они также заявили, что будут поддерживать демократические силы, находящиеся сегодня у власти во всех республиках и регионах России (то есть своих же!).

Сталин обратил внимание на то, что у нас зародилась новая буржуазия, которую расплодил Троцкий. «Характерной чертой новой буржуазии, — как бы и о нашем времени говорил Сталин, — является то, что она, в противоположность рабочему классу и крестьянству, не имеет оснований быть довольной Советской властью. Ее недовольство не есть нечто случайное. Оно имеет свои корни в жизни». Сегодняшние «новые демократы» по сути уже свергли советскую власть.

По дурной традиции, слепо доверившись своим лидерам, КПСС приняла навязанную ей игру в плюрализм мнений. Фактически же своим молчанием и пассивностью партия предала народ. Рабочий класс, как авангард партии, отвернулся от нее. И виной тому — троцкисты, дискредитировавшие партию. Они развалили ее сверху.

«Перестройка» и в 30-е годы была модным словом. Это слово так же, как и сегодня, употреблялась едва не на каждом шагу. Только тогда словам отвечали конкретные дела. А сегодня? Убийственная критика, жесткие обличительные материалы, обвинения в коррупции и мафиозности, которыми полна патриотическая печать, сплошь и рядом остаются без последствий. Даже на депутатские запросы — ноль внимания. В народе открыто говорят о предательстве и измене Родине бывших членов ЦК и Политбюро, а ныне «новых демократов». Кучка политических авантюристов и шарлатанов начала новый эксперимент над страной, бросив народы

* Сталин использовал имя Ленина для разгрома троцкизма. В последующем сумел изменить кадровый ленинский состав партии, заменив его выходцами из рабочих и крестьян. 29 июля 1941 года в беседе с Жуковым Сталин сказал: «Мы без Ленина обошлись...». В речи на XIX съезде партии (октябрь 1952 года) он имя Ленина уже не упоминал.

не произвол судьбы, разрушив управление громадным государством, наплодив новую бюрократию из десятков президентов со своими аппаратами, мэрами и вице-мэрами, громадным аппаратом паразитирующих на теле народа бездельников и казнокрадов, жуликов и уголовников. На народ накинули новую петлю и в очередной раз гонят его в пожар гражданской войны.

Случайно ли новая власть, называющая себя «демократической», начала свою деятельность с критики И. В. Сталина? И не просто с критики и злобного его поношения, а с разрушения идеологии патриотизма, на котором держалось наше государство.

Советские сионисты, поощряемые бывшими сусловско-брежневскими идеологами А. Н. Яковлевым и В. А. Медведевым, открыли в печати клапан для кампании безудержной клеветы на социализм, на советский строй, на структуры советской власти. Жить в стране, пользоваться ее благами и одновременно ее ненавидеть — такого нет ни в одном цивилизованном государстве, такого не потерпел бы ни один народ. А почему в нашей стране это стало возможным? Почему никто не дал отпора этим зарвавшимся плюралистам? СССР, видите ли, стал империей зла!

Автор известной книги «Спор о Сионе» английский журналист Дуглас Рид писал: «Чтобы забрать в руки общественное мнение, надо привести его в состояние полного разброда, дав возможность высказать со всех сторон столько противоположных мнений, чтобы народы окончательно потеряли голову в этом лабиринте, придя к заключению, что лучше всего не иметь мнения в политических вопросах, понять которые не дано обществу, ибо их понимают лишь те, кто управляет обществом».

Те, кто в 1985 году пришли к управлению нашей страной, чтобы забрать в руки общественное мнение и привести его в состояние полного разброда, завладев прессой, использовали сплошь и рядом самую гнусную и изощренную ложь. Вспомним хотя бы о якобы имевших место массовых репрессиях, чинимых Сталиным в 1937—1938 годах. Называется цифра в десятки миллионов человеческих жизней, а один «демократ» из отряда адамовичей и коротичей так расстарался, что назвал цифру жертв «сталинщины» в 120 миллионов человек.

Но что характерно. Даже немногочисленные возражения «террористических» ведомств (КГБ, МВД, Верховного суда и Прокуратуры СССР) во внимание не принимались, документальные цифровые данные, приводимые руководством этих ведомств, не опровергались. Несмотря на то, что «демократам» открыто указывали на их необъективность в изложении событий 1937—1938 годов, они продолжали десятками миллионов тиражировать свою ложь (благо печать в их руках), отравляя умы в первую очередь молодого поколения.

Приходится сожалеть, что к распространению этой лжи приложила старание бывшая партийная печать: «Правда», «Коммунист», «Партийная жизнь», «Политическое самообразование», «Агитатор» и другие массовые издания.

Напомним эти данные: «С 1930 по 1953 год по обвинению в контрреволюционных преступлениях судебными и разного рода несудебными органами было осуждено 3 778 234 человека, из них приговорено к высшей мере наказания — расстрелу 786 098 человек» («Правительственный вестник» № 7, 1990 г.); «За время

с 1 октября 1936 года по 30 сентября 1938 года Военной коллегией Верховного суда СССР и выездными сессиями коллегий в 60 городах осуждено к расстрелу 30 514 человек, к тюремному заключению — 5643 человек» («Красная звезда», 1989, 8 апреля).

Представляет интерес информация, просочившаяся в газете «Аргументы и факты» (№ 5, 1990 г.). Эта газета сообщила о числе жертв, осужденных по статье 58-й (измена Родине): «Отмечалось, что созданным на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 5 ноября 1934 года Особым совещанием при НКВД СССР, которое просуществовало до 1 сентября 1953 года, было осуждено 442 531 человек, в том числе к высшей мере наказания приговорен 10 101, к лишению свободы 360 921 человек». Как же согласовать эти цифры с утверждениями о десятках и сотнях миллионов жертв в 1937—1938 годах? Их не было!

Ну а сколько же к настоящему времени реабилитировано? На этот вопрос дают ответы все тот же «Правительственный вестник» и «Сборник КГБ СССР» (июнь 1990 г.). Первый сообщил, что в 1954—1961 годах было реабилитировано 737 182 человека, а второй назвал цифру 844 740 человек за период 1988—1989 годов. Затем процесс реабилитации затормозился. Многие увидели, что идет откровенное мошенничество.

Но и из этого видно, что реабилитация в 1954—1961 годах проходила более медленно — за семь лет хрущевского периода было реабилитировано меньше людей, чем за один год горбачевско-яковлевского правления. Если все же поверить всем этим комиссиям, то невинными оказались 1 581 922 человека. Значит, остальные 1 196 312 человек были репрессированы законно?!

Безусловно, вернуть честное имя невинно осужденному необходимо, это наш долг. Но в связи со всей этой шумихой, поднятой «демократами» вокруг реабилитации жертв «сталинщины», возникают вопросы, требующие ответа: почему ни хрущевская, ни горбачевско-яковлевская комиссии не рассматривали периоды 1917—1930 и 1954—1991 годов? Расказачивание, раскрестьянивание, раскулачивание, массовые бессудные расстрелы в период 1918—1922 годов в Петрограде, Киеве, Харькове, Одессе, Новороссийске, Москве и других городах — это все было законно? Почему жертвы «сталинщины» исчисляются с 1930 года, когда в живых были правившие страной многие из будущих жертв, т. е. вся так называемая «ленинская гвардия», пришедшая к власти в 1917 году? Законно ли она пришла к власти или путем государственного переворота? Почему среди реабилитированных не выделено, сколько из них было привлечено за контрреволюционную деятельность (принадлежность к троцкистской оппозиции), а сколько из них обычных уголовников?

На эти вопросы «демократическая» пресса ответа не дает. Она боится поименного рассмотрения дел репрессированных. Да и цифры что-то не сходятся: с 1934 по 1953 год за контрреволюционную деятельность был осужден 442 531 человек, а реабилитировано более полутора миллионов. Выходит, что в число реабилитированных попали и уголовники?!

Под шумок реабилитации полным ходом идет реставрация троцкизма — злейшего врага России. Издательство «Советская энциклопедия» в пылу всеобщего восхваления троцкизма и всеобщего плача по троцкистам, частично уничтоженным Сталиным, сделало

хороший подарок своим читателям. Для ликвидации нашей всеобщей неграмотности в вопросах троцкизма в 1989 году выпущена энциклопедия «Деятели СССР и революционного движения России». В ней 289 биографий и автобиографий революционеров всех мастей. Среди них есть и те, кто приехал тремя большими партиями в запломбированных германских вагонах в 1917 году. Давайте взглянем на некоторых из них. Это небезынтересно, ибо дает толчок к размышлению над тем, что за люди пришли к власти в России.

Революционеры 70—80-х годов прошлого века, по-видимому, были более честными, нежели революционеры 1917 года. Под псевдонимы не прятались и не выдавали себя за русских. Не боялись указывать, что они евреи.

О. В. Аптекман в своей автобиографии указывал, что он родился в зажиточной еврейской семье, а его отец был одним из первых пионеров русского просвещения среди евреев, и с гордостью подчеркивает, что «он первый внес русскую речь в нашу семью, он принес с собой русскую книжку».

А вот некто Н. К. Бух подчеркивает, что его мать была русская, дочь дворянина — владельца села Варакино Калужской губернии. Отец был норвежец. В числе своих многочисленных родственников имел и французов, и немцев. «Мы, таким образом, уже по рождению были интернационалистами», — пишет Бух.

Небезызвестный Л. Г. Дейч в своей автобиографии писал: «Под влиянием Некрасова, Тургенева, Писарева, Чернышевского я, считая себя русским, уже в 13—14 лет задумался о положении трудящегося народа. Но разразившийся в Одессе антиеврейский погром в 1871 году заставил меня впервые почувствовать исключительно угнетенное положение единоплеменников. Все же я допускал, что они отчасти сами виноваты во враждебном к ним отношении благодаря своему стремлению к легкой наживе и избеганию тяжелого физического труда». Как известно, Дейч на II съезде РСДРП не примкнул ни к Троцкому — тогдашнему меньшевику, ни к Ленину, возглавившему фракцию большевиков. Он примкнул к Г. В. Плеханову и до конца своей жизни оставался верным плехановцем. Не участвуя в зверствах сионистов, он сохранил себе жизнь и умер в 86-летнем возрасте в 1941 году.

Некто М. И. Дрей в своей автобиографии указывает такую деталь: «И хотя мой отец еврей по происхождению, но был насквозь пропитан немецким духом и всенемецкими симпатиями; дома мы говорили по-немецки».

Удосужившаяся попасть в эту энциклопедию непонятно за какие заслуги Ф. А. Морейнис-Муратова сообщает, что родилась в богатой ортодоксальной еврейской семье. «С русскими не допускались в семье никакие сношения. Вся прислуга была еврейская. Нам было запрещено даже разговаривать с русскими».

Другой «русский» революционер, В. Г. Тан-Богораз, пишет: «Отец был из семьи раввинов, ученым по части еврейских обрядов». А далее делится теплыми воспоминаниями о тех днях, когда они — евреи — пришли к власти в России: «Горькая пена революции, соленая, теплая кровь. И ею никак не насытишься, только захлебнешься, как пеною морской. И сохнут уста, и жажда сильней и настойчивей... Вместе с другими я тоже злопыхательствовал и ненавидел (видимо, Россию. — Г. Н.) и соответственно злобствовал».

Но это в большинстве те «русские» революционеры, которые по своей старости не дотянули до 1937 года и умерли в 20-х годах своей смертью. А вот «пламенные русские революционеры», коих слезно оплакивает «новая демократия».

Братья Беленькие, Гирш и Арон. Гирш в своей автобиографии пишет: «Я вел беспощадную борьбу против русского шовинизма, всецело поддерживал последовательную интернационалистскую политику ленинского ЦК». Арон, как и Гирш, — бывший бундовец, оба приняли активное участие в подготовке Октябрьского переворота. Но если Гирш был партийным работником, то Арон пошел по чекистской линии, а в 1919—1924 годах был начальником охраны Ленина. Оба расстреляны в 1938 году.

Белобородов (Вайсбарт Янкель Исидорович) и Голощекин Шая-Ицков Исаакович. На их совести ритуальное убийство царской семьи. Оставили свой кровавый след на Урале, Северном Кавказе, Украине. Белобородов особенно отличился на Дону при массовых расстрелах казаков и их семей. Расстреляны в 1938 году.

Вайнштейн Арон Исаакович. В 1898 году вступил в Бунд, с 1901 года стал членом ЦК Бунда. Вместе с Бундом вошел в РКП(б), а затем в президиум ЦИК. Хорошо помогал Троцкому в его кровавых акциях в Белоруссии и Киргизии. Расстрелян в 1938 году.

Ганецкий (Фирстенберг) вместе с Парвусом (Гельфандом) был посредником в получении денег от германского генерального штаба Троцким, Зиновьевым и Лениным. Расстрелян в 1937 году.

Каменев Лев Борисович (он же Розенфельд). По предложению Ленина избран председателем II съезда Советов, который провел и оформил Октябрьский переворот. Еще в июле 1917 года Ленин писал Каменеву: «Если меня укокошат, я вас прошу издать мою тетрадку «Марксизм о государстве». С 1918 года Каменев полновластный «Хозяин» Москвы и Подмосковья, где проводил экзекуции над мирным населением. С 1922 года заместитель Ленина. Расстрелян в 1936 году.

Зиновьев (он же Апфельбаум Овсей-Гершон Аронович). Один из ближайших сотрудников и учеников Ленина. Это он скрывался с Лениным в шалаше. «Хозяин» Петрограда и северных областей России, сократил население Петрограда с 2,5 миллиона до 900 тысяч человек. На судебном процессе заявил: «Что я могу сказать в свою защиту, если рядом со мной сидят Натан Лурье, Моисей Лурье, то есть люди, засланные из фашистской Германии, с которыми мы связались и фактически превратились в филиал гестапо». Расстрелян в 1938 году.

Крестинский Николай Николаевич. В автобиографии скрыл свою национальность, назвав своих родителей украинцами. Но это не помешало «украинцу» Крестинскому в 1903 году вступить в Бунд, а потом, будучи наркомом финансов в ленинском правительстве, украсить первые советские деньги шестиконечными звездами израильского царя Давида. Расстрелян в 1938 году.

Бела Кун — венгерский еврей. Особенно злобствовал в Крыму на пару с Землячкой (Залкинд). От руки этого палача погибли десятки тысяч русских офицеров. Расстрелян в 1938 году.

Лацис (он же Судрабс) — латышский еврей. Это он открыто писал в книге «Чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией»: «Нам как израильтянам надо построить царство будущего». В 1919 году председатель Всеукраинской ЧК, залил Киев морем

крови. На его совести десятки тысяч замученных русских, украинцев, белорусов. Расстрелян в 1938 году.

Яковлев (Эпштейн). Бундовец. «Разрабатывал мероприятия по оживлению Советов», — писал он в автобиографии. Не вкралась ли опечатка в слово «оживление»? В 1929—1934 годах — нарком земледелия СССР. На его совести голод в 1933—1934 годах. Расстрелян в 1938 году.

Авантюристами, организаторами красного террора и голода были Бухарин, Радек (Собельсон), Раковский, Рязанов (Гольденбах), Смилга, Сосновский, расстрелянные в 1938 году. Сосновский, подручный Свердлова, редактор газеты «Беднота», в автобиографии отмечал: «Многие сверстники отца были православными, а он как-то остался евреем. Он мне показывал на базаре стариков лавочников с истинно русскими фамилиями, но с истинно еврейскими носами и бородами. Я еще в 1905 году стал практиковать террор против русской буржуазии». И сосновские, и розенфельды с особой силой стали практиковать террор, как только пришли к власти.

Это только верхний срез политических авантюристов, грабителей и убийц, которые на протяжении 20 лет как пиявки сосали кровь поверженной ими России. И все они сегодня реабилитированы.

Как ни странно, в этих демократах-убийцах к 1918 году стал разбираться Максим Горький, вращавшийся среди них с 1901 года, а в 1905 году вступивший в РСДРП. В воскресенье 7 января 1918 года вышла «Новая петроградская газета» откровенно троцкистского толка. В статье «Горький разочарован» писалось: «Знаменитый босяцкий писатель заявляет, что «впредь будет утверждать, что в нашей стране нет должных условий для введения социализма и что правительство Смольного относится к русскому рабочему, как к хворосту. Оно зажигает хворост для того, чтобы попробовать — не загорится ли от русского костра общеевропейская революция?

Это значит — действовать «на авось», не жалея рабочего класса, не думая о его будущем и судьбе России — пусть она сгорит бессмысленно, пусть обратится в пепел, лишь бы произвести опыт. Так действуют фашисты... С русским пролетариатом производят опыт, за который пролетариат заплатит своей кровью, жизнью». Горький оказался прав.

Прав оказался и еврей Мартов (Цедербаум), который, сбежав от своего друга Ленина, в «Социалистическом вестнике», издаваемом в Берлине в 1923 году, писал: «...Как только большевики стали у власти, с первого же дня они начали убивать. Зверь лизнул горячей человеческой крови. Машина человекоубийства пущена в ход. Господа Троцкий, Медведев (его сын Рой Медведев — депутат Верховного Совета СССР. — Г. Н.), Бруно, Петерсон... засучили рукава и приступили к работе мясников».

Под маской большевиков к власти в России пришли троцкисты, старавшиеся использовать партийный билет как средство маскировки. «Имея партийные билеты и прикрываясь друзьями советской власти, они, — говорил Сталин, — обманывают наших людей политически, злоупотребили доверием масс, вредили втихомолку и открыли наши государственные секреты врагам Советского Союза».

Репрессии и террористические войны имеют конкретных виновников, и было бы ошибочно говорить о виновности всей партии или всего народа, как это стало модным в определенных средствах массовой информации. В 1937 году именно русский большевизм победил троцкизм. А сейчас возрожденный троцкизм мстит за свое поражение не только русским большевикам, но вообще русской нации. В 1917 году троцкинята вопили, что Россия — империя зла, е сегодня лозунги «новых демократов» перекликаются с лозунгами их предков. Теперь СССР империя зла, а посему эту империю надо разрушить. Сегодняшние троцкисты все настойчивее внушают народу, что надо наконец с коммунистами рассчитаться, что именно они враги народа. Но кто нам подобное внушает? Илья Заславский, Павел Бунич, Гавриил Попов, Георгий Арбатов и другие — все интернационалисты с общечеловеческим лицом, которые на словах пекутся о правах человека, а на деле?

Ленин в записке для членов ЦК еще в марте 1922 года писал: «Если не закрывать себе глаза на действительность, то надо признать, что в настоящее время пролетарская политика партии определяется не ее составом (нет сомнения, что наша партия теперь по большинству своего состава недостаточно пролетарская), а громадным, безраздельным авторитетом того тончайшего слоя, который можно назвать партийной гвардией».

Партия, находившаяся с 1917 года у власти, была фактически под влиянием Троцкого. Это была, по существу, партия советских сионистов. Немудрено, что 80 процентов членов партии с дореволюционным партийным стажем были арестованы, а 75 процентов членов ЦК, избранных на XVII съезде партии, расстреляны. Сталин остановил репрессии над народом, и страна зажила созидательной жизнью. Но, имея в руках прессу, можно кого угодно представить злодеем. Хотя известна и такая русская пословица: на воре и шапка горит. Выступая на сионистском сборище, мэр Москвы Г. Попов заявил, что КПСС надо рассматривать так же, как в Нюрнберге рассматривали СС. Но почему не наоборот? Почему бы не сказать ему о старых и новых демократах-перестройщиках, оккупировавших Россию и тогда и сейчас, доведших страну до голода, развала, межнациональной вражды?

Бывший коммунист Г. Попов ныне самый богатый человек среди «демократической» буржуазии, он же и лидер буржуазной партии ДДР, в которой немало бывших членов Политбюро и ЦК. Это о них говорил Сталин на XIX съезде партии: «Раньше буржуазия позволяла себе либеральничать, отстаивать буржуазно-демократические свободы и тем создавала себе популярность в народе. Теперь от либерализма не осталось и следа. Нет больше так называемой «свободы личности» — права личности признаются теперь только за теми, у которых есть капитал, а все прочие граждане считаются сырым человеческим материалом, пригодным лишь для эксплуатации. Растоптан принцип равноправия людей и наций, он заменен принципом полноправия эксплуататорского меньшинства и бесправия эксплуатируемого большинства граждан... Теперь буржуазия продает права и независимость нации за доллары. Знамя национальной независимости и национального суверенитета выброшено за борт».

Вот почему нынешняя перестройка началась с оголтелой критики Сталина, ибо больше всего бывшие коммунисты-сионисты боятся русского большевизма — в своей основной массе рабочих и крестьян, которые, вытряхнув Бунд из партии, добились победы.

ОТ РЕДАКЦИИ

Несколько лет тому назад в газете «Труд» в статье «Чужой орден» был оклеветан фронтовик, участник сражений за Сталинград и Берлин писатель И. Г. Падерин. В его защиту выступила в «Литературной газете» группа заслуженных писателей, доказав, что авторы вышеназванной статьи Ю. Дмитриев и В. Дунаев сфальсифицировали факты. При выяснении позиций и личностей этих авторов открылось, что Ю. Дмитриев является сыном пособника оккупантов. Именно об этом факте было упомянуто в повести Николая Кузьмина «От войны до войны. Ночные беседы» («Молодая гвардия», № 7, 8, 1989 г.). И как только номер журнала с этой повестью вышел в свет, журналист Ю. Дмитриев подал в суд на автора повести и на журнал, ее опубликовавший, потребовав защитить якобы честное имя своего отца.

Суд заседал более недели. Из партийного архива Москвы были доставлены документы многолетней давности. Выяснилось, что отец журналиста в начале Великой Отечественной войны был арестован в Краснодаре за кражу, сумел бежать из-под конвоя, вернулся в оккупированный Краснодар и затем ушел вместе с отступающими гитлеровцами.

Документы свидетельствовали также, что мать журналиста в 1945 году была репрессирована «как член семьи изменника Родины».

Казалось бы, факты налицо. Однако Ю. Дмитриев заявил на суде, что у автора повести «не было оснований называть моего отца полицаем, нет у него доказательств и того, что моя мать репрессирована именно за преступления своего мужа». Такими вещественными доказательствами Н. Кузьмин не располагал, и суд потребовал, чтобы он извинился перед Ю. Дмитриевым. Отчет об этом судебном разбирательстве писатель опубликовал в нашем журнале (№ 4, 1991 г.), после чего получил вызов, но теперь уже не в суд, а в прокуратуру. На него заведено уголовное дело, готовится новый суд. Журналист Ю. Дмитриев по-прежнему «дышит местью». Между тем в наш журнал и в судебные органы идет множество писем читателей, не теряющих надежды на то, что справедливость восторжествует.

Этому, несомненно, способствуют и новые документы, найденные недавно в Краснодарском краевом архиве.

Но пусть об этом расскажет сам Николай Кузьмин.

Николай КУЗЬМИН

А ЧТО ЖЕ В АРХИВАХ КГБ?

Итак, скоро три года, как я, образно говоря, подвешен на судебный крючок и в ожидании расправы медленно схожу с ума. Если до сих пор меня еще не поразило безумие, то в первую очередь я этим обязан вам, мои дорогие друзья-читатели. Исключительно в ваших письмах черпаю и силы, и уверенность. Низкий вам поклон за активную патриотическую помощь.

Считаю своим долгом отчитаться перед вами и заодно поставить вас в известность, как развивалась моя (и ваша, ваша тоже!) борьба с обнаглевшими истцами и заявителями.

Плацдарм нападающих был таков. На первом судебном разбирательстве мне не удалось доказать, что отец журналиста Дмитриева Ю. В. служил полицаем. Да, за воровство он был взят под стражу, а затем бежал с этапа и пробрался к семье в оккупированный Краснодар. Да, он не стал дожидаться советского суда и бежал вместе с немцами. Но вот повязки полицая он не носил. И поэтому судья Шабанова Н. П. вынесла решение о защите чести и достоинства вора и предателя и обязала редакцию журнала «Молодая гвардия» принести его сыну свои извинения.

Вскоре после этого журналистом Дмитриевым против меня было возбуждено новое, уже уголовное, дело. На каком основании я позволяю себе называть его отца предателем? Бежал через фронт к немцам? Убегал вместе с ними от советских войск? Скрывался от нашего правосудия несколько десятилетий в Италии? Это ровным счетом ничего не значит!

Следователь Курицын «выворачивает» проблему так: а кто конкретно назван в документах «изменником Родины»? Муж матери Дмитриева (то есть отец журналиста)? Ну, знаете, это еще требуется доказать!

И мне замаячило три года тюрьмы. Спасение мое было в одном: во что бы то ни стало доказать, что мать журналиста репрессирована 18 августа 1945 года за грехи мужа, а не сына, которому в ту пору было что-то около 11 лет. Никаких других членов семьи у Дмитриева-отца тогда не существовало; только жена и ребенок.

В борьбу за спасение меня от тюремной камеры очень активно вмешался молодой писатель Виталий Носков. Живет он в городе Кургане. Познакомились мы с ним на одном из семинаров молодых литераторов. Виталий — убежденный патриот. В настоящее

* См. № 4, 1991 г.

время он все силы отдает восстановлению Долматовского монастыря.

Зная мои мытарства, Виталий недоумевал: «Но почему никто — ни суд, ни прокуратура — не поинтересуется архивами Краснодарского края? Не может же быть, чтобы там ничего не сохранилось!»

По командировке журнала «Молодая гвардия» В. Носков отправился в Краснодар, на родину журналиста Дмитриева, где ему удалось получить доступ к документам, к которым не сумел добраться даже пробивной журналист Дмитриев. Иначе мы не смогли бы их сейчас читать.

Считаю долгом назвать имена людей, оказавших молодому писателю всестороннюю помощь. В первую очередь это атаман Кубанского войска Громов В. П. Затем Демиденко В. А., Косинов Ф. В. и Федоренко И. Г.

Побывав в разных учреждениях, Виталий Носков оказался наконец в краевой прокуратуре. Туда из краевого управления КГБ, из архива, ему доставили серенькую папку, уже начавшую желтеть от времени. Это было — назовем его так — «Семейное дело» родителей журналиста Дмитриева Ю. В. Заведено оно было еще в 1945 году. Сохранилось в неприкосновенности, со всеми бланками и протоколами, со всем тогдашним стилем делопроизводства.

Вот протокол допроса матери журналиста Дмитриевой Нины Константиновны. Состоялся он 16 февраля 1945 года. Ведет его лейтенант Ржевский.

«...Дмитриева: Мой муж Дмитриев В. Г., 1897 г. рождения, до оккупации Краснодара работал на складе «Леспродторга». В 1941 г. он был арестован органами НКВД. Перед отходом частей Красной Армии мой муж в числе других арестованных был этапирован, при немцах в сентябре 1942 г. он возвратился в Краснодар и весь период нигде не работал... Брат его в первых числах января 1943 г. был арестован Зондеркомандой 10-а, обвинялся в принадлежности к еврейской нации.

Вопрос: Дмитриев Иван Григорьевич Зондеркомандой 10-а из-под стражи освобожден?

Дмитриева: Да, брат моего мужа Дмитриев И. Г. через 10 суток из-под стражи был освобожден. Тогда же, т. е. в январе 1943 г., он вместе со своей семьей выехал в г. Мариуполь.

Вопрос: Укажите, по какой причине брат мужа выехал вместе с семьей в г. Мариуполь?

Дмитриева: Жена брата моего мужа Дмитриева И. Г. — Дмитриева Эмилия Яковлевна, примерно 1892 г. рождения, по национальности была немка, и ей немцы предложили выехать, что ею и было сделано с мужем.

Вопрос: Брат вашего мужа Дмитриев И. Г. при отступлении немецко-фашистских войск бежал с немцами вместе с семьей. Так это?

Дмитриева: Нет, он не бежал, а его вместе с семьей вывезли к себе в тыл вследствие того, что она, т. е. его жена, была немка».

Из сохранившейся в архиве папки я привожу далеко не все листы, копии которых привез В. Носков, а лишь те, что имеют отношение к нашей теме.

Первый раз Дмитриеву Н. К. допрашивали в феврале. Примерно через два с половиной месяца уже не лейтенант Ржевский, а капитан Парсаданов готовит документ для репрессирования жены

проворовавшегося и сбежавшего вместе с немцами предателя (кстати, Дмитриев-старший совершил предательство дважды: убежав через фронт к немцам, а затем отказавшись возвратиться на Родину. По крайней мере так квалифицирует его поведение ст. 64 нашего Уголовного кодекса).

«Из постановления 1945 года апреля 27 дня.

Рассмотрев материалы следственного дела на членов семьи изменника Родины — Дмитриева Василия Георгиевича — Дмитриеву Нину Константиновну, проживающую по ул. Горького, 128

подлежит выселению из г. Краснодара.

нашел:

муж ее — Дмитриев Василий Георгиевич в 1941 г. был изъят органами НКВД и осужден. В августе месяце 1942 г. в период оккупации г. Краснодара немцами прибыл домой и проживал весь период с семьей, нигде не работал.

При отступлении немцев Дмитриев В. Г. бежал с ними.

Жена его — Дмитриева Нина Константиновна работала при немцах старостой кубика.

Брат — Дмитриев И. Г. вместе с женой Эмилией Яковлевной, немкой по национальности, в период приближения частей Красной Армии к г. Краснодару эвакуировался в немецкий тыл».

Документ этот на служебном бланке, с заполненными графами. Для точного цитирования его следовало бы расчертить лист на клеточки.

И все же понять можно, о чем идет речь. Мы своими глазами убеждаемся в том, чем занимались родители и родня ретивого журналиста в те страшные для нашей Родины годы.

В первую очередь прошу обратить внимание на свидетельство того, что мать журналиста Дмитриева Н. К. в оккупации при немцах работала старостой (кубик, по терминологии оккупантов, что-то вроде квартала, околотка). Иными словами, она, в отличие от своих сограждан, вступила на путь коллаборационизма, а если по-русски, то, работая на немцев, она, по понятиям того времени, стала пособницей врага.

Староста — низшее звено администрации оккупантов. Но от этого чина зависит судьба обмиравшего со страху обывателя. В компетенцию старост входит обширный круг вопросов, вплоть до выгона на работы. На усердие старост обычно опирались фашистские карательные органы: от полевой жандармерии до гестапо.

Здесь уместно привести одну цифру. Фашисты пробыли на Кубани недолго. Однако за это время истребили 61 тысячу советских граждан. Они погибли, но не склонили головы перед фашистской мощью. Думаю, эти расстрелянные, замученные, истаявшие от голода и болезней люди будут служить вечным укором тем, кто всячески подлаживался к оккупантам, выслуживался перед ними.

Недаром возмущенные советские люди, дождавшись освобождения от неволи, гневно клеймили пособников фашистов «немецкими овчарками».

На что я еще обратил бы внимание читателя в цитируемом документе? На строку: «Дмитриев В. Г. в 1941 г. был изъят органами НКВД и осужден». ИЗЪЯТ и ОСУЖДЕН! Насчет «изъятия» мы примерно все уже знаем. Но вот насчет «осуждения»!

Следовательно, состоялось в те времена какое-то судилище и вынесло Дмитриеву-старшему приговор. Однако где он, этот чрезвычайно важный и так необходимый документ?

Здесь, мне кажется, по зрелом размышлении имеются все основания догадываться о том, зачем, с какой целью журналист Ю. Дмитриев, едва, как говорится, запахло жареным, стремительно ринулся к себе на родину и принялся лихорадочно рыться в сохранившихся архивах края.

Важный, чрезвычайно важный сохранился документ!

Подчеркнем еще раз. Во-первых, отец истца и заявителя был «изъят и осужден». Во-вторых же, настоящее откровение насчет того, что и жена «изъятого и осужденного» не сидела сложа руки и не дожидалась, подобно своим согражданам, дня освобождения от неволи. Нет, она на эту неволю работала, трудилась в меру своих сил. Хоть и невелик был ее чин в системе фашистской оккупации, однако она его заняла.

Меня в данном случае больше всего занимает судебное решение по гражданскому иску Дмитриева Ю. В., когда судья Шабанова Н. П. защитила честь и достоинство его родителей и обязала редакцию журнала принести ему (а следовательно, и его родителям) свои извинения. Допускаю, что профессиональный юрист вправе сделать молодой судье упрек в том, почему же она не востребовала из архивов столь важных документов? Как же можно было без них выносить столь судьбоносное постановление? Однако что толку теперь махать кулаками! Решение состоялось, и журналист, имея его на руках, ходит козырем.

Вспомним, у меня не было доказательств, что рукав Дмитриева-отца украшала повязка полицая. И автор вместе с журналом были наказаны. Но вот же незадача! Вражеским пособником неопровержимо оказалась мать журналиста. Меняет ли это что-нибудь в «оскорблении» его? Или же «сын старостихи» получил веские основания ходить с гордо поднятой головой?

Однако глянем еще на два документа из сохранившейся папки.

«Выписка из протокола № 30-б

Особого Совещания при Народном Комиссаре Внутренних дел СССР

от 18 августа 1945 г.

Слушали: ...176. Дело УНКГБ Краснодарского края. Дмитриева Нина Константиновна, 1903 г. рожд. Уроженка г. Краснодара, русская, гр. СССР, б/п, при ней один ребенок. Совместно с ней проживает мать Свентховская Анна Артемовна, 1876 г. р.

Постановили: Дмитриеву Нину Константиновну, как члена семьи изменника Родины, переселить в Таджикскую ССР вместе с семьей».

И еще один документ, подписанный прокурором Краснодарского края, государственным советником юстиции 3-го класса Рыбниковым.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

в отношении Дмитриевой Нины Константиновны

по материалам дела — арх. № 76424

Дмитриева Нина Константиновна, беспартийная, билетер в театре музыкальной комедии, место жительства: г. Краснодар, ул. Горького, 128, постановлением Особого Совещания НКВД от 18 августа 1945 г. как член семьи изменника Родины выслана в Таджикскую ССР вместе с семьей».

Вот и все. Надо ли еще что-то искать?

Требуется ли? Какие и кому еще необходимы доказательства?

Подведем итог. Перед нами потомок тех, кто в результате нашей славной победы над Гитлером оказался у разбитого корыта.

Подчеркнем: дети за родителей не отвечают. Это закон. Но мы видим, что «ребеночек» вырос, заматерел, набрал силу и дождался часа, когда можно отомстить за неудавшуюся судьбу своих родителей.

Он оказался очень терпелив, «известный» журналист Дмитриев. Он ждал, лез из кожи, чтобы доказать свою идейность, свою верность делу партии и т. п. Но в то же время в его душе копился ком грязи, этот ком рос и каменел. И в этом он не одинок, к сожалению. Из таких — многие нынешние «рыцари перестройки»...

Дождались они, грянуло наконец! Страна, разгромившая полчища Мамая, Наполеона, Гитлера, рухнула перед Бушем и Шамиром. Причем рухнула без единого выстрела. Это исторический феномен, такого не бывало со дня сотворения мира. Но этот катаклизм свершился, произошел на наших с вами глазах.

С какою радостью достаются из-за пазухи те самые комья грязи, которые копились и превратились в увесистые булыжники! И мы это тоже видим, наблюдаем...

Уверяют, будто человеческая душа — потемки. Но уж душа предателей — наверняка, там сплошная черноте и копоть. Давайте спросим: разве журналист Дмитриев не знал о преступлениях своих родителей? Прекрасно знал! И все-таки он упорно лгал и продолжает лгать, сокрушая здоровье и самые жизни своих врагов. Да, я вполне сознательно употребил это слово: враг. Саме логика указывает: журналисту Дмитриеву мы все враги. А если бы фашисты победили? Однако победили мы. И вот теперь развал великой державы предоставил ему тот же самый шанс, за который в свое время так жадно схватились его родители и который уплыл из их рук в результате нашей Победы.

Удары его сыплются направо и налево, он топчет в грязь любого, кто громил фашистов и обрывал карьеру его родителей. Месть его безжалостна, беспощадна, он мобилизует весь арсенал злобы и ненависти.

Вынужден повторить: грязное слово страшнее пули. Я знаю нескольких фронтовиков, которых сразило клеветническое слово Дмитриева. Их имена я уже упоминал и назову еще раз в зале суда.

Удивительное поражение в третьей мировой войне, в «холодной», превратило нашу великую державу в «зону», где безнаказанно правят наглые «паханы». Попробуй только молви слово им поперек! Свирепая расправа последует незамедлительно. Недавно мы стали свидетелями того, как, не приняв смрадных уголовных правил «зоны», добровольно ушла из жизни Юлия Друнина, поэтесса, фронтовая медсестра — не вынесла торжества мерзавцев. Следом за ней словно от снайперского выстрела свалился писатель Акрам Шарипов, отправившийся на вторичные похороны своего славного командующего генерала Черняховского, — не выдержало старое сердце воина.

Что происходит? Существует ли предел кощунству?

●

Виктор ЛЕВЧЕНКО

МЕЧ В ТЕРНОВОМ ВЕНКЕ

СТАТЬЯ ВТОРАЯ *

— Каменщик, каменщик в фартуке белом,
Что ты там строишь, кому?..

В. Я. Брюсов

Но в том-то и сатанинская сила их, что они сумели перешагнуть все пределы, все границы дозволенного, сделать всякое изумление, всякий возмущенный крик наивным, дурацким.

Иван Бунин. Окаянные дни

Не забудем никогда то, что мы сыны отцов наших, и да имеем любовь к памяти их, и скажем о них, что они были силой нашей, а сила та идет к нам от них...

Влесова книга

От праздничного разноцветья давно уже забытых на Руси одежд рябило в глазах: синими чекменями донцов-молодцов, как васильками поле, усеян почти весь зал; червонными маками рассыпаны красноверхие папахи и шелковые башлыки кубанцев; черной, выжженной стерней — корниловские гимнастерки.

Воочию — в лицах и одеяниях — ожил боевой 18-й год. Как перед Первым Кубанским походом Лавра Корнилова... Хотя не приведи Господи таких повторений!

Но на дворе, как говорится, был 1990 год, да и публика в зале собралась иная — дети и внуки несчастных героев гражданской междоусобицы.

Должно быть, поэтому таким оглушительным громом аплодисментов и одобрительных возгласов встречена была резолюция, выражавшая волю всего многоголового зала: братоубийственную гражданскую войну считать законченной и не делить больше русских людей на белых и красных!

Кто ж против? Хватит, навоевались! Между своими — нет больше места вражде!

Кто из здравомыслящих людей согласится в очередной раз быть добровольным исполнителем кровавых замыслов многомудрых вождей? Кто поддастся их преступным призывам? Или снова найдутся таких?..

Вспомним:

«Только в том случае, если мы сможем расколоть деревню на два непримиримо враждебных лагеря, если мы сможем разжечь там ту же гражданскую войну, которая шла не так давно в городах, если нам удастся восстановить деревенскую бедноту против деревенской буржуазии, только в том случае мы сможем сказать, что и по отношению к деревне делаем то, что смогли сделать для городов».

После поджигательной речи профессионального провокатора-террориста на заседании ВЦИК 4-го созыва 20 мая 1918 года запылали, как по команде, казачьи станицы и хутора, деревни и села, вовсю заработала гигантская человеческая бойня.

Похоже, заботы о некогда облагодетельствованных после призывов Свердлова городах и деревнях ныне берут на себя те же свердловцы, лишь чуть подновившие свою тактику, но не стратегию. И когда эти неосвердловцы (словно пародируя нашу боль) призывают нас, как неразумных детей, не делиться больше на белых и красных — после радостной эйфории, слез умиления и припадков экстаза — в душу закрадываются нехорошие подозрения: а к какому новому единению призывают нас на сей раз? Чего от нас добиваются? Чтобы мы вдруг все стали белыми? Или — красными? Или красно-зелеными?

В самом деле, под чьи знамена сгоняют нас? Алексеева? Свердлова? Троцкого? И не подталкивают ли нас, попросту говоря, к мусорной свалке: дескать, неизвестно, за что бились ваши неразумные деды, неизвестно, чего добиваетесь вы. Объединяйтесь, пока не поздно, вокруг нас!

Спасибо, господа, за приглашение.

Но прежде чем мы запоем с вами вместе одну духоподъемную революционную песню: «Отречемся от старого мира...» — позвольте нам самим разобраться — от чего отрекаться, самим понять: чего хотели красные и белые, кто были они на самом деле. Не спешите разводить нас под новыми европейскими кличками (радикалов и консерваторов) по разные стороны баррикад.

Да, наша история извращена и оболгана. И все одурачены вашей всепроникающей пропагандой.

Трудно, безумно трудно нам, как слепорожденным котятам.

Больно бьет в глаза белый свет!

И нет у нас настоящих пастырей духовных.

И нет у нас нашей Русской Библии.

И не знаем даже, долго ли ждать нам нового откровения — нового «Слова...», ну, скажем, — о гореславном полку * Лавра Корнилова, какое высветило бы нам путь вперед — без лукавых хитростей конъюнктурных политиков.

Нет у нас такой вещей книги.

* Статья первая — «Земля незнаемая» — напечатана в «Молодой гвардии» в 1990 году, № 2.

* Слово «полк» означает поход; впрочем, по подсчетам специалистов, корниловская Добрармия равна была пехотному полку.

И хотя выходит в Лос-Анджелесе «Вестник первопоходника», и почти весь XX век писались разнообразные мемуары, а во время самого похода велись дневники (один из них — безымянный, написанный блестящим офицером гвардии, — не так давно попался мне в руки в Краснодарском архиве *), великой поэмы об этих, достойных гения событиях, никто не написал. Трагедия давно произошла, а мы ее переживали как победу. Но не всегда ж мы были такими пошехонцами, как ныне, была у нас Великая, Единая и Неделимая Россия (включавшая Малую и Белую Русь), — как же ее потеряли, кому раздарили, как?..

Будем же благодарны хотя бы скромным труженикам, вроде ныне покойного Г. Степанова, не отнимавшим пропагандистской славы ни у «Железного потока», ни у «Чапаева», ни у «Конармии», ни у «Разгрома», пытавшимся при ярком свете кремлевских звезд указать и на снесенные золотые кресты, высветить из тьмы умолчания крестный путь русских людей, побежденных хитростью, но не правдой.

I

Итак, откроем роман Г. Степанова «Закат в крови».

Печальную, но необычайно живописную картину представлял собой корниловский караван, тронувшийся 9 февраля 1918 года из Ростова-на-Дону в Екатеринодар — в свой крестный путь.

Не под черно-золото-белым знаменем, а под петровским «бесиком» — бело-сине-красным флагом — сошлись обманутые в лучших своих надеждах и изгнанные из России своим же собственным народом русские добровольцы — юнкера, студенты, гимназисты и офицеры.

Кого здесь только не было! Как в Ноевом ковчеге: всякой твари по паре. Не говоря о двух бывших Верховных Главнокомандующих — Алексееве и Корнилове, бывшие председатель Государственной думы Михаил Владимирович Родзянко и Председатель Совета министров князь Львов; генералы: Деникин, Марков, Лукомский, Романовский, Эльснер; бывший свитский генерал — донской казак — Африкан Петрович Богаевский, генерал Боровский со своим донским студенческим батальоном; Борис Суворин; одетая в черную черкеску баронесса Бодэ, охранявшая резиденцию Лавра Георгиевича не хуже текинцев; юная Вавочка Гаврилова (не знаю, подлинное или вымышленное лицо в романе), погибшая в том жертвенном походе и похороненная в станице Елизаветинской, на подступах к Екатеринодару.

Надежды генералов на атаманскую поддержку Каледина и казачью верность донцов-молодцов рухнули, как только бывшие быховские узники — участники бесславного корниловского мятежа — против Керенского — ступили на донскую землю. Прославленные генералы без армии у навоевавшихся с 14-го года и захмелевших от неожиданной свободы казаков не вызывали никакого сочувствия. От них открещивались, как ныне от немногочисленных, но истинных патриотов обманутой России. Не шли к добровольцам охочие ни в Новочеркасске, ни в Ростове. Только Боровский, да Чернецов, да еще Семилетов сумели создать боевые отряды из откликнувшихся на голос чести кадетов, студентов, гимназистов. Да еще несколько малочисленных партизанских групп — Краснянского, Бокова, Лазарева...

И все.

В калмыцкую степь откочевал донской походный атаман Попов, отказавшийся присоединиться к Корнилову. Остальные, кто не ушел к красным — Голубову, Мяронову, Подтелкову и Кривошлыкову, держали стойкий нейтралитет под бабьими подолами, пока не начали отстреливать их благодарные большевики, как зайчиков: расказачивание! — а как вы думали?

Немного набралось защитников Святой Руси!

«Мальчики... — печально восклицает Степанов. — Только они, не знавшие, что такое война, и мечтающие о подвигах, еще охотно брались за оружие и отправлялись со своим молодым командиром Чернецовым в холодных товарных вагонах на дальние участки обороны. И почти каждый день с колокольни пятиглавого войскового собора раздавался звон похоронного колокола».

Это были те же русские мальчики, о каких писал некогда Достоевский. На их безоглядной смелости еще держалась Россия. Есть они и сейчас.

Ни казачество, ни дворянство, ни вообще русское общество не выдержали нравственного испытания свободой выбора и воли. Сбылась легенда о Великом Инквизиторе...

Дело не в генералах, предавших царя, хотя мы к этому вопросу еще вернемся. Если бы даже не царь Николай II, не Лавр Корнилов, а сам Иисус Христос обратился в ту пору к народу с проповедью, ее не услышали бы, повторилась бы та же трагикомедия смутного времени.

Добровольцы нашлись, как всегда находились, но как их оказалось мало: из трехсоттысячного офицерского корпуса едва набралось до трех тысяч. Это были избранники долга и чести, но не они повели за собой народ.

«Ты гордишься своими избранниками, — говорит Иисусу Христу Великий Инквизитор Достоевского, — но у тебя лишь избранники, а мы успокоим всех».

Так и случилось.

Несмотря на всевозможные заговоры мирового капитала, планы германского генштаба и козни «союзников», немало было предательства и малодушия своих. Не будь предательства своих, никакой внешний враг Россию бы не сокрушил.

Теперь по прошествии времени легко рассуждать: ясно, например, что одной из роковых ошибок Алексеева и Корнилова был сам добровольческий принцип, положенный в основу создания Белой армии. В то время как большевики, поманив добровольцев землей и волей, загоняли рабочих и крестьян в Красную Армию силой и штыком.

Не пополняла Добровольческую армию, откатывавшуюся с Дона на Кубань, и антибольшевистская пропаганда: прельстившимся нейтралитетом казакам праведники не были нужны.

« — Станичники! Большевики разложили русскую армию, открыли немцам фронт, — начал Корнилов, поднявшись на паперть (митинг проходил в нижнедонской станице Хомутов-

* Авторство «Дневника белогвардейца», быть может, когда-нибудь удастся установить из упоминающегося здесь дневника некоего Зейме, знакомого Кутепова: «Зейме писал дневник в блок-ноте. Дописав до момента, он сказал: «дальше писать еще рано». А через два дня был убит». Но найден ли его дневник и обнародован ли?

ской. — В. Л.). — Отдав Россию на растерзание каторжникам, они способствуют анархии. — Его голос задрожал от напряжения. — Уголовники-бандиты убивают сейчас офицеров и казаков, верных сынов России, грабят честных людей. Произвол и беззаконие — вот что несет совдепия! Прошлое и будущее нашей отчизны будет перечеркнуто большевиками. А коммунизм, который они сулят, отнимет у вас право на землю и волю, превратит вас в рабов».

Но надо было всего лишиться, захотеть стать рабами, чтобы понять смысл этих слов.

Если не поднял казаков в бой выстрел атамана Каледина 28 января 1918 года, если тогда не взволновался православный Тихий Дон, то уж теперь, какие бы пули ни отливали прославленные вожди, станичники не спешили браться за оружие, прельстившись новыми порядками.

Иконой Покрова еще светила впереди Кубань, там были, по донесениям, и свои добровольцы под предводительством войскового старшины Галаева, и деятельный атаман, не раскисший от народовластия для простаков, и дерзкие офицеры, вроде бывшего военного летчика, полковника Покровского, не давшего разгуляться осмелевшим было большевикам. Не зря Корнилов заблаговременно послал с Дона туда своего доверенного генерала — грека Эрдели, чья конница будет атаковать Екатеринодар в обход, со стороны садов и станицы Пашковской, схлестнувшись с конницей Кочубея.

Вслед за Эрдели, а потом и генералом Лукомским (с письмом к кубанскому атаману Филимонову) Корнилов отправит и своего адъютанта — поручика Алексея Ивлева (одно из немногих вымышленных лиц в романе), рассчитывая на соединение с Кубанской армией на подступах к Екатеринодару, в районе Кореновской. Но идти пришлось в Закубанье, где и воссоединились 28 февраля с оставившими город на милость большевикам войсками Кубанской Рады.

Как засидевшийся на чужбине Одиссей, рвется Алексей Ивлев на родину, в Екатеринодар.

Как старому другу далекой туманной юности готов поклониться он Екатеринодару: и богарсуковскому магазину, где в детские и гимназические годы покупали для него форменные гимнастерки и шинели; и Зимнему театру Черачева, на фасаде которого лепными буквами были означены имена великих писателей и композиторов; и даже громадному дому Зингеров, блестевшему зеленым кафелем, как молодые листья магнолии после дождя.

После четырех лет всемирной бойни, планомерного уничтожения русских людей соединенными народами, после всех ужасов, какие пережил, он готов забыть даже самое главное дело жизни — служение прекрасному, искусству. Только левитановские успокаивающие пейзажи, только равнодушную ко всему человеческому горю природу ему и хочется, и остается живописать.

Этот надлом в душе нам отдаленно напоминает великое шолоховское открытие: Мелехов, как загнанный волк, изнывая от тяжелых предчувствий в банде, томясь на острове по дому, вдруг начинает вырезать из дерева безделушки, — что это? сумасшествие? блажь? слабость ума? Или, может, естественное спасение потерявшей путь к Богу души: хоть блажью целомудренно защититься от давящей со всех сторон тьмы, на время отойти от безысходной реальности? Из объявшей художника бездны слышится удивленное восклицание: «Прежде жалели Исаака Левитана, находя его жизнь трагической. А я многое отдал бы, чтобы сейчас пожить хоти бы немного его жизнью. И что такое левитановские припадки хандры и тоски в сравнении с горечью нашего сегодня?»

Разбитые красными под Кореновской, войска Кубанской Рады в спешном порядке покидают Екатеринодар, рассеивая за собой листовки: еще вернемся. Уходят в горные аулы и станицы отряды Покровского, Галаева и Улагая, за ними, усиленные артиллерией и пулеметами, с походной радиостанцией (на позывные которой Лавр Корнилов не отвечал) следуют части полковника Лисевицкого. затем — полк черкесов с Султан-Гиреем во главе на великолепном своем «Компасе»; замыкал походный порядок отряд гимназистов и реалистов полковника Кулика и его помощника капитана Ковалевского.

Далеко в горы увозили на шестидесяти подводах кубанские казаки свои войсковые святыни — Российские Георгиевские белые знамена и запорожские прапора, золотые литавры и серебряные трубы, булавы, дорогое оружие, церковную утварь, золотую саблю, украшенную бриллиантами, которую великий Суворов поднес Захарию Чепиге за взятие Измаила — неприступной турецкой крепости; золото и серебро, предназначавшиеся для оплаты войны на турецком фронте, наконец, золотой запас Кубанской Рады *.

Кубанское краевое правительство многомудро рассудило не лезть поперед батька в пекло, не рисковать. «Но 25 февраля, — пишет А. И. Деникин в «Очерках русской смуты», — обстановка в корне изменилась. В этот день прибыл в Екатеринодар посланный штабом Добровольческой армии и пробравшийся чудом сквозь большевистский район офицер. Он настойчиво и тщетно убеждал кубанские власти повременить с уходом, ввиду того, что Корниловская армия идет к Екатеринодару и теперь уже должна быть недалеко.

Ему не поверили или не хотели поверить: держали его под негласным надзором».

Легко догадаться, что безымянный офицер, пробравшийся на Кубань и встреченный недоверчиво и враждебно своими, — это Алексей Ивлев, придуманный писателем. Степанов, не нарушая правдоподобия исторического повествования, весьма удачно воспользовался возможностью вплести в документальную канву свою беллетристическую нить.

Не хуже Стеньки Разина или Емельки Пугачева празднуют неожиданную победу над кадетами лихие гайдамаки революции — Иван Лукич Сорокин и Федор Золотарев — два, как на подбор, красавца казака! С танцами, пляской, горилкой, шампанским! Впрочем, по вкусу им пришлись и «Варшавянка», и «Интернационал» — волновали кровь, будоражили!

* Отход кубанцев в горы, захоронение золотого запаса Рады в ущелье и развернувшуюся вокруг этого золота детективную историю, затеянную Рабоволом и Нилюком, занимательно в романе «Калиновый цвет» описывает природный кубанский казак Кузьма Катаенко.

Но пока народные казацкие вожди бесшабашно пьют горькую, меряются: кто первым взял город и кто в нем должен быть хозяином, «международный коммунист из Америки» Макс Шнейдер, стоящий, как сам он выражается, «за кагал в большом масштабе», — воистину по-большевистски «экспроприирует экспроприаторов».

«Вдруг прозвучал горн. Бархатный занавес раздвинулся, и на ярко освещенную сцену вышел, сверкая блестящими желтыми крагами, Макс Шнейдер.

— Ха! — сказал он, и тотчас же, точно по команде, на подмостках сцены появилось шестеро матросов в широчайших брюках клеш и с винтовками за плечами.

Макс вытащил из кармана галифе серебряный портсигар, украшенный причудливыми золотыми вензелями, постучал по крышке толстой папиросой.

— Я, Макс Шнейдер, международный революционер, привез из Америки электромагнитные щупы. Этими щупами я извлекаю золото из любого тайника. Ясно?»

А потом из-за кулис появились и электромагнитные щупы — «максимы», — и началась революционная работа с большим расчетом на будущее.

За внешним, порой кажущимся и даже хорошо организованным хаосом, каким нейтрализуется напуганный обыватель, писатель показывает четкую, хорошо отлаженную работу организации, умеющей действовать как в условиях открытого столкновения, когда нужно вмиг мобилизовать народные массы и бросить их на борьбу с «кадетами», «контрреволюционерами» и «буржуями», так и в глубоком подполье, когда необходимо расстроить чужие планы, стравить идущие на соединение силы, вбить клин между Кубанской армией и Добровольческой, чтобы затем расшатать их по отдельности, столкнуть лбами Деникина и Врангеля, использовать в своих интересах загадочное убийство в Ростове Председателя Кубанской Законодательной Рады Рябовола.

Трудно сказать, собирались ли Ленин с Троцким награждать Врангеля, как Нестора Махно, за ревзаслуги орденом Красного Знамени, но он его вполне заслужил.

Своей решительной расправой над расшалившимися кубанскими депутатами, желая, разумеется, их приструнить, Врангель с согласия Деникина в точности исполнил давний замысел красных вождей — разделить непреодолимой пропастью военный союз между Добровольческой армией и Кубанской Радой. Как ни велик был внешний эффект захвата здания, где заседала Рада, охранявшаяся черноморцами, верными своей выборной республиканской власти, как ни внушающ был сам факт расправы над преступными самостийниками (повешение Калабухова и высылка в Константинополь* остальных изменников Великой, Единой и Неделимой России), эти крайние меры обуздания законно избраной власти (таковы парадоксы демократии!) в значительной степени обернулись против самих же белых гостей, оказавшихся после решительных и даже вынужденных, может быть, репрессий в изоляции.

* Куда вскоре будет выслан Деникиным и сам Врангель, открыто интриговавший против Главнокомандующего и заслуживавший, разумеется, более сурового наказания, если бы «царь Антон» достоин был своего высокого призвания.

Обезглавленная Врангелем Рада хотя и выслушала выступление самонадеянного барона стоя, но ни публичной казни Калабухова, ни своего добровольного унижения простить не могла.

Оскорбленные пришельцами черноморцы роптали — Калабухов повешен вопреки решению выборной власти края и в нарушение церковных законов: осужденный, прежде чем духовная власть не снимет с него священнический сан, не подлежал казни. Обычаями народа никакой властитель не вправе пренебрегать, если не хочет наткнуться на стену молчаливого неповиновения, о которую разбиваются самые дерзкие начинания.

Отдадим должное змеиной мудрости подпольщиков Екатеринодара: весьма умело они эксплуатируют сложившуюся ситуацию, и это убедительно показывает Степанов: «...Надо, чтобы листовки были выразительны, — наставляет Ивана Шемякина (приятеля Ивлева) Леонид Иванович Первоцвет — большевик с большим стажем подпольной работы. — Первая наша задача — углубить ссору Деникина с Кубанской Радой, поддержать неприязнь казаков к Добровольческой армии».

Дальше — больше.

Набивший руку в составлении большевистских листовок, Шемякин уже и сам начинает проявлять пропагандистскую инициативу, подсказывает Первоцвету, как на новом этапе борьбы (после того, как кубанцев и добровольцев намертво рассорили) стравить вождей Добровольческой армии, подогрев между ними обнаружившуюся неприязнь. И эта простенькая увертюра к комической опере удалась на славу...

Врангель, так умно и смело критиковавший разброд в державе «царя Антона», так остроумно издевавшийся над генералами типа бедняги-пьяницы Май-Маевского, так грозно разоблачавший разложенцев, вроде волчьих шкурников генерала Шкуро, когда пришел его черед руководить Добровольческой армией, оказывается самонадеянным болванчиком, движимым одним чувством — вождизмом; и Май-Маевский, и Шкуро, и Мамонтов, допуская промахи, все же учитывали и реальную обстановку, и природные инстинкты воюющих людей; Врангель, самоуверенно руководствуясь императивными представлениями, вообразил себя непогрешимым праведником, но ведь это по его вине с беспримерной отвагой сражавшиеся кубанцы — под предлогом новой мобилизации, объявленной бароном — оставляют позиции в районе Донецкого угольного бассейна, а попросту говоря — бегут на Юг, в то время, как кичливый спаситель России пытается незаметно ускользнуть в Крым с особо преданными войсками, что было вовремя и весьма деликатно пресечено Деникиным.

Такова горькая правда.

Объективный писатель, создавая эпическое полотно о гражданской войне в России, не может быть ни чисто белым, ни чисто красным идеологом.

Явно сочувствуя самоотверженности русских патриотов, оставшихся верными идеалам Великой, Единой и Неделимой, Степанов невольно показывает, однако, агонизирующее к концу войны разложение у белых и нарастание организованности у красных. Так было в истории страны, и ничего тут не попишешь, никакого идеологического нажима в пользу красных нет. Красные ведь не случайно победили...

Эту печальную для Белого движения, но объективную с точки

зрения истории истину должен, пожалуй, по мысли автора, подтвердить и постепенный переход Алексея Ивлева — любимого степановского героя — на победные позиции большевиков. Через сомнения и боль разочарования в прежних высоких идеалах, вождях, жертвенном выборе...

Любовь к красной комиссарше Глафире Первоцвет — дочери влиятельного екатеринодарского большевика Леонида Ивановича Первоцвета — подталкивает бывшего идейного белогвардейца к окончательному решению, удерживая его теперь и от дальнейшей борьбы за Белую идею, и от эмиграции на чужбину, и от других шагов, на какие мог бы решиться обреченный русский офицер, придавая незавершившейся трагедии, по совести говоря, легкость опереточного катарсиса, источником которого служит счастливое жениховство.

Так кто же он? Гоголевский влюбленный Андрий, променявший на бабу товарищество, святее уз которого нет ничего на свете?

По логике сюжета читатель должен бы испытать облегчение, увидев столь счастливый конец этой кубанской одиссеи. Но не оставляет душу смятение — дальше-то что? По чьей команде он будет жить и рисовать? Что станется с ним как с художником? Выйдет второй Шемякин, последыш «агитатора и главаря»?..

Сюжетно у Степанова вышла история, напоминающая перевернутого «Сорок первого» Бориса Лавренева. Мораль нависает как транспарант над головами! Перебор комиссарской лирики есть, конечно, в романе, но не будем забывать и о неизбежной в искусстве условности!

Прежде чем перечеркивать роман из-за его банального сюжета, вспомним, как у Бортнянского — несчастный юноша зажаривает для своей возлюбленной любимого сокола, — что это? блажь? эпатирующий выпад? дань моде? Согласен, что расправа над птичкой не самая большая находка в искусстве, но разве «Сокол» Бортнянского — ничтожная вещь? И разве великолепными ариями не искупается этот слишком бесхитростный сюжет?

Да и подумаем всерьез: разве трагедия не оставляет следа в душе, перерождаясь на наших глазах в комедию, и разве в этом превращении нет смысла?

Пусть «Слова о полку Лавра Корнилова» никто не напишет. В этом тоже, если хотите, свой приговор времени. Но Ивлев пытается исправить положение своими средствами. Ошеломленный увиденным и понемногу приходящий в себя, художник создает свой памятник Кубанскому походу: батальное полотно «Юнкера стоят насмерть».

В основе ивлевской картины лежит реальный факт. Когда утром 31 марта на подступах к Екатеринодару был убит Главнокомандующий и в целях сохранения остатков армии было решено отходить в степи, снова на север, генерал Марков поручил Ивлеву передать приказ взводу штабс-капитана Огнева обеспечить прикрытие отходящих войск, то есть — умереть на месте.

Пробираясь на последний корниловский бастион, Алексей Ивлев лично передает приказ Маркова, видит этих обреченных людей, раздает им папиросы. Понимают ли они сами, что жить им считанные часы? И полягут они совсем не за други своя, а за Родзянко и Алексеева, погибнут, а он останется жить...

Что это? — неужто это и есть правда жизни, которой должен

следовать художник? Или — несправедливость? Почему самые юные души должны расплачиваться за грехи беспринципных политиков и политиканствующих генералов?

И все же: юнкера стоят насмерть! Потрясенный увиденным, Ивлев передает увиденное на холсте. И что же? — «агитатору и главарю» Шемякину кажется, что полотно Ивлева показывает не героизм юнкеров, а обреченность Белой армии. Можно и так трактовать картину. Но так ли ее будут рассматривать пришедшие с победой большевики? Да и простят ли ему, поручику, хотя бы службу у белых? Простят ли авторство знаменитого знака первопоходника: меч в терновом венке? *

Защитит ли Глафира Первоцвет Алексея Ивлева или только продлит его муки?

Вот в этом вопросе и заключается двойственность действия и нашего восприятия; комедия жениховства, разыгравшаяся под занавес, имея возможность перерасти в трагедию обреченного возвращения, оставляет нас на распутье... До открытой шолоховской или шекспировской трагедии Степанов не дотянул. Но и за сделанное ему спасибо. Не будем забывать, в какие времена мы жили!

Был у Степанова огромных размеров альбом (вроде старых семейных фотоальбомов) с наклеенными снимками белых генералов и офицеров и вырезками напечатанных в периодике за двадцать лет отрывков из его романа с удивительным названием «Средь белых акаций», переименованного впоследствии почему-то в «Закат в крови».

Интересно мы встретились со стариком. Не зная в ту пору конъюнктурных тонкостей издательской политики, не подозревая, что роман Степанова лет двадцать кряду положительно рецензируется, поддерживается разными литераторами от Ю. Лукина до М. Лобанова, но не издается, — я как-то печатно похвалил (в августе 80-го) отрывок из него, обнародованный в альманахе «Кубань» под ничего не значащим названием «Невыдуманная история».

Такая была тогда писательская поэтика — целое зеркало жизни надо было сначала разбить вдребезги на мелкие осколки, а потом, если повезет с рецензентами и редактором, склеивать снова. Многие так тогда делали, даже удачливый Битов и тот по бревнышкам распродавал свой «Пушкинский дом».

Не избалованный похвалами, старик был искренне растроган. Разыскал меня, представился: земляк, уроженец станицы Медведовской, житель Екатеринодара. Ходил он тогда, как и Виктор Лихоносов во время своего исторического сидения над романом, с длиннющими запорожскими усами, казаковал вовсю, хотя самостийников, как и я, открыто недолюбливал.

Не обращая ни на кого внимания, Георгий Георгиевич доставал из запорожской сумы свой увесистый альбом и начинал лекторским, хорошо поставленным голосом комментировать историче-

* Подлинного автора знака первопоходника, изображающего терновый венок из оксидированного серебра с серебряным мечом рукоятью вниз на георгиевской ленте — для принимавших участие в боях добровольцев, увы, и я не знаю, хотя просмотрел немало материалов в фондах специального хранения. Может быть, знал П. Пашков, автор книги «Ордена и знаки отличия гражданской войны 1917—1922 годов»? Во всяком случае, вымысел здесь вполне допустим.

ские фотографии и события, распугивая, как кот воробьев, либерально щебечущих литераторов, подобострастно толпившихся у кабинета заведующего редакцией:

— Генерал Алек-се-ев! Вождь Белого движения! Мальчиком лет восьми от роду я стоял у его гроба в Екатеринодаре. Отец мой был учителем, приезжал из Медведовской. А это, — тыкал он желтым, костлявым пальцем, — Корнилов. Арестован был Керенским, подлецом и негодяем, бежал... Пушку в музее видел? — большевики поставили на обозрение. Видимо, это единственный в истории культуры случай — затащить в краеведческий музей пушку, из которой убили Корнилова, и — гордиться, — а??? Деникин, мужиковатый, как станичный поп, уже не то. Не был зна́менем. А это, ну, ты не знаешь, а я его еще застал в живых — бывший есаул из станицы Келермесской — Ткачев. Генерал. Служил у Врангеля. А?.. Каков красавец! Лицо сенатора. Кубанец! Эх, понаехали иногородние, замордовали казачков, торговлю в свои руки взяли, промыслы. Казачок, бедный, и хлеб сеять должен, и службу нести, а они пооъедали морды, да на празднике водки нажрутся и давай казачков на их землях по мордам! А пишут, угнетали, — ничего мы не знаем. Да... А это, братец мой, — генерал Эрдели, дальний родственник Льва Толстого, грек. А это — Гла-зе-нап. Таких и фамилий сейчас нет. Кутепов. Чекисты выкрали, знаешь. А это, это — кубанский черкес Сергей Улагай, о его десанте под Приморско-Ахтарском слышал, так это он, любимец Врангеля, теперь и черкесов таких нет на Кубани... А! Какая сила была! Мощь! Благородство! Но все проиграли. Сначала были героической армией, за малейший проступок — смертная казнь, а потом стали разваливаться, ган-гре-ни-зи-ровать! А красные, это стадо баранов, без пастуха и сторожевых собак, создали настоящую армию. Перекупали военспецов, насаждали военную железную дисциплину. А белые, как раньше красные, начали митинговать.

Я это показываю в романе. Я белых показываю даже больше, чем Шолохов в «Тихом Доне», я не говорю, что лучше. Не улыбайся! Да-а-а... — он шелестел наклеенными на ватман соломенного цвета вырезками из провинциальных газет. — Мой роман... он почти весь здесь. В этом альбоме. Двадцать лет мурыжат, ну что теперь? Перегорел я, постарел, почти ослеп, зачем теперь мне гонорар! Не соберу друзей на пир, не окружу себя вакханками, — подкручивая запорожские усы, шутил Георгий Георгиевич. — А раньше покутили б мы на славу, не хуже Ивана Алексеевича! Пойдем-ка в ЦДЛ, хоть пивка выпьем!

Жил он последнее время в Москве, на улице Горького, где однажды читал он мне свою незавершенную пьесу из жизни в Прибалтике, а на лето уезжал в Краснодар («В Екатеринодаре у меня мастерская, приезжай, покажу тебе старый город Деникина и Шкуро. Лихоносову показывал, он, слава Богу, пишет роман свой исторический, не отвлекаясь; живет пока безбедно»).

...Так и не довелось мне побывать в его Екатеринодаре, все откладывал... В Краснодаре каждый год бываю по нескольку раз, а вот в его Екатеринодар уже не попаду!..

Как не успел в свое время съездить с ним и с Виктором Лихоносовым на могилу Федора Крюкова, похороненного в отступе в феврале 1920 года где-то за околицей моей родной станицы Новокорсунской. А ведь собирались... Вот уже и вечер памяти Федора Дмитриевича провели мы с казаками в Москве в феврале 1990 года, и первая его советская книга вышла в Краснодарском книжном издательстве. И на ее обороте (вот совпадение!) рекламируется роман Георгия Георгиевича, который после двух изданий в Москве решатся, надо надеяться, издать и на родине писателя.

А ведь это Степанов одним из первых упомянул в своем романе имя Крюкова, теперь всяк смел, а тогда за каждое русское имя как за сопку родной земли сражались. «Над атаманским дворцом, — читаем в романе, — трепетал сине-желто-красный флаг Всевеликого войска Донского. В большом зале дворца снова на прежних местах висели портреты всех донских атаманов.

Создано было военное училище, приступила к занятиям Донская офицерская школа. В сентябре (1918 г. — **В. Л.**) готовились открыть свои двери Донской, Мариинский и Смольный институты. Опять начал давать спектакли драматический театр Бабенко. По вечерам войсковой хор исполнял песни. Стихотворение в прозе донского писателя Федора Крюкова «Родной край» превратилось в официальный гимн войска Донского».

У Анатолия Знаменского в «Красных днях» автор «Родного края» присутствует уже как одно из активно действующих лиц романа, как интереснейший собеседник Миронова, как идеолог не покорившегося большевикам казачества; но об этом, как говорится, в другой раз и по другому поводу...

II

На фоне безымянных героев Белого движения (одни лишь Бог их помнит имена!) и вымышленных персонажей с той и другой стороны возвышаются волею судеб колоссальные исторические фигуры, выкованные XX веком, — Корнилов, Деникин, Врангель, Автономов, Сорокин...

Постижение окруженной ореолом таинственности личности Лавра Корнилова, вобравшего в себя и русскую лихость, и мудрость восточной философии, хотя и осложнено тем обстоятельством, что Лавр Георгиевич, в отличие от прилежных мемуаристов Деникина и Врангеля, не оставил своих воспоминаний, все же возможно.

За него вспоминали другие, с кем делился он изредка своими заветными мыслями, начиная с генерала Деникина, достаточно оперативно откликнувшегося из зарубежья на русскую смуту, и кончая поручиком Разак Беком Ханом Хаджиевым, напечатавшим свои оригинальные мемуары под названием «Атчапар» в «Вестнике первопоходника» в Лос-Анджелесе уже после второй мировой войны, в 1962 году. В них узнаем мы о текинцах и обстоятельствах, приведших к быховской катастрофе. Знал ли об этих мемуарах Г. Степанов?.. Знал ли о других материалах, описывающих деятельность Лавра Георгиевича в качестве военного разведчика на Востоке, военного атташе в Пекине?

Впрочем, и без того мы узнаем из романа немало нового. Например, у Степанова я впервые узнал, что Корнилов — караколинский казак. Отец его — казак станицы Караколинской Сибирского казачьего войска; мать — казачка станицы Кокпектинской.

Должно быть, бесшабашная лихость и беспримерная смелость,

какую признавал за Лавром Георгиевичем сам Борис Савинков, вошли в него с казачьей кровью, а восточный фатализм — с калмыкской или бурятской, или влился в жилы с пряным вином стихов персидских поэтов, каких знал он тысячи строк, причем на языке оригинала — фарси (на нем изъяснялся он без акцента, как и на китайском, что, впрочем, было первейшим условием успешной работы военного разведчика).

Не в меньшей степени, чем философия, поэзия, литература, характер Лавра Георгиевича выковывали и собственно военные впечатления, личный опыт игры со смертью.

Случай или, вернее, таинственное стечение обстоятельств легко могли заставить его, как лермонтовского героя, поверить в тайну Предопределения:

«Убегая из немецкого плена, — вспоминал о себе Корнилов в романе Степанова «Закат в крови», — и в конце концов так умаялся, что уснул на камне. Спал долго. Проснулся, вижу, кругом только туман. Густым молоком заволокло небо и землю — ни зги не видно. Однако я хотел подняться и идти. Но едва поднялся, как из тумана выплыла Наталья, дочь моя, положила на плечи руки и силой усадила опять на камень: «Папа, поспи еще!» Я покорился ей и вновь уснул. А когда проснулся, не было уже тумана. А я сидел на краю обрыва. Сделай я шаг вперед — и ворон не собрал бы моих костей...»

Сама судьба хранила генерала и на галицийском фронте, и в Быховской тюрьме, и на Дону — но для чего? Чтобы сделать в конце концов мучеником Белой идеи? Чтобы и безнадежно проигранное дело напоминало нам о старой Великой России, которую мечтали бы вернуть?..

Деникину пришлось не легче, чем Корнилову.

На голову его судьба обрушила не только сплетни и пересуды, заставившие всю жизнь писать оправдательные воспоминания, но и непосильную для простоватого генерала шапку Мономаха, волею судеб приобщенного благодаря жене — княгине Горчаковой разве что к естественному продолжению рода Рюриковичей, а никак не их дела...

Конечно, Деникин, возглавивший после гибели Корнилова армию добровольцев, сумел нарастить ее численность, придать ей организованность, взял, вернувшись из донских степей, Екатеринодар, овладел Харьковом и Воронежем, сумел дойти до Орла и угрожал, как Разин, самой Москве, но почему-то все растерял, настолько растянул фронт наступления на большевиков, что тот истончился до жердочки, через которую красные кавалеристы легко перепрыгнули и погнали гореславных белогвардейцев по тем же южным казачьим степям, что и в 18-м году, пока те не уперлись, как в стену, в Черное море, разделившее Русь какой-то неведомой доселе дьявольской чертой, которая, если и сотрется в памяти народа и в его культуре, то совсем не скоро, как некогда раздел Руси...

Крах «царя Антона» писатель видит в отсутствии положительной программы, призванной сплотить массы вокруг Белой идеи и Белой армии; эти претензии часто повторяет постепенно разочаровывающийся в Белом движении либеральный поручик Ивлев.

Упреки, в общем, справедливые, ведь положительная программа скорее угадывается из речей Деникина и «осваговцев», чем формулируется и осуществляется.

Скажем, на казачьем сходе в станице Успенской Деникин уверял станичников в том, что Добровольческая армия стоит на защите интересов трудового казачества и трудового народа. «Это нам завещал, — заключил он, — Лавр Георгиевич Корнилов, который был выходцем из народа, сыном караколинского простого казака. И я не из богатых. Мой дед был крепостным крестьянином, а отец — прапорщиком...»

Увы, генералам, даже несмотря на их простонародное происхождение, не верили мечтавшие о восстановлении своего общинного устройства казаки. И у них были генералы, но — свои. Деникин же, олицетворявший и отстаивавший имперские интересы России, ее государственность, как Петр Великий, ценой народности, был им враждебен. Из кубанцев, пожалуй, один Андрей Шкуро (несправедливо осмеянный в нашей опереточной литературе и в том числе в романе Г. Степанова) открыто защищал — себе на голову — Деникина и интересы Великой, Единой и Неделимой. Но такую роскошь между молотом и наковальней — Добровольческой армией и Кубанской Радой — мог позволить себе только отчаянный любимец казаков, уверенный в том, что те не посчитают его изменником народных интересов. Но таких генералов, как Шкуро, было наперечет, да и завистливый Врангель своими кознями и интригами не давал ему особенно развернуться.

Больше политик, чем полководец, барон Врангель (глазами которого на многих смотрит и сам автор романа «Закат в крови»), должно быть, не случайно явился последним и, увы, никому уже не нужным вождем Белой армии. Волею судеб представилась ему счастливая возможность, и хладнокровный честолюбец в проигранной гражданской войне вволю поиграл жизнями казаков и офицеров, часть бросил в бой, другую часть — попросту бросил в Крыму для комиссарской поживы.

Врангель — этот искуснейший актер, великолепно сыгравший — в черкеске и с кинжалом — роль последнего Главнокомандующего, — всего лишь — запечатленная поза.

Впрочем, наряжался в бурку и черкеску барон по праву: поручик Разак Бек Хан Хаджиев — текинец, о ком шла речь в связи с Корниловым, служил — у кого бы вы думали? — у войскового старшины барона Врангеля в Нерчинском казачьем полку!

Да, был барон и войсковым старшиной (подполковником), любил покутить, оставаясь трезвым, умел прослыть сердечным и нежным другом, будучи человеком с холодным, черствым сердцем. Но ума политика у него не отнять, чему свидетельство книга «Исчисление зверя», разоблачающая всю фальшь народных выборов и буржуазного народовластия. Не отнять и недюжинных способностей интригана. Скольких подмял он (правда, не без осторожной помощи Лукомского и, вероятно, Романовского): Сидорина, Успенского, Богаевского, Покровского, Улагая, Науменко, — втянул в заговор против Деникина, да еще в самый критический момент! Лишь простоватый на вид генерал Шкуро да с его помощью терский атаман Вдовенко раскусили замысел честолюбивого авантюриста, готового плясать на трупах...

Конечно, в развале дисциплины прежде всего виновен был «царь Антон», позволявший спесивому барону неслыханные дерзости и даже организацию заговора с целью смещения. Если бы Деникин не попустительствовал всем интригам Врангеля, подры-

вавшего армию не меньше, чем большевистские агенты, все вместе взятые, висеть бы барону в черкеске и с кинжалом на первой же шибенице...

III

За что ж боролись белые генералы и офицеры? Пусть проиграли они, но, может быть, осталось их дело, требующее завершения?

В романе Г. Степанова приводится любопытный эпизод; он может оказаться и незамеченным, поэтому намеренно на нем заострю внимание. В 1919 году в Екатеринодаре Кубанская Рада запретила Пуришкевичу прочитать лекции в Зимнем театре: «Россия вчера и сегодня» и «Россия завтра». За что же? За пропаганду монархических идей.

С Кубанским правительством все вроде бы ясно: ярые республиканцы с уклоном в самостийность, что, видимо, в конце концов и завело в тупик. Недаром в народе родилась исполненная глубокого смысла шутка: Рада сама не рада, что она Рада.

Задумаемся о другом: а почему никто из бывших царских генералов и офицеров, хотя бы в пику Раде, назло самостийникам, не заступился за Пуришкевича? Почему, ведь по листовкам и лозунгам большевиков они — контрреволюционеры, монархисты, реставраторы; пели даже и мы с вами: «Белая армия, черный барон снова готовят нам царский трон...» А выходит, что не готовили?..

Пожалуй, только в такой сказочной стране, как наша, возможен был подобный разгул демократии в самом прямом смысле слова: пять миллионов солдат, сорвавшись с фронта с винтовками и пушками и даже на своих бронепоездах, дебоширили по станциям, станицам, селам и городам России, справляя кровавую пугачевскую вольницу.

Ладно, темный народ: колют, режут друг друга без всяких высоких убеждений. А «ученые люди», они-то за что боролись?..

Вы только вообразите себе такую фантастическую сцену: где-то уже в середине романа генералу Маркову задают вопрос, достойный разве что двух гоголевских мужиков из «Мертвых душ» (куда докатится колесо — до Москвы ли, Казани?): «А вы, ваше превосходительство, монархист или республиканец?»

Вопрос ведь задан не на диспуте и не на мобилизационном пункте, а между кровопролитными боями; бьются, значит, за правое дело, чудом уходят из-под Екатеринодара (после роковой гибели генерала Корнилова), яростно ненавидят одних и тех же врагов — и только теперь, словно очнувшись ото сна, интересуются: что исповедуют вожди?

И ведь заметьте, спрашивает не юнкер, не гимназист, а знаменитый профессор, историк Федор Андреевич Щербина...

«Марков глубоко затянулся дымом папиросы.

— Еще в Быховской тюрьме я никак не мог решить, что лучше — монархия или республика? До революции я, честно говоря, был страшно далек от политик и партий. Но в Быхове наконец передо мной встал вопрос: за что же именно сражаться? Я не был против монархии, однако, увидев, насколько она обанкротилась, пришел к выводу: если ее восстановить, то все равно она не удержится. Тут же начнутся новые курбеты. Я сказал об этом Корнилову. Он выслушал меня и объявил: «Я республиканец, и если в стране у нас будет монархия, то мне в России делать нечего!» — Марков улыбнулся и с присущей ему экспансивностью добавил: — А вот генералы Алексеев и Лукомский, свергнув Николая Второго, вдруг стали монархистами. И Алексеев никак не может простить себе той настойчивости, с какой он добивался от командующих фронтами ультиматума об отречении от престола последнего из Романовых. Теперь он говорит, что со свержением царя надо было повременить.

Щербина рассмеялся, а осторожный Филимонов, хмурясь, сказал:

— Ваше превосходительство, по политическим убеждениям и взглядам мы, кубанцы, — единомышленники вам. Республиканский строй нам по духу...»

Этот республиканский дух мятежных генералов, нарушивших присягу и предавших царя, далеко не у всех офицеров находит поддержку; в военном перевороте начинают видеть источник едва ли не всех бед, постигших Россию.

От громких, но бессильных проклятий в адрес генералов офицеры в романе Степанова (Дюрасов и Ковалевский) переходят к нападкам и на зловещих заправил, на истинных виновников развала великой Русской армии и Российской империи и, в частности, на бывшего Председателя Государственной Думы Родзянко, преступно расшатывавшего устои государственности в стране, а теперь пристроившегося в обозе, «на обломках самовластья», да еще под защитой им же пущенных по миру белых республиканцев:

«— Вы обманули Рузского, Алексеева, напугали Михаил Александровича, отрекли царя, и Николай Второй должен вас проклинать! — не унимался Дюрасов.

— Нет, император не будет проклинать меня, — Родзянко отрицательно мотнул головой. — Отдавая отречение Рузскому, он сказал: «Единственный, кто честно и беспристрастно предупреждал меня и смело говорил мне правду, был Родзянко!»

— Это он вашу искусную ложь принимал за правду до последней минуты своего царствования! — воскликнул Дюрасов. — Если бы вы не отрекли его прежде времени, Россия закончила бы войну полной победой над Германией, и мы сейчас, может быть, ходили бы по Берлину, а не по этой захолустной станице. Наконец, позвольте спросить: кто вскормил на своей груди гаденыша-провокатора Александра Федоровича Керенского? Только благодаря вам этот фигляр и болтун выскочил на пост председателя Временного правительства и своими действиями разложил Русскую армию.

— Да, никто не принес столько вреда России, как вы и ваш Керенский, — Ковалевский ткнул пальцем в грудь Родзянко.

Широкое одутловатое лицо бывшего председателя Государственной Думы побелело.

— Простите, господа офицеры, но я не могу больше выслушивать ваши резкости, — дрожащим голосом пролепетал Родзянко.

Ивлеву стало жалко старика.

— Друзья, нельзя же так! — сказал он, обращаясь к офицерам.

— А разве можно, чтобы по милости таких горе-деятелей мы обливались теперь кровью? — снова вспыхнул Дюрасов. — И они

еще под нашим крылом прячутся от того чудовищного, что сами породили политическим интриганством, славолюбием, властолюбием, алчностью, неумением править государством!»

Вспомним слова, которые бросил жалкому штабс-капитану Капарину Григорий Мелехов: «От вас, от ученых людей, всего можно ждать». Вспомним и задумаемся: а ведь все эти «ученые люди» — капарины, дюрасовы, ивлевы, листницкие — и сами преданы и обмануты такими же «учеными людьми», перед которыми капарины и мелеховы сливаются в один муравейник, в подножие пирамиды, на вершине которой воздвигла свой красный трон сатаны демократия.

Кто виноват?

Все — в разной степени.

«Я не был монархистом, — рассказывает на другой день после стычки Дюрасов оказавшемуся рядом сердобольному Ивлеву. — Но когда после свержения Николая Второго на наши офицерские головы обрушилась вся солдатская глыба, я стал ненавидеть всех, кто был причастен к отречению царя. Даже и Корнилова. Как все эти родзянки, львовы, алексеевы, шульгины не могли понять, что в разгар войны с Германией свергать престолодержавца — это все равно что рубить сук, на котором все держались вместе с авторитетом власти. Убрать царя они могли бы тотчас по окончании войны!..»

Как трогательно наивны эти доводы здравого смысла из уст офицера, будто бы никогда не слышавшего о планах превращения войны империалистической в войну гражданскую, иначе говоря — о планах использования всех этих корниловых и шульгиных в своих целях!

Без Алексеева и Корнилова не было бы ни Керенского, ни Ленина, и если первые не могли или не хотели этого понять, то это, как говорится в подобных случаях, их проблемы.

Генералов использовали и выбросили.

Но — обратимся к «Дневнику белогвардейца», о котором я упомянул в самом начале статьи. Быть может, просветленный православный взгляд этого безымянного русского человека поможет вам обрести спокойствие и мудрую взвешенность в оценке чужих деяний!

«31-го. Был на панихиде по ген. Корнилову, по случаю первой годовщины его смерти. Без сомнения, убитый генерал был человек редкой храбрости и твердой воли. Его поход на выручку Петрограда, неудавшийся вследствие подлой измены Керенского, и его до безумия смелая попытка спасти захваченный красными Екатеринодар, закончившаяся его геройскою смертью, покрыли имя его славой, хотя я не могу забыть того, что Корнилов согласился быть революционным командующим войсками Петрограда и, нарушив данную им присягу, конвоировал арестованного Николая 2-го, а жену его лично арестовал. Но «мертвые срама не имут», особенно павшие в борьбе со злодеями. Да будет Господь ему милостивым судьей» *.

Многого мы, видимо, так никогда и не узнаем...

Глухим намеком на закулисную революционную войну звучит в романе «Закат в крови» загадочный выстрел Савинкова в затылок генералу Крымову, когда тот по-мужски попытался выяснить свои отношения с Керенским; что же тогда произошло и почему Корнилов не мог потом простить измены явившимся в Новочеркасск Керенскому и Савинкову?..

Может быть, кое-что способна объяснить причастность Крымова к тайной организации в армии, за спиной которой стояли такие матерые заговорщики, как Некрасов и Терещенко?

Да и тишайший Михаил Васильевич — начштаба — царь ему доверял безгранично — не стоял в стороне от подобных больших дел, когда решалась судьба революции... Вольнолюбиво намекавший на царицу как возможную шпионку (у нее, видите ли, нашли карту военных действий), сам генерал, как достоверно теперь известно, осенью 1916 года изобличен был охранкой в переписке с Гучковым, деятелем с многообразными, запутанными связями.

А теперь подумаем (не о генерале Крымове, одноразово использованном) о тишайшем генерале: случайно ли послушным Алексеевым пытались заменить «временного» героя Керенского в дни корниловского мятежа? Не для того ли, чтобы помешать неуступчивому Корнилову сформировать свое правительство?

Но Керенский, поддержанный революционным пролетариатом, решительно пресек попытку государственного обновления, отдав Корнилова под арест и заменив его на посту Верховного Главнокомандующего Алексеевым.

Поход на Петроград не состоялся. Против «контрреволюционных генералов» (Ленин), то есть в защиту Керенского, выступили рабочие Петрограда, поднятые большевиками, эсерами и проч. И откуда такая поистине масонская солидарность у противоборствующих, казалось бы, сил — буржуазного Временного правительства и Петроградского Совета рабочих, солдатских, крестьянских и прочих депутатов? Ведь буквально на другой же день после назначения А. Ф. Керенского министром-председателем Временного правительства Советы назвали Временное правительство «правительством спасения революции», а вездесущий Керенский стал еще и товарищем, то есть заместителем председателя Петроградского Совета.

Эти, вмиг слившиеся, как капли ртути, однородные силы и решили исход борьбы.

«Какая же безумная и роковая слепота напала на Керенского! — думал Ивлев. — Если бы он не объявил Корнилова главою реакции и изменником революции, если бы впустил Дикую дивизию Крымова в Петроград, то дезертиры и анархисты не разгулялись бы».

О политической наивности молодых офицеров мы уже говорили. Но — помечтаем вслед за ними...

IV

Теперь можно даже попытаться вообразить себе, что было бы с Россией, если бы Лавр Корнилов не был убит под Екатеринодаром и в походе на Москву оказался бы удачливее Антона Ивановича Деникина? Что дала бы народу не анонимная «диктатура пролетариата», а открытая демократия Учредительного собрания?

Впрочем, что тут гадать! Ответ был дан не в столкновении

* Государственный архив Краснодарского края, Р—411, оп. 2, ед. хр. 252, с. 105.

Белой и Красной армий, а в соотношении голосов, предрешившем победу эсеров.

Мало бы что изменила и победа Добровольческой армии. Разве что процент партии кадетов, объявленной после октябрьского переворота вне закона, возрос бы за счет некоторых влиятельных сторонников эсеров, но в целом не нарушил бы равновесия в пользу общенародной демократии.

Что сулила народу эта демократия, нетрудно предположить: враги народа и свободы были указаны — дворяне, идеи «расказачивания» под аплодисменты Мироновых и Крюковых в Таврическом дворце изречены, да и страшный прообраз Чрезвычайной комиссии (ЧК) по борьбе с инакомыслящими при Временном правительстве уже существовал, как и рабочие продотряды по борьбе с крестьянством, которое до того должно было успеть расправиться со своими помещиками.

Все было предусмотрительно создано, и от ловкости партий зависело, кому пустить машину на полный ход!

Вырвать власть из рук обманчивого многопартийного представительства во главе с эсерами, обуздавшими лаской и лестью волю стомиллионного крестьянства, могла лишь вооруженная диктатура, способная разгромить партийные дружины боевиков и купленные на деньги партий так называемые народные дружины. Установить диктатуру мог либо «революционный пролетариат», за спиной которого стояли такие же темные личности, что и эсеры, либо буржуазия (и у нее был реальный шанс в июне 1917 года), либо дворянство, еще игравшее определяющую политическую роль в структуре имперской власти, царской администрации, армии и т. д., но вместе с разрушенным государственным аппаратом и взорванной изнутри армией выброшенное на свалку истории вздыхать и плакать, но не мешать новым мещанам во дворянстве строить свой лагерный порядок в захваченной России.

Идея Учредительного собрания, подменившая саму программу Белого движения, роковым образом предопределила исход борьбы задолго до военного поражения Белых армий. Даже в случае установления Белой республики реальной властью обладала бы предприимчивая буржуазия, фактически верховодившая в стране уже с 1905 года — то явно, то тайно, через многочисленные партии и подставных лиц.

Белая идея, утопическая по своей сути, исключая разве что планы адмирала Колчака, подорвавшегося в Сибири на эсеровских минах, заложенных в головах крестьян (чем партия эсеров по праву гордилась перед большевиками), ничуть не принижает, однако, жертвенного величия Белого движения — этой рвущей душу лебединой песни Русской армии.

Неподалеку от мест эвакуации добровольцев из Новороссийска, в горах, пышно цветут зеленокудрые луга омел и плюща прямо поверх деревьев, и никак от них не избавиться, не сбросить с ветвей сокососущие лианы, ну разве что сгореть одновременно в одном лесном пожаре...

Увешанное гирляндами присосавшихся к могучему стволу партий, Российское государство еще могло удерживать до поры до времени всю эту обременительную ношу паразитирующих образований, допуская многопартийность и даже хорошо организованную политическую оппозицию державной власти в лице Государственной Думы. Но когда монархический принцип был попран и осквернен, когда путь на престол стал свободен всем претендентам, новая, сумевшая вырвать власть сила вместо монархического принципа могла защититься от других претендентов только железным штыком диктатуры, только массовыми репрессиями против конкурирующих вождей и партий, и в том числе против невинных, используемых в политической борьбе народных масс, на которые опирались вожди и партии.

Как ни странно, максимальное многоголосие мнений, партий, подлинную свободу в диалоге низов и верхов могла допустить не рвущаяся к власти демократия, однобокая и пристрастная, а монархия, сильная, могучая, уверенная в себе, удерживавшая в равновесии все партии и стоявшие за ними силы, готовые к взаимоистреблению.

Учредительное собрание, составленное из противоборствующих сил, не могло быть заменой великодержавной, имперской власти.

Разгон Учредиловки — этой своеобразной правящей промежуточной партии, был неизбежен. Так поступили бы эсеры, если бы были в силах разогнать большевиков, так же обошлись бы с конкурентами и кадеты, если бы не упустили свой реальный шанс взять власть.

Допустить подлинную демократию могла только монархия. Только власть, защищенная недосягаемым для других партий естественным — монархическим — принципом. Но что рассуждать!

Лучше обратимся к суждениям великого поэта (весьма опасным для современных политических спекулянтов и потому изъятым из академического издания воспоминаний А. О. Смирновой-Россет; цитирую по публикации В. В. Кожинова в журнале «Дон», там обошлись без купюр):

«...Вечером Государь получил еще депешу; он говорил об этом с Нессельроде и сказал между прочим: я уверен, что «король французов» не процарствует и 20-ти лет. Те, которые возвели его на престол, возведут и другого. Принцип погиб. Но я вмешиваться ни во что не буду; внутренние дела Франции совсем меня не касаются; я не обязан в них вмешиваться. В 1814 г. мой брат действовал заодно с другими державами; положение дел этого требовало. Теперь оно изменилось. Я писал королю Луи-Филиппу совершенно искренно и высказал ему то, что и думал; говорят, что мое письмо его неприятно затронуло; но честный человек должен говорить откровенно, и я объяснил ему, какая в его положении заключается опасность для монархического принципа, которого он является представителем. Эта опасность будет ему угрожать постоянно: она — следствие его избрания. Впрочем, я говорил об этом генералу Аталену, который кажется мне очень неглупым человеком и который прекрасно понял, что это Ахиллесова пята новой французской монархии. Может быть, я ошибаюсь, — тем лучше, так как я не желаю французскому народу ничего, кроме добра. Я говорил генералу Аталену, что и желаю добра королю и народу, но по совести не мог не предупредить короля Луи-Филиппа, и я написал ему то, что думал, без всяких дипломатических тонкостей, которые я ненавижу и к которым никогда не стану прибегать.

Я передал этот разговор Пушкину под большим секретом. Он был очень поражен этим и сказал мне: Государь стоит выше дипломатических тонкостей; он говорил, как всегда, со свойствен-

ной ему прямотой. Он прав. Это избрание короля совершалось благодаря 3-му сословию, главным образом буржуазии, но придет время, когда и блузники захотят возвести на престол своего кандидата и возмутятся против министров буржуазии; за этим последует новая революция, это неизбежно! Сеймы и избрания погубили Польшу. Во Франции больше внутренней силы, она постоянно доказывала это с 1789 г., другая страна давно погибла бы. Но новая монархия непрочна, по моему мнению; в деревне я перечитывал Тацита и других римских историков. В Риме преторианцы кончили тем, что избрали Гелиогабала, это — упадок. Государь прав: монархический принцип погиб во Франции, исчезла неприкосновенность этой власти, и теперь, может быть, более, чем в 1791 г.».

V

Разрушив неприкосновенность государственной власти в России, белогвардейские республиканцы вскоре и сами были погребены под обломками самовластья, на коих высечены их гордые имена; но что толку?

Современные гуманисты, преследуя свои далеко идущие цели, говорят: революция пробудила в русском народе зверя. А чего вы, господа, желали, если со времен Чернышевского звали Русь к топору?.. Но — революция пробудила в народе и невиданную доселе жажду демократического устройства, какая и не снилась вольнолюбивым генералам Николая II.

Мог ли осуществиться в России, в древности бывшей великой республиканской державой, опиравшейся на общину, вече, выборность княжеской власти, — демократический принцип?

Алексей Ивлев в споре со своим будущим тестем — большевиком Леонидом Ивановичем Первоцветом бросает на чашу весов такую увесистую фразу: «...Декабристы знали, что народ нельзя втягивать в борьбу, а большевики втянули и продолжают своими лозунгами возбуждать плебеев» *.

Вроде бы верно. Переворот 1917 года тем, видимо, и отличается от попытки военного переворота 1825 года, что в борьбу за власть был вовлечен народ как главная ударная, слепая сила, обреченная в результате навязанной братоубийственной гражданской войны на самоликвидацию.

Грандиозные планы международных карбонариев осуществились, и неудача 1825 года была вполне исправлена 1917 годом, причем усилиями самого народа, раскрепощенного на миг только затем, чтобы еще сильнее закрепоститься.

И все же втянутый в кровавую бойню народ извлек из глубин своей исторической памяти не только злобу, но и светлые идеалы, оттесненные со времен Киевской Руси в сказку, песню, былину.

Народно-вечевой, демократический принцип имел реальные возможности осуществиться на Руси, если бы не столкнулся со своим оборотнем — Учредиловкой, дешевой приманкой для всех последних российских утопистов.

* Цитирую по изданию 1985 года, осуществленному Воениздатом, так как в более позднем издании, предпринятом «Советским писателем» в 1989 году уже после смерти автора, этот эпизод изъят.

Ну разве могли пойти казаки за корниловским болтуном Баткиным и ему подобными, звавшими неведомо куда и неведомо за что бороться? Да если бы не охранялся этот корниловский комиссар текинцами наравне с Главнокомандующим, сами офицеры давно бы оторвали ему голову!

Идеалы наиболее сознательной и вольнолюбивой части народа — казачества — всегда были конкретны и просты. Когда вся Русь, считали казаки еще во времена Степана Разина, будет управляться кру́гом, тогда и воцарится на ней порядок (за что они и боролись в отличие от банд парижского вора Емельки Пугачева).

Народно-вечевой уклад, угасший за тысячу лет в наших князьях, ставших придворными, еще теплился в казаках, этих природных демократах (не путать с сегодняшними плутократами).

Они все время выбирали себе власть: от куренного до кошевого атамана — во время мирной, сторожевой жизни и — походного, когда объявлялся сполох, когда надо было идти на врага войной. И пусть наверху власти стоял наказной (назначенный царем) атаман, власть его вовсе не была диктаторской или административно-командной. А на жизненный уклад казачества его атаманство и вовсе не влияло...

Деникинские комиссары — «осваговцы» — в казачьем демократизме увидели отрыжки керенщины, а не возвращение к вековечным традициям Древней Руси, полузабытым правящим классом имперской администрации; конечно, республику казакам подсовывал Керенский отнюдь не бескорыстно, как и господам генералам, страдавшим той же отрыжкой... Но!

Казаки ль виноваты в том, что в них искали опору и белые, и красные, что, например, так называемые комиссары по казачьим делам, вроде Макарова, сидевшего в Кремле, патриархальные достоинства веками создаваемой военной, вечевой общины обзывали «хорошими зачатками казачье-коммунистического сообщества Запорожской Сечи и привольных степей Дона времен Степана Разина»?!

Вспоминается Тарас Бульба: «А как по-латыни горелка? То-то, сынку, дурни были латынцы: они и не знали, есть ли на свете горелка». Так же и «латынцы» могли бы укорять казаков: «То-то дурни были запорожцы, жили при коммунизме и не знали, что община — это коммуна, не то давно бы переименовали свою Запорожскую Сечь в Запорожскую коммуну — задолго до Парижской!»

Кто ж под кого подстраивался? И кто кого обманул?

У великой казачьей республики, состоявшей из одиннадцати (или двенадцати, смотря как считать) пограничных земель России, простиравшейся от Черного до Берингова моря, у этих могучих побегов Запорожского корня — один был ствол, одни законы и обычаи. Было бы и великое будущее в рамках империи, какая разумно сохраняла в себе многоукладовость и многослойность. Жили бы и не тужили — кто при капитализме, кто при феодализме, а кто и в вечевой своей республике, безжалостно уничтоженной диктатурой пролетариата.

Республиканские традиции были подхвачены одновременно с двух сторон — белой и красной (описанной в романе, увы, более традиционно, в духе баснописательства Алексея Толстого).

Впрочем, знатоки Эзоповой поэтики убеждали меня в том, что

красные в романе Степанова — это сознательная пародия на победивших большевиков, выведенных к тому же как необходимый довесок для прохождения книги через инстанции.

Не знаю, может, и так.

Но убежден, было, за что зацепиться перу серьезного художника и в красном стане, что доказал, к примеру, Анатолий Знаменский романом «Красные дни» (у него, правда, своя слабость: белые будто перекочевали к нему в роман из произведений Д. Фурманова, Н. Островского, А. Первенцева, Вс. Вишневского. Хотя, признаем, Федор Крюков описан у него с большим пониманием).

Знаменский все свои силы отдал реабилитации Миронова, ему было не до белогвардейцев. И вот Миронов оправдан и возведен в ранг героя. Но за Сорокина — никто не брался. И силенок недоставало, и смелости. Тот же Степанов, описав Пятигорскую трагедию и бессудный расстрел Сорокина, весьма благонамеренно заключил: «Так революция отшвырнула с дороги одного из наиболее одиозных своих попутчиков».

Я не виню Степанова, он действовал в рамках официально признанной концепции. Не секрет, что до недавнего времени доступ к таким именам, как Сорокин и Миронов, наглухо был закрыт. Этих имен фальсификаторы истории — во главе с академиком Минцем — боялись больше, чем Корнилова, Деникина и Врангеля. Как и в гражданскую войну, так и в теперешнюю — за души людей — они были опаснее. Ибо эти герои уже не были страшно далеки от народа — в отличие от Пестеля и Герцена, революционных демократов и в том числе автора этого знаменитого изречения. Они были рождены и выдвинуты на передний край борьбы самим народом! Во что бы то ни стало их надо было сначала уничтожить, а потом оклеветать, и желательно усилиями — своих же.

Мой знаменитый земляк, уроженец станицы Новокорсунской Федор Федорович Крутоголов, бывший адъютант Сорокина, оставил такое предсмертное завещание: «К сожалению, в книгах, которые я выпустил, мне не удалось рассказать всю правду о Сорокине. Больше того, и мне пришлось скрепя сердце поддерживать давно утвердившуюся оценку личности Сорокина. Но я верю, что придет время и роль нашего главкома — Ивана Лукича Сорокина — в борьбе за Советскую власть на Северном Кавказе будет тщательно изучена и получит переоценку. Я даже думаю о том, что это время уже пришло».

Писались эти строки в феврале 1976 года. Надо ли распространяться о том, что время восстановить правду о революции и гражданской войне давно пришло. Но о Миронове и Сорокине — как неизбежных жертвах и трагических героях третьей силы и третьей правды — разговор впереди.

●

РЕПЛИКА

ГОРЬКИЙ ПРОТИВ МОЖАЕВА

В связи с публикацией в «Огоньке» (49) брошюры М. Горького «О русском крестьянстве» (в сокращении), изданной в Берлине в 1922 году, и комментарием к ней писателя Б. Можаева под названием «Я теряюсь...», крайне необходимо дать своевременный ответ. Действительно, откровения Горького, которые начинаются с фразы — «В сущности своей всякий народ — стихия анархическая», особенно это относится к русской нации, а в ней — прежде всего к большинству крестьянства, исторические «экскурсы» негативного плана, выкладки о причинах красного террора, который предстает как ответная мера на жестокость русского народа, — весь этот перекос представлений действительно вызывает недоумение.

«Огонек» замечает: «Да, об этих мыслях Горького наш читатель не знал». На самом деле — начнем с крестьянской темы в освещении Горького: многое давно известно, вошло в собрание сочинений Горького в 30-ти томах издания 1949—1956 годов, в «Литературное наследство», т. 70 — 1963 и другие публикации. Выводы исследователей определенны: Горький допускал грубые ошибки.

Уже в ранних рассказах «Емельян Пиляй», «Челкаш», позже — в «Моих университетах», особенно в статьях — «О русском искусстве», «Обращение к народу и трудовой интеллигенции», «Н. С. Лесков», «Семен Подъячев», «Иван Вольнов», проходила линия неприязненного отношения к быту русского крестьянства, вплоть до таких заклинаний: «Его (Подъячева) имя останется в истории русской литературы как имя человека, изобразившего деревню во всей ее жути, которая — надо верить — скоро и навсегда издохнет».

Когда в 1921 году И. Вольнов решил поехать в свои родные места — Орловскую губернию, чтоб там помочь землякам строить новую жизнь после революции, Горький пишет ему:

«А возвращаясь к деревне, скажу вам: да погибнет она так или эдак, не нужно ее никому, и сама себе она не нужна. Вы знаете, что я плохой марксист, и эти мои слова не «с точки зрения», а из опыта, от многих, тяжких дум над судьбами русского народища.

Бросьте, дружище, деревню и напишите хороший реквием в память о ней».

Однако мы не вправе обходить и его самокритику:

«Так думал я 13 лет тому назад и так — ошибался. Эту страницу моих воспоминаний следовало бы вычеркнуть. Но — «написанное пером не вырубишь топором». Пусть же читатели

знают мою ошибку. Было бы хорошо, если б она послужила уроком для тех, кто склонен торопиться с выводами из своих наблюдений».

Приведу пример, известный пока только некоторым специалистам.

В 1929 году журнал «Октябрь» неожиданно прервал публикацию третьей книги «Тихого Дона» по идейным соображениям. Шолохов попросил А. Фадеева прочитать рукопись и передать ее после для окончательного суждения Горькому. Уж они-то должны были разобраться. И вот — письмо:

«Дорогой тов. Фадеев!

Третья книга «Тихого Дона» — произведение высокого достоинства, на мой взгляд, значительнее второй, лучше сделана.

Но автор, как и герой его, Григорий Мелехов, «стал на грани между двух начал», не соглашаясь с тем, что одно из этих начал в сущности — конец, неизбежный конец старого казачьего мира и сомнительной «поэзии» этого мира. Не соглашается он с этим потому, что сам все еще — казак, существо биологически связанное с определенной географической общностью, определенным социальным укладом. Для меня третья часть «Тихого Дона» говорит именно о том, что Ш. — областной писатель, и я думаю, что у нас будут подобные ему писатели — уральские, сибирские и прочих территорий. Будут они до той поры, пока писателя огромной нашей страны не поднимутся на высоту социалистических художников Страны Советов, не почувствуют себя таковыми, не сознают, что фабрика более человечна, чем церковь, и что хотя фабричная труба несколько портит привычный лирический пейзаж, но исторически необходима именно она, а не колокольня церкви.

Значит: дело сводится к перевоспитанию литератора, а оно прежде всего требует очень тактического и бережного отношения к воспитуемому.

Рукопись кончается 224-й стр., это еще не конец. Если исключить «областное» настроение автора, рукопись кажется мне достаточно объективной политически, и я, разумеется, за то, чтоб ее печатать, хотя она доставит эмигрантскому казачеству несколько приятных минут. За это наша критика обязана доставить автору несколько неприятных часов.

«Областное» заставляет автора злоупотреблять речениями, такие словечки, как, например, трюмок, теклина, поверть (описка Горького, должно быть — коловерть. — Ф. Б.), требуют объяснения. Казацкое особенно сильно выражено на стр. 126, 140, 148.

Шолохов — очень даровит, из него может выработаться отличнейший литератор, с этим надобно считаться.

Мне кажется, что практический гуманизм, проявленный у нас к явным вредителям и дающий хорошие результаты, должно проявить и по отношению к литераторам, которые еще не нашли себя.

Жму руку

3/VI—31. А. Пешков» *.

Из отзыва ясно, что в данном случае «областная литература» имеет признак ограниченности. Она связана с сомнительной, умирающей «поэзией» старого мира, фигурально выражаясь — с колокольней церкви, тогда как «исторически необходима» фабричная труба, то есть город, рабочий класс.

С этой позиции он подходит к герою романа — Григорию Мелехову и одновременно — к Шолохову, распространяя и на него слова из XX главы третьей книги: «И оттого, что стал он на грани в борьбе двух начал, отрицая оба их, — родилось глухое неумолчное раздражение».

Горький, как видно, стоял за то, чтоб из рукописи было исключено «казацкое» (разумеются лирические места, на чем настаивал и Фадеев, но что было дорого для Шолохова).

А чего стоит педагогическая рекомендация: автора (да и не только его) надо перевоспитывать, чтоб поднять на высоту социалистических художников Страны Советов?.. Учить же надлежало ортодоксам вроде Фадеева.

И уж совсем странными выглядят выводы: рукопись политически объективна, ее надо печатать. Но она «доставит эмигрантскому казачеству несколько приятных минут. За это наша критика обязана доставить автору несколько неприятных часов».

Роман, как видим, оказался не вполне доступен Горькому из-за той его «концепции», которая наглядно проступает в отзыве.

И все же Шолохову удалось переубедить его в пространном письме от 6 июня 1931 года и во время встречи в Краскове, где присутствовал И. Сталин. Возражения были сняты. Так разрешился, по словам Шолохова, проклятый для него вопрос.

На многих примерах видно: Горький способен был пересматривать свои взгляды, уточнять. В истолковании брошюры «О русском крестьянстве» нельзя проходить мимо этого.

Надо учитывать и противоречивость Горького. Еще задолго до революции он отвергал «мистический» ужас перед мужиками, который находил у В. Муйжеля и других. В ряде произведений сочувствует земледельцу («Кирилка»), видит в нем и активную общественную силу («Мать», «Лето», «Жизнь Клима Самгина»).

Гражданская война потрясла Горького своей жестокостью, усилила его сомнения в цивилизованности российского общества. Это и выплеснулось в статье «О русском крестьянстве», где так очевидны эмоциональные перехлесты.

В ней он готов переложить всю тяжесть вины за жестокость гражданской войны на крестьян. Да, в деревне сложился в силу исторических условий своеобразный характер человека от земли. Подозрительность к горожанам, интеллигенции, деспотизм старших в семье, склонность к наживе за счет грабежей, издевательства над слабыми — все это было. И здесь вряд ли возможно особенно оспаривать Горького. Есть авторитетные свидетели, кроме него, — В. Зазубрин, М. Шолохов.

Но при всем этом трудно понять заданный Б. Можаевым грозный вопрос:

«Скажите мне, у какого еще народа в этом мире подлунном есть в школьных программах такой писатель, который оправдывал бы и освящал своим словом чудовищные преступления, совершенные против всей нации? Нет... В истории человеческой еще ни один писатель не совершил такого глумления над родом людским».

Вот как! Под корень его! Начать со школьной программы! Да и о памятнике у Белорусского вокзала придется подумать. Демократическая эпоха, что ни говори...

---

* Архив Горького, ПГ—рл. 47—1—2.

Если бы это написал рядовой публицист, критик (особенно — критикесса, вроде М. Чудаковой), то еще бы не страшно. Но Бориса Можаева люди читают. И ему вряд ли следовало бы поддерживать «интеллектуальный» вандализм, направленный па то, чтобы молодежь стояла подальше от Горького, Шолохова, Леонова, А. Толстого, Фадеева, Твардовского, Есенина. Он не может не знать, что представлял собой для мировой культуры Горький, его поистине исполинский творческий опыт художника.

Горький создал панораму русской жизни, начиная с эпохи народников. Телефильм «Жизнь Клима Самгина» недавно напомнил еще раз об огромных познаниях, эрудиции того, кто дал материал для большого сериала. Горький вскрыл анатомию общества, которое двигалось к потрясениям — 1905 году, мировой войне, революции, социальное, политическое, интеллектуальное противостояние. Он связал наше искусство по принципу преемственности с русской и мировой культурой.

Горький — это недосягаемая для многих по сей день высота искусства слова — в прозе, драматургии, публицистике, мемуаристике. Чехов сразу почувствовал в Горьком по рассказам «Ярмарка в Голтве», «Сирота», «Мой спутник» художника большой силы, отметил «цепкое, ухватистое» воображение, музыкальность, стройность повествования. Такие шедевры, как «Рождение человека», «На Чангуле», «Бывшие люди», «В степи», «Ледоход», «Страсти-мордасти» и так далее, — читаешь и перечитываешь потому, что это литература по самым строгим критериям. «На дне», «Мещан», «Егора Булычева» смотришь в театре потому, что это настоящая драматургия.

Неужели от всего этого наша молодежь должна отшатнуться? Вряд ли. Горький — слишком монументален, чтоб его свалить. К ошибкам такое наследство несводимо. Они проистекали в основном от нетерпеливого стремления увидеть нашу страну цивилизованной, деревню — сменившей средневековое обличие, людей — физически здоровыми, культурными, уважающими труд и порядок.

Москва

Федор БИРЮКОВ,
доктор филологических наук

БЛАГО НАРОДА — ВЫСШИЙ ЗАКОН

Недавно в Китае я разговорился с одним советским литератором. Он, можно сказать, честный, прямодушный человек, узнав, что я перевожу на китайский роман В. Белова «Все впереди», с ходу, без всяких обиняков спросил: «Почему вы выбрали эту вещь для перевода? Это же художественно слабый роман!»

Конечно, я не ожидал такого вопроса и даже несколько растерялся, не нашелся, как ответить ему, и в смущении пробормотал несколько невнятных слов. Но сам разговор задел меня за живое. Я долго думал, почему же выбрал именно роман В. Белова для перевода? И так ли уж художественно слаб этот роман, чтобы об этом можно было говорить столь безапелляционно? Тем более я вряд ли взялся бы за перевод, если бы роман не тронул меня, если бы я не чувствовал, что новая вещь В. Белова взволнует и других читателей.

Первое и основное, в чем я убежден, В. Белов создал полнокровные образы, имеющие обобщающее значение. Медведев и Иванов, Зуев и Грузь — это люди доброй души и воли, живущие по законам человеческой морали и совести. Они искренне, самоотверженно помогают друг другу, не торгуясь с собой, как это стало модным сейчас, и не только в русской литературе. К негативным социальным явлениям они питают жгучую ненависть и ведут непримиримую борьбу с ними. Да, жизнь порой невыносима, и они не могут сносить это спокойно. Особенно тревожит их мысль о будущем человечества. И мысль об этом для них не пустая абстракция, а острейшая, может быть, и неразрешимая проблема бытия: что лучше — жить под покровом дьявола или погибнуть в атомной схватке? Можно ли решать эту проблему с наскока, можно ли ее вообще решить для человечества, не решив прежде для самого себя? А если решишь — как взять на себя ответственность за судьбу всего человечества?..

И вот тут-то решающим, на мой взгляд, фактором становится для нас понимание: а кто эти люди сами, какие они? Здесь как раз художественность В. Белова-прозаика сливается воедино с прагматизмом В. Белова-философа. Не героизируя свои персонажи искусственно, он создает на страницах романа полнокровные живые образы той части современного интеллектуального общества, которая не отделена от народа. Перед нами, если угодно, представители истины, доброты и душевной красоты. А истина, доброта и красота, по-моему, — самые драгоценные семена: без них человечество не существовало бы.

Бриш так же типичен, но он носитель разрушительного начала, как говорят, индивидуалист до мозга костей. Воистину он не остановится ни перед чем, чтобы достигнуть своего. На общество ему в высшей степени наплевать. Наверное, таких людей, как Бриш, сравнительно немного, но беда в том, что свои бацил-

лы нигилизма они распространяют на других, именно поэтому их опасную энергию нельзя недооценивать.

Только в масштабах жизни крупного города В. Беловым затронуто в романе «Все впереди» немало актуальных социальных проблем: беспредельное разрастание города, высокая концентрация населения, уличная толкучка, транспортные пробки, вагрязнение воздуха, пьянство, повышение процента разводов, появление могучей, целеустремленной, злой и тайной силы, поражающей нормальную жизнь опасными метастазами, существование бюрократизма, взяточничества и т. д.

Устами своих героев автор указывает, что в обществе появился серьезный дефицит доброты и честности, происходит обесценивание морали, меняется психология человека, в обычной жизни люди начинают играть. как на сцене, не случайно. Медведев подметил очень точно: «На Западе дьявол использует в своих целях деньги, у нас бюрократию». Внутренний монолог Иванова еще более многозначителен: «Люди начинают играть в прятки со своей совестью. Дают, например, взятку, а себя убеждают, что это подарок. Пишут жалобу, получается донос. А когда жалуются на них, то они эти жалобы называют кляузами. Считается добротой обычное подхалимство, партизана называют бандитом, бандита — партизаном. Все навыворот! Иной журналист ругает наркоманов, а практически сообщает технологию приготовления наркотиков. По телевизору ругают буржуазные нравы: показывая обнаженных красоток. И получается, что миллионы подростков жадно смотрят узаконенные стриптизы.

...Кому-то позарез нужна нравственная анестезия».

Таким образом, нравственная позиция самого автора не вызывает сомнения.

Человек не может жить в неволе. Любой стране, любой нации нужны справедливость, свобода, равенство, которые не должны быть патентом отдельной страны или касты людей в одной стране. Вот почему под пером В. Белова и Медведев, и Иванов жаждут подлинного равенства и справедливости не только для себя. Я, читатель и переводчик романа, разделяю с ними их чувства. Но, на мой взгляд, такие понятия, как свобода, равенство, демократия, — относительные, а не абсолютные. Всему есть мера. Свобода небезгранична. Простой, банальный даже пример: чтобы обеспечить безопасность своих граждан, государство вводит правила уличного движения, которые должен соблюдать каждый без исключения. Помню, в одном советском фильме есть такие слова: «Красивая девушка — угроза для транспорта». Конечно, это шутка. Но шутка шуткой, а в ней, по-моему, есть доля истины. Если на дороге все устремят свои взоры на красавицу, которая проходит мимо, то уличная катастрофа почти неизбежна. Когда жизнь уже потеряна, что тогда говорить о свободе. Поэтому-то Медведев исповедует и проповедует нравственный контроль и гражданскую ответственность, поэтому-то он и стоит на том, что интерес народа должен быть поставлен на первое место. «Благо народа да будет высшим законом» — это, по-моему, стержневая целевая установка романа В. Белова.

Все это меня интересует и трогает, я почти на одном дыхании прочитал роман, желание перевести его с русского на китайский, раз возникнув, уже не отпускало меня, пока в переводе не была поставлена последняя точка.

Наверное, это еще и потому, что у нас в Китае существуют аналогичные социальные проблемы. Всем известно, одно время наша страна почти во всех областях подражала своему старшему брату, бывшему Советскому Союзу. Копировала советский опыт в партийной работе и в строительстве. Что посеешь, то и пожнешь. Одинаковые методы (способы) обычно приводят к сходным последствиям. И у нас постепенно плодились бюрократы, взяточники, казнокрады, расточители и те, кто злоупотребляет властью. После так называемой культурной революции, особенно в последние годы, когда в нашей стране стали проводить политику реформ и открытости, появляются и новые отрицательные явления. Палка о двух концах. Счастье и беда — близнецы. Они всегда сопутствуют друг другу. Наряду с развитием промышленности и сельского хозяйства, с умножением общественного богатства накапливается и зло. Негатив, который кроется за спиной экономического процветания, выступает в лице дельцов, подкупающих некоторых руководителей, вовлекающих вчера еще честных людей в преступные махинации. Кроме того, набившие оскомину бюрократические привилегии, кутежи на казенные деньги и порнография стали уже трудноразрешимыми проблемами, которые все более ранят общество.

Социальное зло существует объективно. Люди должны смотреть правде в глаза. Можно тысячи раз повторять «мед», но во рту слаще не станет. Лепешки, нарисованные на бумаге, голод не утоляют. Обманывать себя нельзя. Закрыть глаза, заткнуть уши тоже невозможно. Человеческое общество развивается в борьбе (труд, по-моему, тоже борьба), в борьбе за счастье, за прогресс, за прекрасное будущее. Нечисть сама собой не исчезнет. А что имеется в руках писателей, журналистов, переводчиков и, вообще говоря, интеллигентов? Перо, слово, знания. А это немалая сила в борьбе за светлые идеалы человечества.

Вот почему я выбрал роман «Все впереди» для перевода, который уже сдан в производство в издательстве «Народная литература» в Пекине.

Ван ЦЗИСЫ,
доцент Шаньдунского университета,
г. Цзинань, КНР

Дмитрий ЖУКОВ

РОССИЯ НА ГОЛГОФЕ

В знак своей верности союзническому долгу Шульгин даже отказался пользоваться политической свободой, принесенной немцами в захваченный ими Киев, и издавать «Киевлянин».

Шульгинская «Азбука» действовала вовсю. Курьеры ее пробирались в Петроград и Москву и докладывали о голоде, подавлении крестьянских мятежей, уничтожении дворянства, духовенства и части интеллигенции, что Шульгин и считал социализмом. Он сообщал на Дон сведения о немцах. Посылал к Алексееву и Деникину офицеров.

Деникин вспоминал: «Для Шульгина и его единомышленников монархизм был не формой государственного строя, а религией. В порыве увлечения идеей они принимали свою веру за знание, свои желания за реальные факты, свои настроения за народные. На Юг шли послания, доклады, сводки, в которых яркими красками изображался рост монархического движения в стране».

Немцы разогнали украинскую Центральную раду и поставили во главе «самостийной» Украины гетмана Скоропадского. В Киев хлынули все, кто был против советской власти, — от монархистов до кадетов и эсеров, все, кому удалось бежать от голода и преследований. И среди них — великий русский писатель, академик Иван Алексеевич Бунин с женой Верой Николаевной Муромцевой, племянницей покойного председателя одной из Государственных дум.

В кожаном чемодане с «редкими» замками он привез малую толику своих бумаг, и среди них были дневниковые записи с начала 1918 года, вошедшие потом в книгу «Окаянные дни». В отличие от Блока он не принял большевистской власти вообще и, обладая умом саркастическим, а наблюдательностью и памятью на подробности необыкновенными, повел свой счет происходившему, давая оценку разным личностям, глубоко отличавшуюся от всего того, к чему нас приучали многие десятилетия.

В дневнике уже были заложены наблюдения, которые отзовутся убойной, врезающейся в память прозой «Воспоминаний», его последней книгой. В ней он вспомнит Горького, с которым дружил нелицеприятно, отдавая должное его работоспособности и подмечая бесконечную фальшь в повадках и писаниях, с самого начала, когда тот «уничтожал мужика и воспевал «Челкашей», на которых марксисты в своих революционных надеждах и ставили такую крупную ставку». Или Маяковского, наглостью своею выделявшегося «среди всех тех мошенников, хулиганов, что назывались футуристами», влезшего на пьедестал памятника Скобелеву в Москве в день первой русской войны с немцами, чтобы прореветь патриотические вирши и тотчас устроиться так, чтобы на войну не идти. Потом Маяковский стал неизменным слугой большевиков, поддерживал «окаянное богохульство» их вождей, палачей, опричников, предлагал скинуть Пушкина с корабля современности, а заодно и Бунина: «Искусство для пролетариата не игрушка, а оружие. Долой «Буниновщину» и да здравствуют передовые рабочие круги!»

Окончание. Начало в № 1—2, 3—4.

После захвата власти большевиками Горький приехал в Москву и остановился у своей бывшей жены Екатерины Павловны; она позвонила Бунину, сказала, что Алексей Максимович хочет с ним поговорить, но он ответил, что говорить теперь им не о чем. Бунин в «окаянные дни» встречался с Брюсовым, надевшим теперь маску большевика, с «молодыми» Алексеем Толстым, Маяковским, Эренбургом, Инбер и всех припечатал так, как мог сделать только он один. Он прислушивался к говору толпы, вглядывался в лица. Мрачны они. Уже стреляют людей почем зря, но еще нет тотального сыска, когда язык забит в глотку, и можно услышать проклятья большевикам, обрекшим Россию на голодную жизнь, и упования на немцев. «Раньше чем немцы придут, мы вас всех порежем», — говорит рабочий.

До Бунина доносятся отголоски январских увлечений Блока, и он заранее, еще не читая, угадывает, что может сказать Блок, «человек глупый».

В воспоминаниях, в главе «Третий Толстой», Бунин издевался и над «дьявольски поэтичной» манерой Блока выражать свои мысли в прозе: «Едва моя невеста стала моей женой, как лиловые миры первой революции захватили нас и вовлекли в водоворот. Я, первый, так давно хотевший гибели, вовлекся в серый пурпур серебряной Звезды, в перламутр и аметист метели. За миновавшей метелью открылась железная пустота дня, грозившая новой вьюгой. Теперь опять налетевший шквал — цвета и запаха определить не могу».

Бунин припомнил, что Блок получил 600 рублей жалованья в Чрезвычайной комиссии, что он непристойно издевался в дневниках над допрашиваемыми (перехлест), что будто бы он был личным секретарем Луначарского. А уж «Двенадцать» удостоились отборнейшего ехидства. Блок, мол, выдумал, что сочинял поэму как бы в трансе, «все время слыша какие-то шумы — шумы падения старого мира». Когда в Москву доставили «Двенадцать», московские писатели слушали ее чтение из уст кого-то, сидевшего между Эренбургом и Толстым, и восклицали: «Изумительно! Замечательно!» А Бунин говорил, что бессмысленные зверства длятся уже год, убивают все, кому не лень. Сестра написала ему, что мужики ощипали помещичьих павлинов для потехи и пустили их голыми. И сам он в прошлом году был в Орловской губернии, где пьяные мужики хотели бросить его в горевший скотный двор, крича, что это он поджег... Спасло, что матом он крыл не хуже мужиков. А теперь Блок кричит: «Слушайте музыку революции!» Нестерпимо поэтичный поэт, словечка не скажет в простоте. Поэма его — дешевый трюк, набор частушек, лубок с претензией на народность, освящение именем

Христа кровавого разбоя, издевательство над избиеней Русью, поддержка ленинского «грабь награбленное», поскольку ставка делается не на крестьянство, а на подонков пролетариата, голь перекатную. Тогда ему закатил скандал Толстой, объявивший себя большевиком до глубины души, а Бунина — ретроградом и контрреволюционером.

Заодно в воспоминаниях Бунин припомнил блоковских «Скифов», в которых «после противных любовных воплей Блока «О, Русь моя, жена моя» странно читать, как «весь русский народ, точно в угоду косоглазому Ленину, объявлен азиатом».

В дневнике Бунин записывает со всех сторон доносящиеся до него вести об озверении народа, о дешевизне человеческой жизни. Уже совести ни у кого нет. Икона — «взял маляр доску, намазал на ней, вот тебе и Бог». Понурены, пали духом интеллигенты, а засевшие в Кремле упиваются властью, сыты. Комиссар юстиции Штейнберг — «старозаветный, набожный еврей, не ест трефного, свято чтит субботу», а слово «расстрелять» не сходит с языка.

Но еще красива Москва, еще блистает она золотом куполов, еще всюду остатки наработанного, накопленного. «Неужели всей этой силе, избытку конец?»

Бунин отбирает и продает книги, чтобы как-то прожить и на отъезд скопить. «Вон из Москвы!» Нельзя жить среди ослабшего многомиллионного народа, не способного справиться с сотней тысяч большевиков. Кормят своих так — пришел в совет депутатов просить места, дают два ордера на обыск: иди подкормись... Освинели. Алексей Толстой и Брюсов читают по кабакам похабщину. Бунину предлагают прокормиться тем же. Тихонов, близкий к большевикам, говорит: Ленин и Троцкий решили держать Россию в накалении и не прекращать террора и гражданской войны до момента выступления на сцену европейского пролетариата. Всего боятся как огня, всюду снятся заговоры, трепещут за свою власть и жизнь...

В «Воспоминаниях» он уже скажет, что «в мире зоологическом никогда не бывает такого бессмысленного зверства — зверства ради зверства, — какое бывает в мире человеческом и особенно во время революций». Он уже писал о сладострастии в смертоубийстве, об измывательстве над жертвами, что считается геройством и вознаграждается: «властью, благами жизни, орденами вроде ордена какого-нибудь Ленина, ордена «Красного Знамени»; нет в мире зоологическом и такого скотского оплевания, осквернения, разрушения прошлого, нет «светлого будущего», нет профессиональных устроителей всеобщего счастья на земле, и не длится будто бы ради этого счастья сказочное смертоубийство без всякого перерыва целыми десятилетиями при помощи вабраппой и организованной с истинно дьявольским искусством миллионной армии профессиональных убийц, палачей из самых страшных выродков, психопатов, садистов, — как та армия, что стала набираться в России с первых дней царствия Ленина, Троцкого, Дзержинского и прославилась уже многими меняющимися кличками: Чека, ГПУ, НКВД...

23 мая Бунин с женой уезжали с Савеловского вокзала. Их провожали Юлий Бунин, брат писателя, и Екатерина Павловна Пешкова. Удалось устроиться в вагон с пленными немцами, которые ехали в Киев, к своим. Ехали кружным путем, четверо суток только до Минска, на каждой полуразрушенной станции вагон пытались взять приступом, но немцев охраняли с пулеметами. В Минске Бунин с женой сошли, кочевали по вокзалам. Разрешение на выезд достала сестра милосердия, сказавшая, что Бунин — ее любимый поэт. «И Блок», — добавила она, что заставило помрачнеть Бунина, ревниво относившегося к собратьям по цеху. Из Гомеля плыли по Сожу и Днепру на пароходе и пили пиво, закусывая «удивительно хорошим салом». После гнилых сухарей, оставшихся позади, невольно возникали мысли о загадочной природе социализма, при котором куда-то исчезает все...

В Киеве выходила уйма газет. Не было только «Киевлянина», редактор которого занимался вербовкой агентов для «Азбуки» и офицеров для Добровольческой армии. Пути их с Буниным будут пересекаться не раз, но познакомятся они лет через десять. Переполненный Киев запомнился Бунину купанием в Днепре, на берегах которого ели и пили, не обращая внимания на проплывающие раздувшиеся трупы. Вскоре академик отбыл в Одессу.

Там одним из первых он встретил Алексея Толстого, который, расставив толстые руки, кричал:

— Вы не поверите, до чего я счастлив, что удрал наконец от этих негодяев, засевших в Кремле, вы, надеюсь, отлично понимали, что орал я на вас на этом собрании по поводу идиотских «Двенадцати» и потом все время подличал только потому, что уже давно решил удрать, и притом как можно удобнее и выгоднее...

* * *

...В Добровольческую армию Шульгин выехал 29 июля 1918 года со свитой, в которой были сотрудники «Киевлянина» и старший сын Василий.

Вскоре он послал Василька в Киев с каким-то поручением. С этого решения и следует начать трагический счет потерь родных и близких Шульгина.

Придет время, и Василий Витальевич напишет книгу «1920». Обычно предисловия к книгам пишутся по окончании всей работы. Но Шульгин поступит наоборот. Он выведет на листе заглавие «Вместо предисловия» и задумается. Русская революция питалась романтикой французской революции. Романтикой заманчивой и лживой. Была взята Бастилия, символ угнетения и королевского террора, а в ней оказалось менее десятка узников, далеко не заступников народных. Революционные законотворцы казнили слабого короля и принялись прилежно истреблять друг друга, руководствуясь далеко не чистыми побуждениями, оставив истории эффектные фразы. Жесточайшее насилие и коррупция, вседозволенность... до нравственной ли чистоты было творцам революции! И в конце концов 25 лет войны, пять миллионов убитых, чтобы прийти к восстановлению монархии... Впрочем, где-то он читал, что за 14 месяцев первоначального террора в Париже казнили едва больше тысячи человек, да Робеспьер за шесть недель, до 9 термидора, успел прикончить на сотню больше людей, что не идет ни в какое сравнение с недавними событиями в России. А эти события тоже романтизируют. И Шульгин напишет: «Из этой лжи вытечет какая-нибудь новая беда».

Убивали самых умных, обезглавливая нацию (закладывая тра-

диции, добавим мы, тоталитарных диктатур будущего), уничтожая ученых, писателей, артистов. Робеспьер ненавидел их больше всех. Когда гильотинировали гениального химика Лавуазье, была произнесена фраза:

— Революция не нуждается в ученых.

Шульгин и в 70-е годы часто говорил об этом. Ему было жаль жертв революции, но не ее детей, которых она пожирала, подобно Хроносу. Напомним, что Шульгин скончался на пороге 60-летия революции, а правдивой ее истории все не было написано.

Однако придет время, и наша трагедия предстанет перед человечеством во всем объеме «с журавлиной высоты». Так думал Шульгин. Но кто вспомнит, как любили, ненавидели и радовались русские люди? Будущие историки ничего не поймут без этого. Каждый из них заключит историю в свою собственную схему, станет толковать ее вкривь и вкось.

Нелегко даже теперь оставаться беспристрастным. Кто поймет «публичное раздевание» автора? И все-таки это надо сделать, записать «кусочки жизни», начать с двадцатого года, а потом пойти вглубь, к временам более отдаленным...

Шульгин не выполнил задуманного. Нет книг «1918», «1919», но в его бумагах есть наметки к книгам, которые могли бы быть написаны...

Шульгин приехал в деникинскую армию в августе, когда в ней было уже более десятка тысяч человек и ею был захвачен Екатеринодар.

Появилась территория, которой надо было управлять. Шульгин разработал «Положение об Особом совещании при Верховном руководителе Добровольческой армии», составил список Совещания, предложив председателем генерала Алексеева, а заместителями генералов Деникина, Драгомирова, Лукомского. Это было своеобразное «совещательное» правительство со своими министерствами — отделами. В сентябре Алексеев умер, и Верховным стал Деникин, поручивший своим людям подправить шульгинский проект в либеральную сторону.

Шульгин тотчас же стал издавать газету «Россия», воспевать монархические и националистические принципы, проповедовать чистоту «белой идеи», мечтал об ордене, патриотическом, рыцарском, святом и чистом. Шульгинские статьи использовало для пропаганды деникинское Осведомительное агентство (Осваг). Ему виделся такой орден в основанном им Южно-русском национальном центре, который уже хотел возвращения конституционной монархии (кандидат на престол — великий князь Николай Николаевич), и Думе, состоящей из одних националистов. Думские времена казались едва ли не райскими по сравнению с тем, что творилось на территории, занятой Добровольческой армией, с грызней между деятелями всех оттенков — от Милюкова до садистов из контрразведки.

Была у него и еще одна тема, связанная с его давней ненавистью к революционному террору.

Он считал еврейской провокацией покушение Каплан на Ленина и убийство Канегиссером Урицкого. Подозрительно быстро был объявлен красный террор (ликвидировались люди, не имевшие никакого отношения ни к Каплан, ни к Канегиссеру, ни к социа-

листам вообще) и создан Реввоенсовет Республики во главе с Львом Троцким-Бронштейном.

Это было в сентябре, а в октябре Шульгин выехал из Екатеринодара в Яссы на совещание представителей Антанты, но не доехал, свалился в «испанке».

А 1 декабря погиб Василек. Видимо, «по-ихнему», как выразился Бунин в «Окаянных днях», это произошло 13-го. На Киев наступали петлюровцы, и сын Шульгина, подобно героям булгаковской «Белой гвардии», записался в дружину из офицеров, студентов и гимназистов...

Полубольной член Особого совещания Шульгин оказался в Одессе и назначил ее военным губернатором тридцатилетнего генерала Гришина-Алмазова. Город покинули немцы. В нем схватились друг с другом петлюровцы и добровольцы. Начали свою интервенцию французы, полупризнавшие власть деникинцев. Белый командующий в «Очерках русской смуты» обидчиво писал, что генерал Гришин-Алмазов «правил почти независимо от Особого совещания, находясь под влиянием Шульгина».

Вокруг Шульгина сразу же образовалось плотное кольцо его сторонников — сотрудников «Киевлянина», членов «Азбуки», родных и близких, приехавших из Киева, среди которых были жена, сыновья Ляля и Димка, друг и племянник Филипп Могилевский, носивший прозвище Эфем, один из главных персонажей книги «1920».

В Одессе тогда собрались все, кто мог бежать от большевиков и петлюровцев, — монархисты, октябристы, кадеты, представители левых партий всех оттенков, авантюристы, спекулянты, писатели, актеры... Одесса лихорадочно «жила», торговала, грабила, собиралась на литературные вечера и даже снимала кино. Вера Холодная умерла здесь двадцати семи лет от «испанки». Увивался возле Бунина молодой и циничный Валентин Катаев. Еще (уже) были белогвардейцами Волошин и А. Толстой. Красочно, весьма красочно живописали потом Одессу той поры литераторы «южнорусской школы». Особенно бандита Мишку Япончика...

Французы вели переговоры с петлюровской Директорией, что особенно возмущало Шульгина. Французское командование закрыло его газету на восемь дней. В знак протеста Шульгин отказался возобновить издание. Выходила самостийная «Нови шляхы».

Французские войска все прибывали. Уже тут было полторы французских дивизии, две греческие бригады и одна польская. Да и деникинцев тысяч пять, в основном офицеров.

В феврале 1919 года Красная Армия разбила Петлюру, и атаман Григорьев перекинулся на ее сторону, повел наступление на Херсон и Одессу. Французы паниковали, пытались создавать «правительства» из различных партийных группировок. А 20 марта генерал Д'Ансельм объявил, что получен приказ Антанты об эвакуации Одессы. Он хотел разоружить деникинскую бригаду, но она ушла к Днестру, в Бессарабию. А Шульгин со свитой уехал к Деникину.

* * *

Что в Одессе было потом, блестяще рассказано Буниным в «Окаянных днях». С 21 марта, когда ему позвонил Катаев и со-

общил, что французы уходят. «Мертвый, пустой порт, мертвый, загаженный город... Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали, — всю эту мощь, сложность, богатство, счастье...»

Бунина с Шульгиным познакомит Петр Бернгардович Струве в Париже лишь в 1926 году.

— Бунин очень любит Шульгина, — любезно скажет Иван Алексеевич.

— Эта любовь пагубная. Шульгин сам себя терпеть не может, — не менее любезно откликнется Василий Витальевич.

— Не скромничайте. У вас перо экономное. В малом — много. Но, знаете, чего у вас слишком много?

— Любопытно?

— Многоточий. Этого не надо.

Не прошло и года, как в «Возрождении» начали печататься «Окаянные дни». А многоточий, когда Бунин пишет о смуте, и у него хватает.

Они сходятся с Шульгиным и в желчной оценке происходившего, в том, что «одна из самых отличительных черт революций — бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана. В человеке просыпается обезьяна». И льется кровь...

Миллионный город в руках красных, «каких-то «григорьевцев», кривоногих мальчишек во главе с кучкой каторжников и жуликов». Журналисты, вчерашние яростные белогвардейцы, воспевают революцию. Приходит Волошин и рассказывает, какая «кристальная душа» у его нового друга председателя ЧК Северного (Юзефовича), пишущего триолеты.

Бунин волнуется: жив ли брат Юлий? Он много и ядовито комментирует коммунистическую печать, которой одной предоставлена свобода слова. Выписывает: «Блок слышит Россию и революцию, как ветер...» И восклицает: «О, словоблуды! Реки крови, море слез, а им все нипочем».

И Бунин читает у историка Татищева: «Брат на брата, сынове против отцев, рабы на господ, друг другу ищут умертвить единого ради корыстолюбия, похоти и власти, ища брат брата достояния лишить, не вéдуще, яко премудрый глаголет: ища чужого, о своем в оный день возрыдает...» А Стенька Разин и Емелька Пугачев! Ленин и Троцкий, верно, изучили основательно эту сторону русского характера. А образованные все протестовали, до революции будничным трудом брезговали, белоручки — «критиковать-то гораздо легче, чем работать». И еще: «Весь огромный город чувствует себя завоеванным, и завоеванным как будто особым народом, который кажется гораздо более страшным, чем, я думаю, казались нашим предкам печенеги». Бунина зовут в Пролеткульт, но он не хочет обучать всякую «хряпу ямбам и хореям, дабы она могла воспевать, как ее сотоварищи грабят, бьют, насилуют с кобылами священников! Кстати, об одесской чрезвычайке. Там теперь новая манера пристреливать — над клозетной чашкой». В. Катаев говорит ему: «За 100 тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки...» Некий Фельдман произносит речь перед крестьянскими депутатами о том, что скоро в целом свете будет власть советов. Голос из толпы: «Сего не буде! Жидив не хвате!» И вместе с тем Бунина ужасает звериный антисемитизм.

Катаев так и не простит ему правды, а Эренбург, который в 1919 году придерживался белогвардейских взглядов, в 1935-м в «Правде» от 14 ноября станет неистовствовать: «Есть воздух, в котором дохнут птицы, вянут цветы. Это воздух зарубежных стран. По-прежнему кликушествует там Бунин, выпустивший книгу «Окаянные дни», полную ненависти к Советской стране...»

Бунин читает страшную речь, произнесенную Троцким в Киеве, о которой мы еще узнаем...

И еще: «Угнетатель рабочих Гришин-Алмазов застрелился... Троцкий в поездной газете сообщает, что наш миноносец захватил в Азовском море пароход, на котором известный черносотенец и душегуб Гришин-Алмазов вез Колчаку письмо Деникина». А Деникин уже взял Харьков, каковой вестью Бунин радостно делится с дворником Фомой...

* * *

Шульгин же в это время именно у Деникина. Он на грани нервного срыва. Генерал Абрам Михайлович Драгомиров зовет его с собой в Париж — вести переговоры с союзниками. Они вместе идут к Верховному. Шульгин вспоминал:

«У Деникина была серебристая, коротко стриженая голова и темная бородка. Говорят, это признак породы. Деникин был сын крестьянина, кажется, даже крепостного...

У Деникина была аристократическая душа. Она была чужда всякой мелкой зыби человеческой и в своих глубоких потоках питалась благородными чувствами. У него не было другой принадлежности «высшего класса», понимаемого в смысле правящей касты: у него не было настоящего «вкуса к власти».

Шульгин видел Деникина в последний раз и почувствовал его страшную усталость. А в Париж не поехал.

Он, как и старший (из оставшихся в живых) семнадцатилетний сын Ляля, пошел рядовым, но этот рядовой поддерживал дружеские отношения с генералом Врангелем в Царицыне. А в августе он уже выехал из Таганрога в Киев, везя написанный им и подписанный Деникиным «Манифест населению Малороссии», в котором Петлюра объявлялся ставленником немцев и провозглашались идеи «единой, неделимой...».

Утром 19 августа из поезда, сквозь мелькающий металл моста, Шульгин снова увидел Киев, из которого вчера выбили красных. Белый фарфор с золотом на бледно-голубом небе — это церкви и монастыри. Зеленые горы и густо-синий Днепр.

Он сошел с поезда. И увидел, что творилось...

«Печать смерти. Все то же, что мы уже видели везде, где прошел «конь Ленина». Мертвые дома, заколоченные лавки, ободранные деревья, испорченные мостовые, знойная унылая пыль, «мерзость запустенья» и люди как тени.

Словно все пережили тяжелую болезнь. Худые, черные!..»

Он еще верил, что «золотопогонное золото» даст новую жизнь городу.

Маленький особнячок Шульгиных на углу Караваевской и Кузнечной был цел. Все живы в нем. И сестра Лина. Прибежала и сказала, что почти вся «Азбука» жива, несмотря на расстрелы...

В дом сходились уцелевшие и рассказывали о последних, самых страшных днях. Во второй половине июля приезжал Троц-

кий. Сестра говорила, как ей захотелось увидеть этого человека и она достала пропуск в Народный дом.

В передаче Шульгина ее рассказ звучит так:

«Грозно заворчал подъехавший автомобиль, и через минуту в сопровождении свиты поднялся по ступенькам сутулящийся еврей...

Тип портного из маленького городка в черте оседлости. Невольно рисовался аршин под мышкой и кусок засаленного сантиметра, свесившегося из кармана. Да неужели это он толкнул братьев на кровавый бой с братьями, от лица России заключил позорный Брестский мир и перед ним склоняются — пусть «красные», но все же русские знамена?!

Громко и отчетливо заговорил он о вреде партизанщины, о необходимости создать регулярную армию, о Деникине — прискучившие фразы, примелькавшиеся уже в столбцах красных газет... Я уже собиралась уйти, как неожиданно новые интонации металлически зазвучали в его голосе и остановили меня. Троцкий заговорил о тыле, о необходимости борьбы с теми, кто «против нас». С каждой фразой крепчал голос и дошел до крика, временами хрипло-гортанного. Бешено жестикулировали угрожающие руки, как чудовищные птицы, заметались по залу призывы ненависти, и бились они в закрытые окна, за которыми в розовых лучах кротко умирал день. Неузнаваемо изменилось лицо: хищно выдвинулась нижняя челюсть, горевшие глаза как-то вышли из орбит, точно повисли в воздухе. Не портной из маленького городка черты оседлости — перед толпой стоял фанатик-изувер, носитель веками накопившейся мести и ненависти, призванный осуществить двухтысячелетнюю мечту...

— Чиновники, лакеи старого режима, судейские, издевавшиеся в судах, педагоги, развращавшие в своих школах, политики и их сынки-студенты, офицеры, крестьяне-кулаки и сочувствующие рабочие — все должны быть зажаты в кровавую рукавицу, все пригнуты к земле. Кого можно — уничтожить, а остальных прижать так, чтобы они мечтали о смерти, чтобы жизнь была хуже смерти...

Не речь — это были дикие конвульсии ненависти, и если бы он упал сейчас мертвым, я бы не удивилась».

В этом рассказе, воссозданном пылким воображением Шульгина, все преувеличено, все доведено до крайности ответной ненавистью, кроме... слов Троцкого. И он запомнит их навсегда. И будет повторять. Не забудет их и Бунин.

Лина рассказывала, что сидевшие впереди евреи аплодировали, а русские молчали. И будто бы пожилой рабочий сказал:

— Царь иудейский!

И пошел вон из зала.

ЧК расстреляла бывших членов царского суда. Шульгин вспомнил «дело Бейлиса». Он тоже был против суда. Он тогда писал, что нельзя в русско-еврейской борьбе перенимать еврейские приемы. Когда-то евреи обвиняли первохристиан в том, что они пьют человеческую кровь и едят человеческое мясо. И доносили об этом римлянам. Речь шла о причастии — о хлебе и вине — «о теле Христовом и крови». Теперь христиане обвиняли евреев. Суд оправдал Бейлиса за недостатком улик. Одиннадцать из двенадцати присяжных сказали: «Но этот еврей невиновен».

И все же Троцкий велел убить судей...

А дом Шульгина уцелел, потому что евреям показалось, что он вступился за еврея. Он же хотел, чтобы русский суд был беспристрастен.

Когда-то Шульгин создал в Киеве «Клуб русских националистов», в 1917 году превратившийся в «Блок русских избирателей», основную его политическую опору. Шульгин узнал, что ЧК раздобыла печатный список членов клуба 1911 года и расстреляла всех, кто еще не умер и не бежал. Пожилых профессоров и купцов. Он считал это намеренным уничтожением русской интеллигенции евреями, потому что в ЧК их было 75 процентов.

Никогда в жизни он не будет больше составлять списков.

Председатель Особого совещания, друг Шульгина, генерал А. М. Драгомиров был назначен главноначальствующим Киевской областью. И уже 21 августа 1919 года Шульгин возобновил издание «Киевлянина», печатавшего синодик расстрелянных киевской ЧК, которую возглавлял Блувштейн (он же Сорин, участвовавший в расстреле царской семьи, что создавало ему особый «революционный ореол»).

Но Киев все равно был в кольце. С одной стороны засели большевики, с другой — петлюровцы. В город не пропускали крестьян с продовольствием.

Однако постепенно «Деникия» расширялась, и установились рыночные отношения, открылась масса магазинов, лавок, ресторанов... Урожай в тот год был сильный, и его собирали уже без продовольственной диктатуры большевиков.

Офицеры в Киеве жили впроголодь, в то время как уже горели огни театров, ресторанов, кинематографов. И честных офицеров становилось все меньше, а грабителей все больше.

Все чаще ходили слухи, что евреи напрямую связаны с большевиками, что они стреляют из окон. Вернувшиеся и потерявшие родных офицеры стали убивать в Киеве евреев. Все было пропитано ненавистью.

Командование Добровольческой армии запретило погромную агитацию. Но у генерала Драгомирова не было в запасе верного конвоя, который бы беспрекословно выполнял приказания и не подвергался постороннему психическому влиянию.

«Вот почему владыки всех времен, — писал Шульгин, — любили окружать себя дружинами из иностранных телохранителей. Как известно, этому же рецепту последовали большевики, взявшие на службу латышей и китайцев».

«Киевлянин» сразу выступил против самосуда толпы из офицеров и местных жителей, которые собирались у зданий чрезвычайки (Елисаветинская, дом № 3; Институтская, дом № 40) и смотрели на цементные полы с желобами для стока человеческой крови, на изделия из содранной с живых людей кожи. Находили обезображенные трупы родных.

В архиве Шульгина сохранились многочисленные показания жертв красного террора. Здесь есть записки его второй жены Марии Дмитриевны, у которой арестовали и убили отца. Допрашивали его Петерс, Лацис и некая Роза...

Всеукраинская ЧК находилась в доме Бродского на Левашовской улице. Председатель ее Лацис, как свидетельствовали уцелевшие, допрашивал арестованных в кабинете с портретами Кар-

ла Маркса и Льва Троцкого. На столе обычно стояли бутылки с шампанским и банка с кокаином, рядом лежала лопаточка слоновой кости для нюхания. Говорят, что тем же наркотиком поддерживал свои силы и Дзержинский, отчего и умер.

Арестованных держали в мокром подвале с крысами и в гараже. Их было так много, что они стояли, стиснутые друг другом. На допросах из-за спины Лациса сторожевыми псами смотрели два громадных китайца с маузерами в деревянных кобурах. Лацис вертел в руках карандаш, красный с одного конца, с другого — синий. Красным он писал: «В расход». Бил стеком по лицу священников, выбивал рукояткой нагана зубы актерам, писателям... Если пытаемый кричал: «Ироды! Кровопийцы! Разбойники! Креста на вас нет! Жидовские морды!», ему разбивали голову молотом. Приговоры приводили в исполнение Боровик, Японец, Соловьев, Харитонов, Иванов, Вальцман и две женщины-садистки — Роза и Зина, обвешанные бриллиантами.

В Лавре расстреляли митрополита Владимира.

Еврейская печать — «Киевская жизнь», «Киевское эхо» — отрицала связь евреев с большевиками.

Начали мстительный «тихий» погром разложившиеся офицеры.

Ночью насильники входили в еврейские квартиры, издевались... А евреи применяли против этого свой прием. Они начинали кричать, кричали всей улицей...

7 октября Шульгин сидел в тиши своего кабинета и услышал страшный вопль. Тогда он и написал статью «Пытка страхом», напечатанную на другой день в «Киевлянине». Вспомнил Пихно, предупреждавшего, что революция пройдет по еврейским трупам. Русские не кричали, когда родных уводили в ЧК на пытки и расстрел. И все же Шульгин назвал еврейские погромы «средневековой жутью». Он призывал власти бороться с насилием, а евреев — покаяться в своей роковой поддержке большевиков и создавать не «Лиги по борьбе с антисемитизмом», а «Еврейскую лигу по борьбе с социализмом».

Статью перепечатали во многих газетах и в России, и за границей.

Потом один эмигрант сказал:

— Эта статья является лучшей услугой, которую можно было сослужить большевикам.

Появился ответ Ильи Эренбурга в «Киевской жизни»:

«О ЧЕМ ДУМАЕТ ЖИД

В. В. Шульгин рассказывает, о чем думает он в эти жуткие темные ночи, когда доносится до него вой и плач «пытаемых страхом жидов». Я тоже слышал эти стоны и слезы и потому не могу ни оспорить, ни доказывать азбучной истины. В. В. Шульгин интересуется, о чем думают в эти ночи евреи и чему учат их треск винтовок и грохот разбиваемых дверей. Надо ли еще раз говорить о том, что евреи, как и все люди, друг на друга не похожи и думают они по-разному. Верно, евреи-большевики радуются происходящему, ибо видят в этом поношение враждебной им идеи. Под замирающий грохот орудий они все же продолжают мечтать о своем «третьем интернационале». А сионистам грезятся не менее отдаленные песни белой привснившейся Палестины. Есть и такие, что не помышляют ни о Сионе, ни об интернационале, а только о шапке-невидимке, которая спасла бы их от шального взгляда разгневанного прохожего. Я хочу рассказать о том, что пережил и передумал я в эти дни и вместе со мною все евреи, для которых Россия — родина, которые не уедут ни в Циммервальд, ни в Яффу, ибо дано человеку любить равной любовью родную землю и в годы тучных нив, и в годы голода и смерти.

В прошлый четверг пошел я из Дарницы в Киев, шел, радуясь русской победе и залитому солнцем крутогорбому Киеву.

(Цензурой выброшено 12 строк) *.

Я пережил великую пытку, В. В. Шульгин, пытку страхом за беззащитных и обреченных. Никогда на фронте не испытывал я подобного, ибо там, рядом со мною, в окопах, были взрослые мужчины, а не грудные младенцы... Я не протестую, не уговариваю. Просто и искренне говорю — думал я в эти ночи о России.

Кто любит мать свою за то, что она умна и богата, добра и образованна! Любят не «за то», а «несмотря на то», любят потому, что она мать. Помню, как спорил я с Бальмонтом, когда написал он в 1917 году прекрасное стихотворение «В это лето я Россию разлюбил». Я говорил ему о том, что можно молиться и плакать, но разлюбить нельзя. Нельзя отречься от озверевшего народа, который убивает офицеров, грабит усадьбы и предает свою отчизну. В годы большевизма мне часто приходилось слышать такие понятные и вместе с тем невозможные суждения: «Ах, Россия, дикая, отвратительная страна... Хоть бы прислали сюда негров, что ли. Если бы перейти хоть в бразильское подданство...»

Я видел тысячи Петров, отрекшихся от своей родины. Я познал, что многие любили Россию, как уютную квартиру, и прокляли ее, как только громилы выкинули из нее мягкие кресла. Может быть, и все муки приняла наша земля оттого, что любили ее не жертвенно, но благодарственно за сдобные булки и хорошие места. Я благословляю Россию, порой жестокую и темную, нищую и неприютную. Благословляю некормящие груди и плетку в руке. Ибо люблю ее и верю в ее грядущее восхождение, в ее высокую миссию...

Есть оскорбления труднозабываемые, и мне тягостно вспоминать рыжий сапог, бивший меня по лицу. В первый раз это был сапог городового, изловившего меня «за революцию», во второй раз красноармеец избил меня «за контрреволюцию». Это был сапог того, кто мнится мне Мессией. Я не потерял веры, я не разлюбил. Я только понял, что любовь тяжела и мучительна, что надо научиться любить.

В эти ночи я, затравленный «жид», пережил все то, о чем говорит В. Шульгин. Только «пытка страхом» была шире и страшнее, чем он думает. Не только страх за тех, кого громили, но и за тех, кто громил. Не только за часть — за евреев, но за целое — за Россию. Я верю и знаю, она воскреснет, она просыпается. Этот маленький трехцветный флажок перед моими окнами говорит о том, что вновь откроется для жаждущих источник русской

* Так в газете.

культуры, питавший все племена нашей родины. Ведь не нагайкой же держалась Россия от Риги до Карса, от Кишинева до Иркутска. Из этого ключа пили и евреи, без него томились от смертной жажды. В эти ночи я радовался взятию Киева и Орла, и я томился страхом, ибо там, где есть столько ненависти и мести, еще нет полного исцеления. Меня пытали страхом не только за еврейских детей, но и за великорусское дело.

«Научились ли евреи чему-нибудь за эти ночи?» — спрашивает В. Шульгин. Да, еще сильнее, еще мучительнее научился я любить Россию. О, какая это трудная и прекрасная наука. Любить, любить во что бы то ни стало. И теперь я хочу обратиться к тем евреям, у которых, как и у меня, нет другой родины, кроме России, которые все хорошее и плохое получили от нее, с призывом пронести сквозь эти ночи светильники любви. Чем труднее любовь, тем выше она, и чем сильнее будем все мы любить нашу Россию, тем скорее, омытое кровью и слезами, блеснет под рубищем ее святое, любовь источающее сердце.

И. Эренбург».

Если в этой своей статье Эренбург искренен, от русских спасибо ему! Но мы помним, что сперва он был красным, потом белым, потом опять красным. И писал уже другое:

Мы часто плачем, слишком часто стонем,
Но наш народ, огонь прошедший, чист.
Недаром слово жид всегда синоним
С великим, гордым словом Коммунист.

Что это — риторика? Меня всегда удивляло влияние Эренбурга в мировом масштабе, его свободное пересечение всех и всяческих границ во времена, весьма тому не способствовавшие. И великое почтение к нему Сталина, не почитавшего никого, кроме Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина.

Шульгин ответил сухим заявлением в «Киевлянине»:

«К чести киевской администрации следует отметить, что, лишь только начались антисемитские эксцессы, она немедленно приняла меры к предупреждению погрома и к охране жизни и имущества населения».

Драгомиров все-таки расстреливал погромщиков. По настоянию Шульгина. Ибо насилие развращало, губило «белое дело».

«Красные были неизмеримо жесточе, чем Белые...»

Но...

Но жестокость Красных была проявлением Власти, тогда как жестокость Белых была следствием Безвластия.

«И это было грустно.. для нас...»

2 ноября Добровольческая армия отпраздновала свое двухлетие.

По этому поводу написано было много статей.

Уже взят Орел. Впереди «цветной корпус», полки Корниловский, Марковский, Дроздовский. Алексеевцы одеты не в союзническое хаки, а каждый на свой лад.

Марковцы считались *тонными*. «Тоняги» — во всем черном и с белыми погонами. В бою не ложились. Шли во весь рост, и это устрашало.

За Орлом они наткнулись на специальные, хорошо дисциплинированные и подготовленные бывшими офицерами красные полки и отошли. Отягощали громадные обозы.

Интеллигентский запас кончился, и начался вселенский драп.

Вскоре от вооруженных сил Юга России останется лишь Добровольческий корпус Кутепова в десять тысяч штыков и сабель. Врангель, высланный Деникиным, будет попивать турецкий кофе в Константинополе. Но и сам Деникин с бывшим начальником штаба генералом Романовским тайком покинул Феодосию, не случайно боясь своих же офицеров-монархистов, ибо Романовского все равно убьет один из них в русском консульстве в Константинополе. А Деникин проследует дальше, в Лондон, в своем непромокаемом плаще и дорожном кепи... Тайком-то тайком, но багаж с ним был основательный, и там — богатейший архив, включавший все письма Шульгина, что позволило основательному генералу тотчас засесть за многотомные «Очерки русской смуты»... Особое совещание было упразднено 16 декабря 1919 года.

Недооценивал Шульгин противника!

Да и «Азбука» расползлась. Шульгин вспомнил из Иловайского: «Словяне были склонны к раздорам между собою».

Люди из «Азбуки» имели агентуру всюду. Даже в ЧК у красных служила в канцелярии «азбучница» двадцати лет.

У «Азбуки» с белой контрразведкой были контры. Шульгин негодовал на излишнюю жестокость контрразведки, на взяточничество. Дали, например, убежать чекистской садистке Розе — та откупилась награбленным.

Самого Шульгина чуть не помела контрразведка, желая поглубже сунуть нос в дела «Азбуки». Взяли «Юс». Тогда «Веди» послал ему на выручку «Фиту», генштабиста, который устроил в гостинице «Эрмитаж», где была контрразведка, тарарам.

8 ноября Шульгин отправил из Киева два вагона с родными, друзьями, наиболее ценными архивами, прицепив вагоны к поезду адмирала Кононова. Поезд достиг Одессы только на одиннадцатые сутки. В пути жену Екатерину Григорьевну и брата Павла Дмитриевича свалил тиф. Павел, подававший большие надежды скрипач, скончался в Раздельной, а Екатерину Григорьевну положили в Одессе в больницу. Младший сын, Димка, остался один на улице...

Вскоре в Киеве началась паника, люди уходили по полотну железной дороги. Напрасно взывал Шульгин к киевлянам: «Когда большевикам надо было защищать их «красный Петроград», они быстро собрали несколько тысяч коммунистов. Ныне Киев — матерь городов русских — в опасности. Докажите, что в вашей груди бьется мужественное сердце, что вы умеете защищать свои семьи, свое достояние и не хотите быть рабами Троцкого...»

С 29 ноября обороной командовал генерал барон Штакельберг. Было условлено, что один из его штабных офицеров — член «Азбуки» — позвонит и скажет:

— Пора одеваться.

Вот тогда и надо уходить.

В последний вечер, 3 декабря, Шульгин сидел со своим помощником по «Киевлянину» Владимиром Германовичем Иозефи и несколькими офицерами-«азбучниками». Считали деньги. Тираж «Киевлянина» в последние дни доходил до 70 тысяч. Такого не

было никогда. Каждый экземпляр газеты стоил четыре рубля. Проверяли оружие.

Шульгин надел две пары белья, собрал самое необходимое. И под утро раздался звонок:

— Пора одеваться.

На вокзал он пошел с Лялей и десятком офицеров. Там было столпотворение. Дальше шульгинцы двинулись по шпалам, и только к ночи их пустили в какой-то вагон. Чуть ли не персидского консула. Вагон был битком набит ранеными и тифозными.

На станции Мотовиловка Шульгин со своими присоединились к Якутскому полку и совершили с ним громадные переходы по морозу. Большевики были, как выразился Василий Витальевич, настроены «весьма энтузиастически», трепали полк. У белых этот «невольный, но общий энтузиазм вызывал галлюцинации наяву о горячей ванне, свежей газете, кофе с булочками и Верочке Холодной».

Это перекликается с горькими мыслями о белых, которыми Шульгин делился уже в книге «1920». В Якутском полку к нему и его спутникам относились едва ли не враждебно и за глаза насмешливо называли «джентльменами». Тем более что у них были деньги — торбы, набитые «керенками», заработанными на выпуске «Киевлянина». Но они шли по этому морозу триста верст, а офицеры полка — тысячи. Некоторые воевали непрерывно с 1914 года.

«Поход, бой, вши... Бой, вши, поход... Вши, поход, бой...»

«Мы ненавидели всех. Мы ненавидели крестьянина за то, что у него теплая хата, сытный, хоть и простой, стол, кусок земли и семья его тут же, около него в хате...

— Ишь, сволочь, бандиты — как живут!

Мы ненавидели горожан за то, что они пьют кофе, читают газеты, ходят в кинематограф, веселятся...

— Буржуи проклятые! За нашими спинами кофе жрут!»

Последнее лично к Шульгину не относилось, но объясняло поведение многих.

Еще в октябре 1918 года генерал Драгомиров говорил ему: «Мне иногда кажется, что нужно расстрелять половину армии, чтобы спасти остальную...»

Ход рассуждений Шульгина таков: положим, красные — грабители, насильники, убийцы, отвергшие мораль и заповеди Господни, презирающие русский народ, озверелые горожане, грабящие деревню...

Значит, белые — рыцари, не грабят, строги, но не жестоки, имеют Бога в сердце, порядочны, честны, добры к крестьянам...

А что на деле?

Юнкер из «хорошей семьи» не стесняется говорить, что новенький полушубок он получил «от благодарного населения». Ограбил мужика, а все гвардейские офицеры и барышни, воспитывавшиеся в Смольном, одобрительно смеются. Чем это отличается от «грабь награбленное»?

Шульгин не аристократ, но он любит все высокое, красивое и сильное русское. Аристократию и демократию, когда они талантливы и прекрасны. И не терпит их, когда они узкоклассовы и жестоки.

Он любит родину со всем, что в ней есть. «Ибо все нужны. Как нужны корни, ствол, листья... и цветы...»

Грабя, белые губят «белое дело».

Дальше — хуже.

Шульгин уже сделал вывод: «Белое дело» погибло.

Начатое «почти святыми», оно попало в руки «почти бандитов». Ему хотелось объединить тех, кто сохранил честь.

Шульгин думал, что у Казатина фронт остановится, но под Фастовом полку был дан приказ отступать дальше. Вечером Шульгин высказал своим молодым друзьям «крымскую теорию» — о том, чтобы отсидеться в Крыму подобно ханам, пребывавшим там столетия.

Только на пятисотой версте отступления им с Лялей удалось сесть на паровоз и в конце декабря прибыть в Одессу.

— Круг замкнулся, — сказал Шульгин.

Одесса бурлила. Офицеры бродили толпами. Их заставляли регистрироваться.

«Опять списки, — думал Шульгин. — Для облегчения работы большевиков, когда займут город, по отысканию офицеров? Ангел смерти реет над Одессой-мамой...»

Дисциплина упала. Офицеры убили начальника контрразведки полковника Кирпичникова. Шульгин знал виновников, но не выдал, хотя в свое время в Думе протестовал против эсеровского самосуда.

В кафе Робина за чашкой кофе сплетничали о вражде штабов. «Азбучники» докладывали «Веди» о том, что высшее начальство уже отправило семьи в Болгарию, что процветает взяточничество.

Одесса, Новороссийск, Крым — вот три кусочка русской земли, где еще можно зацепиться белому движению.

Самые разные люди формируют отряды. Даже митрополит Платон. Шульгин бывал у него, поскольку верил: государства валятся, троны рушатся, а церковь устоит. Следовательно, устоит и русский язык. А там возродится двуглавый орел, одной головой устремленный в великое прошлое, а другой станет искать путей «к Великому (верю, Господи, помоги моему неверью) Будущему...»

Шульгин создал и свой «отряд особого назначения» и, будучи поручиком, командовал полковниками. Красные близко, и Шульгин уже подписывал разрешения занимать места на английских и французских пароходах.

* * *

25 января власть перешла к петлюровскому генералу Сокиро-Яхонтову. А Бунин, все еще живший в Одессе, провожал знакомых, которые уплывали за границу. Однако сам колебался, покидать ли родину. У него была уже сербская виза, но он не ехал ни в Сербию, ни в Константинополь, хотя оттуда можно было перебраться в Париж, делился сомнениями с Верой Николаевной, боясь холодной и голодной жизни, высокомерного отношения аборигенов к русским. Наконец решился, говорил жена о своих дворянских предках, служивших России с XV столетия. Да и сам он: «Служил ей честно и правдиво, сколько Бог разуму отпустил — все отдавал нашему народу. Так за что же меня

так! Провались в тартарары все эти Троцкие и Зиновьевы, растоптавшие мою землю!»

6 февраля Бунин оказался на борту французского парохода «Спарта» в крохотной каюте, которую делил с женой, академиком Н. Н. Кондаковым и его секретаршей. Пароход мотало на рейде против порта, когда в улицы Одессы ворвались конники бригады Котовского. Еще два дня «Спарта» выжидала благоприятной погоды, не дождалась и взяла курс на Константинополь, через бурное Черное море. Пароход был набит так, что в уборную приходилось добираться буквально по телам. «Впереди темнота и жуть. Позади — ужас и безнадежность...» — записала в дневник Вера Николаевна.

* * *

Дальнейшие приключения В. В. Шульгина и его семьи подробно описаны в его знаменитой книге «1920». И как шли они по льду Днестра, обстреливаемые с одного берега красными, а с другого — румынами, отхватившими под шумок гражданской войны Бессарабию. И как скрывались в подполье, в Одессе. Как переболели всеми видами тифа. Как попадали в Чека и гибли там родственники Шульгина. Сам он ушел в Крым, к Врангелю...

В этом очерке нет места для расшифровки некоторых событий в книге «1920», многих имен, обозначенных лишь буквами, потому что книга писалась по горячим следам и Шульгину не хотелось подставлять под удар Чека людей, еще сохранивших жизнь и относительную свободу. Но о том, как зародилась книга, все же расскажу.

Шульгин решил выручить своего племянника Филиппа Могилевского, схваченного одесской Чека. В книге он назван Эфемом. Шульгин с друзьями-офицерами на двух шаландах отплыли из Крыма в Одессу, но буря помешала выполнить задуманное и выбросила суденышко на румынский берег.

Румыны задержали Шульгина, приняв его за чекиста. Целых два месяца он доказывал, что это не так. А тем временем гражданская война в России шла к своему финалу.

С 31 октября по 3 ноября 1920 года большая часть врангелевской армии и не меньшее число штатских лиц — всего 136 тысяч человек — погрузились на 126 морских судов, от крейсера «Корнилов» до яхт, и отплыли из Крыма в Константинополь, где стали на рейде под дулами орудий английских дредноутов. На французском крейсере «Вальдек Руссо» собирается совещание французского командования, на которое приглашают Врангеля. Решено: Первый корпус (25 тысяч человек) под началом генерала Кутепова отправить на полуостров Галлиполи, кубанских казаков (15 тысяч человек) — на остров Лемнос, донцов (15 тысяч человек) — в Четалджи, штатским (среди которых 20 тысяч женщин и 7 тысяч детей) разрешить высадиться в Константинополе.

Но еще десять дней все они пребывали на пароходах и не получали горячей пищи. Еще неделя — и всем хватило бы места на стамбульском Скутарийском кладбище. Осень оказалась неожиданно холодной. Пароход «Рион» шел по морю семь дней. На борту его было шесть тысяч человек и военный груз. На буксире он тащил потерявший ход миноносец. Пассажиры сидели

друг на друге, мерзли. Все старались добыть кипятку и согреть озябшие руки и ноги. Пела, смеялась и смотрела широко раскрытыми глазами молодая миловидная женщина. Мужа ее расстреляли в ЧК, она там же сошла с ума, и ее отпустили, потому что на руках ее был младенец, но он тоже умер...

Шульгин в это время ехал тоже в Константинополь через Болгарию, где его старый знакомый П. Б. Струве подал ему идею написать книгу «1920». Недавно в Пражском архиве я нашел такие строки Шульгина:

«В начале декабря (ст. ст.) 1920 года, проездом через Софию, я зашел в «Русско-болгарское книгоиздательство», где мне предложили написать книжку о еще свежих тогда событиях. Я согласился, но вслед за этим выехал в Константинополь, не приступая к работе. В Константинополе я пробыл ровно столько времени, сколько понадобилось, чтобы получить разрешение отправиться в Галлиполи. В Галлиполи я прибыл 24 декабря 1920 года.

Во время моего пребывания в Галлиполи ротмистр Чихачев, которого я давно знал, просил меня написать что-нибудь для рукописного журнала, издававшегося в лагере. Я очень задумался, что бы написать, и задумался настолько, что ушел в горы, благо было довольно тепло. И вот, усевшись на камень и имея перед глазами палаточный галлиполийский лагерь, я написал нечто, чему дал заглавие «Белые мысли». Эта вещь появилась сначала в рукописном журнале «Развей горе в Голом поле», а затем в первой книжке возродившейся «Русской мысли».

Что же увидел, узнал, перечувствовал Шульгин за время своего короткого пребывания в Турции?

Когда Шульгин приехал в Константинополь, громадный город на Босфоре уже вобрал в себя русских. На Пере, которую окрестили Перской улицей, торговали безделушками пожилые люди при всех орденах. Русские девушки торговали своим телом в Галате, где кутили английские матросы. Французы забрали привезенные хозяйственные грузы и продовольствие, но грозились не кормить, если не будет полного подчинения. Чернокожие солдаты разгоняли палками недовольных. Итальянцы захватили все серебро, которое вывез ростовский банк. Султан был пленником иностранцев. Кемаль-паша не признавал султана в своей Анкаре, куда бежали некоторые русские офицеры, завербовавшиеся в иностранные легионы. Турки относились к русским неплохо. Можно было видеть, как пожилой мусульманин подходил к озябшему иноверцу, совал ему в руку пять лир и быстро отходил, чтобы не вернули деньги. Потом и турок стали подстрекать против «гяуров».

Основная масса военных сосредоточилась на Галлиполи, сдерживаемая военно-полевыми судами твердокаменного Кутепова. Уцелевшие корниловцы, алексеевцы, марковцы были люди отпетые. Когда французы предложат расформировать корпус и прекратят выдачу продовольствия, многие из них решат пробиваться на север и даже захватить Константинополь. Но пока они устраивались, как могли, на Голом поле — Галлиполи. Сам Врангель со своим штабом располагался на яхте «Лукулл», стоявшей на якоре против Константинополя.

В главе «Константинополь (Из дневника 18/31 декабря)» книги «1920» Шульгин пишет, как он стоит вечером на мосту через Золотой Рог, который напоминает ему Николаевский мост через

Неву в Петрограде, наблюдает струящуюся толпу людей и «симфонию огней», размышляет об извечной борьбе между Россией и Турцией, оказавшимися в одинаково разоренном положении. Белые хранили верность Антанте. А здесь воочию убедились в презрительном отношении «держав-победительниц» и к русским, и к туркам. Горе побежденным! Горе слабым!

Сохранились наброски Шульгина к книге «1921». В них он подробно говорил о тех, кто, оказавшись за рубежом, ходил по улицам, искал пропавших жен, мужей, детей, друзей, однополчан, искал, у кого бы занять денег, искал пропитания, пристанища...

Бунин с женой, например, оказавшись в Константинополе еще в феврале 1920 года, чувствовали себя «в некотором роде тоже ощипавными павлинами». Они поторопились уехать в Софию от презрительной власти союзников, хотя и душевно отдыхали от пережитого за три года. Там их обокрали. В Белграде они жили в вагоне, стоявшем на запасных путях, пока доброхоты не помогли добраться до Парижа.

Шульгин отмечал, что за границей мужские русские лица — «расхлябанные». У западных европейцев мускулы лица подтянуты от постоянного напряжения воли. Ныне, после нескольких лет перестройки, по той же причине иностранца сразу отличаешь в толпе русских и здесь.

Шульгин жил в холодных мансардах, поднимаясь туда по трясущимся винтовым лестницам. Спал в кухне на полу у самой плиты, просыпаясь, когда хозяйка проходила к единственному крану. Брил голову наголо из гигиенических соображений. Не мог себе позволить пообедать в кафе для офицеров-таксистов. Покупал стакан чаю и кусок хлеба за пять пиастров у мрачного полковника и читал в русской газете фельетон Аверченко и статью Куприна, называвшего русских рабами Ленина. «Играли с революцией и доигрались... Сто лет проповедовали «свободу, равенство и братство» и не заметили, кто носит этот плакат по миру на высоких щитах, высотой с Эйфелеву башню. А если бы обратили внимание, то увидели бы, что под плакатом ходит Некто в черно-красном и что у него — хвост и козлиные копыта. И что этими копытами ходит он по гуще — месиву из грязи, крови и золота... Кто соблазнится, кто побежит за плакатами по месиву, тот в этой гуще из грязи, крови и золота увязнет... Вот Россия и увязла...»

И сам писал:

«Господи, неужели все было даром?..

Я загубил двоих, Н. Н. — троих сыновей.

И все мы так... и валяемся по чердакам, с окровавленным сердцем...

Ужели все даром и Россию так и не вырвать у Смерти?..

* * *

Ведь мы знали. Мы потому и боролись, что знали... Мы знали: Ее ведут на заклание... На заклание ужасному Богу, который страшней Молоха...

Мы знали, что он убьет Ее, потому что социализм не может не убить, — ибо он — Смерть. Красная смерть XX века, ужасная психическая болезнь, моровое поветрие, посланное, должно быть, за грехи наши...

Мы знали, что он задушит Ее... Задушит голодом. Мы спешили на помощь, мы рвались в эту Москву, мы устлали путь своими телами, ибо знали, что время не ждет, что двенадцать часов бьет...

Мы не смогли... Ах, мы были слишком грешны, должно быть, чтобы выполнить слишком святую задачу...

* * *

Или, быть может, те люди, которых мы хотели спасти, они — слишком грешны...

* * *

Но послужит ли этот страшный пример — другим?.. Всем народам, столпившимся на берегах Босфора?..

Спешите, франко-американо-германо-бритты!.. Спешите, созидатели мира!.. Спешите, — смерть около вас!

* * *

Издревле были народы без территории. Таков был всегда гонимый еврейский народ, за грехи рассеянный Богом по всем странам мира. Теперь мы поменялись с евреями ролями. Мы — как евреи, т. е. скитаемся по всем Европам и Америкам, а евреи — в Московском Кремле... Правда, православие при этом несколько в загоне, но зато «самодержавие» в полном расцвете... Что же касается русской народности, то она раздвоилась...

Русских во всех «заграницах» имеется два миллиона. Это — целый народ».

Он еще надеялся, что когда Ленин и Троцкий доведут Россию до ручки, будут призваны варяги из белых. Впрочем, под белыми он подразумевал далеко не всех, не принимавших нового строя. У него была своя мерка, очень похожая на современный тезис о приоритете общечеловеческих ценностей над классовыми.

Но это уже из неосуществленной книги «1921», а кочуя по мансардам, Шульгин торопился закончить «1920», потому что ему нужны были деньги для экспедиции в Крым — выручать сына Лялю и арестованного крымской Чека брата Дмитрия. Очерк «1920» появился впервые в журнале «Русская мысль», издававшемся П. В. Струве в Софии, в мае—июне 1921 года, а печатание его закончилось в октябре — декабре. В мае — июне следующего года там же печатались первые главы книги «Дни». Именно эти книги прославили Шульгина как литератора.

«1920» писалась в тяжелейших скитаниях, в постоянной тревоге за судьбу родных, в перерывах между заседаниями «Русского совета», куда его зачислил Врангель, разведка которого доносила, что после вторжения в Крым красных только там погибло от голода до ста тысяч человек. Появилась «тройка» — Бела Кун, Землячка (Залкинд) и Пятаков, — расправившаяся с оставшимися офицерами и их родственниками с невероятной жестокостью. Им предложили зарегистрироваться, обещав использовать их военный опыт в борьбе с поляками и на службе в

Красной Армии, а потом по спискам было уничтожено более 50 тысяч человек. Очень многим, живым еще, привязывали камни к ногам, бросали в море, и они стояли под водой мертвым лесом, покачиваемые течениями.

Шульгин болел, страшно похудел, но продолжал писать, общался с десятками людей ежедневно, вел громадную переписку со столпами эмиграции, а в июне выехал в Софию, получил гонорар в «Русской мысли» — 25 тысяч левов (300 долларов) и на эти деньги купил шхуну. С десятком приверженцев он совершил плавание к Крыму, высадил племянника Владимира Лазаревского, который должен был узнать о судьбе пропавшего сына Шульгина — Ляли и разыскать его жену Екатерину Григорьевну, и сам высаживался, искал брата Дмитрия, попал в засаду, еле ушел в Варну, потеряв пятерых. Тут он узнал, что брат расстрелян большевиками, и сказал:

— За брата расстреляли! Ленин и Керенский были в одной гимназии в Симбирске. Отец Керенского был директором... Старшего брата Ленина, студента, повесили за покушение на императора. А младший, Владимир, этот самый, кончал гимназию и должен был получить золотую медаль... Керенский-отец был смущен. можно ли дать медаль брату повешенного за покушение на царя... Телеграфировал об этом министру в Петербург. Царский министр ответил: «Брат не может отвечать за брата. Мы не в средних веках. Медаль — дать». Но. очевидно, нам не нравилось, что у нас не средние века... Мы сто лет делали революцию... Теперь добились... царит средневековье. Теперь семьи вырезываются до пня... И брат отвечает за брата...

В истории с медалью Шульгин не совсем точен. Не совсем точен был он и в отношении своего брата. Тот скончался от разрыва сердца, когда его вели в горы — на расстрел.

Бунин скончался в Париже в 1953 году, заслужив мировую славу, Нобелевскую премию, но так и не стяжав средств для пристойного существования. Он тосковал по родине, и его любовь к ней выражалась в пронзительно точных, подчиняющих своему влиянию целые поколения наших писателей, совершенных по своей стилистике и языку повестях, рассказах, воспоминаниях, в которых он так и не примирился с большевистской диктатурой.

Личная судьба Шульгина гораздо богаче событиями. Он не дожил двух лет до ста, входил в тот или иной контакт с верховными правителями нашего государства, за исключением Александра II, потому что тогда был очень мал, и Брежнева, потому что тот был совершенно невежествен и, кроме собственного благополучия, не интересовался ничем.

Он был выдающейся личностью, исполненной силы и обаяния, о чем я могу свидетельствовать, хотя общался и переписывался с ним, когда он находился уже в очень и очень преклонном возрасте. Прирожденный журналист, он усиленно развивал в себе и писательскую жилку, отчего его книги не только не утратили своего значения в наши дни, но будут служить материалом для историков и вдохновением для других писателей до тех пор, пока жива память о прошлом.

Шульгин уже сейчас хрестоматиен.

Судите сами. В наше время из его книг в СССР опубликованы и переизданы «Письма к русским эмигрантам», «Годы», «Дни», «1920», «Три столицы», в которых Шульгин рассказывает о наиболее впечатляющих событиях своей многотрудной жизни мастерски, а главное — умно. Отрывки из них рассыпаны по хрестоматиям и сборникам. Редкий исследователь новейшего времени не цитирует его. И всякий раз изящная и содержательная цитата из Шульгина глядится яркой заплатой на сером рубище научной сухомятины, вздергивая читательский интерес.

В 1922 году в Берлине встретился наконец Василий Витальевич с женой Екатериной Григорьевной: ее с большими приключениями вывез из советской России Владимир Лазаревский, который, однако, не нашел их сына Лялю. Через год Шульгин, поверив в Париже ясновидице, что сын его находится в винницкой психиатрической лечебнице, вступил в контакт с подпольной организацией «Трест», о которой и сейчас трудно сказать, была ли это чекистская провокация или нет. С ее помощью Шульгин тайно посетил Россию и описал свои впечатления в книге «Три столицы». Сына он не видел — тот скончался незадолго до его приезда действительно в винницкой больнице. Однако разразившаяся в эмигрантских кругах кампания по разоблачению «Треста» подорвала его реноме, и он отдался целиком литературе, поселившись в Югославии, где был арестован в 1944 году чекистами, препровожден в Москву и осужден на 25 лет тюремного заключения. В 1956 году его освободили из Владимирской тюрьмы и поместили в инвалидный дом. Однако вскоре он вернулся к литературной деятельности, чем привлек внимание советского руководства, обеспечившего его пенсией и квартирой. Несмотря на свой более чем почтенный возраст, Шульгин писал к русским эмигрантам, проповедуя миротворчество, был одним из создателей впечатляющего фильма «Перед судом истории», работал над мемуарами, поэмами, начал книгу о мистических случаях, имевших место в его жизни... Был гостем XXII съезда КПСС, но отказался от встречи с Н. С. Хрущевым.

До самой своей смерти во Владимире в 1976 году Шульгин не прерывал обширной переписки, правил и дополнял воспоминания.

* * *

В марте 1917 года, когда Шульгин при виде уличной толпы, ворвавшейся в Таврический дворец, исступленно мечтал: «Пулеметов!», в Самаре 18-летний Николай Кочкуров вступил в партию большевиков. Ему, сыну волжского крючника Ивана Кочкурова, окончившему на медные копейки четырехклассное городское училище, работавшему на заводе мальчиком на побегушках, ломовым извозчиком, самой судьбой предназначено было стать классовым врагом тех, кто писал о гибели тысячелетней России либо с ненавистью, либо с чувством примирения с неизбежным злом. Но вышло так, что он стал одним из основоположников русской советской литературы под псевдонимом Артем Веселый и в своем недописанном романе «Россия, кровью умытая», в повестях и рассказах с беспощадной правдивостью изобразил весь ужас гражданской междоусобицы, вызванной то ли непоколебимым желанием осчастливить человечество любой ценой с помощью заемных, иностранных теорий, то ли продолжающейся

и в наши дни попыткой уничтожить страну совсем, потому что она была и остается последним препятствием на пути к мировому господству интернационала сильных и богатых, расчищающему путь «избранному народу».

Юноша Кочкуров верил в теории и стал их пропагандистом. Он делал это в местных газете и театре. Он сражался с восставшими чехами на Южном фронте, работал во фронтовых газетах, был председателем укома партии и чекистом, оказывался то в Тульской губернии, то на Северном Кавказе, разъезжая в агитационном поезде «Красный казак». Весной 1920 года Деникин был уже разгромлен, дымились сожженные города, деревни, станицы, плакали осиротевшие матери и жены, но еще кричали на митингах ораторы, не давая остыть ненависти к поверженному классовому врагу.

«В одно, как говорится, прекрасное утро, — писал потом Артем Веселый, — на перегоне от Тихорецкой к Екатеринодару я поднялся чуть свет, выглянул из окна купе и ахнул. И сердце во мне закричало петухом! На фоне разгорающейся зари, в тучах багровеющей пыли двигалось войско казачье — донцы и кубанцы — тысяч десять. (Как известно, на Черноморском побережье, между Туапсе и Сочи, было захвачено больше сорока тысяч казаков; обезоруженные, они были распущены по домам и на конях — за сотни верст — походным порядком двинулись к своим куреням.) Считанные секунды — и поезд пролетел, но образ грандиозной книги о гражданской войне во весь рост встал в моем сознании».

Теперь мы знаем судьбу этих казаков не только по шолоховскому «Тихому Дону». Изуверство истребительного «расказачивания» по приказам из Москвы общеизвестно. Да и в «России, кровью умытой» встречается намек на зависть исполнителей комиссарских приговоров — рязанских мужиков, живущих в тесноте, духоте, — к казачьей сытости и приволью. На злобной зависти держится вся классовая и национальная рознь. И еще на высокомерии невежества. Кочкуров встречался в Самаре с Гашеком, и тот сказал ему, что в общество справедливости можно войти, «только поднимаясь по ступеням многовековой культуры», на что получил резкий ответ: «Мы ваших университетов не кончали, но и у нас мозги не набекрень». Потом он считал свои слова «позорными».

К роману будущий Артем Веселый подбирался исподволь. Тогда же он в поездной типографии отпечатал и разослал обращение-вопросник к участникам гражданской войны, получил пуды писем, потом изучил горы материалов, рылся в архивах, читал книги...

Прошло четыре года (ученье в Литературно-художественном институте и Московском университете, служба на Черноморском флоте, писание агиток вроде пьесы «Мы», повести «Реки огненные», рассказов, работа над историческим романом «Гуляй, Волга»), прежде чем пришла пора «грандиозной книги».

Словно из блоковских «Двенадцати» вышли герои-матросики «Рек огненных» Ванька-Граммофон и Мишка-Крокодил, в обхлестанных клешах, наглые, нахрапистые, «насчет эксов, шамовки и какой ни на есть спекуляции первые хваты». В мирное время они уже не нужны комиссарам, их вышвыривают с корабля, и остается только мечтать о былой воле. «Взгрустнулось о семнадцатом-восемнадцатом годочке... грабнул раза и отыгрался, месяц живи, в карман не заглядывай...» Даже у Агашки, которую матросы волокут в кусты, «личико пухлое», как у блоковской «толстоморденькой» Катьки.

Блок наблюдал, догадывался, стилизовал. Артем Веселый же был плоть от плоти, кровь от крови получивших дозволение грабить награбленное, что в теории выглядело экспроприацией экспроприируемого, то есть обретенного трудом и талантами, и его художественное свидетельство звучало из первых уст. «Старым социалистам» вроде О. Д. Каменевой было чего бояться, а проще скрывать, поскольку корни их опоры на уголовщину уходили в дореволюционные времена, в бандитские формирования типа «лесных братьев», возглавлявшихся Я. М. Свердловым, появление которого в роли второго лица в большевистском государстве теперь уже не вызывает удивления — его тайной армии убийц коллеги просто опасались.

Блок призывал слушать музыку революции. И эту музыку услышал и записал Артем Веселый в «России, кровью умытой». Недаром он и сам выражался музыкальными терминами, говорил о «музыкальном ладе романа», а главу «Смертию смерть поправ» сопроводил в рукописи примечанием: «Вся глава идет на басовитых нотах и — стремительна до предела». Современные литературоведы любят говорить о «художественном полифонизме» романа.

Каждая глава как бы выпевалась Артемом Веселым. И при чтении слышен рокот, многоголосый гул тысяч народных толп. То, что нам известно под названием «Россия, кровью умытая», носит подзаголовок «фрагмент романа», который писался с 1924 по 1934 год. Главы появлялись в печати постепенно, а также «этюды», законченные небольшие рассказы, «некий продух или пауза музыкальная», по словам автора, готовые войти органично в роман, окончательный план которого составился лишь в 1933 году. Замысел был действительно грандиозный, охватывающий едва ли не все события с 1916 по 1920 год. Из задуманных 24 глав написано было 20, а две еще намечены в этюдах.

Многие склонны символ поворота в народной жизни видеть в эпизоде с мирским быком Анархистом, который рпнулся на поезд лоб в лоб и сокрушен был, размолот чугуном, а поезд прошел дальше, не останавливаясь, потому что на подъеме тормозить нельзя. Это мощнее есенинского символа — жеребенка, пытающегося обскакать поезд.

Роман написан на века, и каждое время будет видеть в его эпизодах свое. Сейчас, живя в нестабильности, в обстановке кровавых вспышек национальной розни и угрозы гражданской войны, мы обращаем внимание на иное в романе. Хотя бы на этюд «Отваги зарево», в котором председатель хуторского ревкома Егор Ковалев судит ветхую старушку графиню, отказавшуюся, чтобы ей завязали глаза перед расстрелом, и сказавшую:

— Кого же вы будете грабить, когда разорите всех нас?.. Да вы, батенька, броситесь друг другу глотку грызть, и вашей звериной кровью захлебнется Россия.

В этюде много жестокости и крови, предрекающих и судьбу самого Артема Веселого, который оправдывал революционную безжалостность. В 1936 году в «Литературной газете» он будет настаивать на репрессиях: «И в нашей партийной писатель-

ской организации с большевистской бдительностью обстояло далеко не благополучно... при обмене билетов выявлен ряд двурушников, примиренцев, врагов партии».

А через год арестуют и его, обвинив в покушении на Сталина. Старые большевики, сидевшие с ним в одной камере, рассказывают, что их общий совсем молодой следователь говаривал: «За что боролись, на то и напоролись!» В Лефортовской тюрьме Артема Веселого каждую ночь уводили на допрос, а под утро приносили, обессилевшего от пыток. Официальная дата смерти писателя — 2 декабря 1939 года, и обстоятельства его гибели еще требуют уточнения.

«Россия, кровью умытая» — это в конечном счете роман о беспощадном русском бунте, и тут уместно вспомнить Пушкина, говорившего о тех, кто затевает у нас бунты, что им чужая жизнь — копейка и своя душка — полушка. Все верно изображено у Артема Веселого — и обрыдшая война до победы, и страдания солдат, оправдывавшие радость при вести о низвержении царя, и повальный уход с фронта, и попытки напомнить солдатам о чести русского орудия. «Хрен с ней, и с честью-то, домой, домой и домой!» И большевистская агитация, улавливающая настроения и потрафляющая желанию все отнять и разделить. Да только не будет этого по достижении цели — «чем хуже, тем лучше». Ни царское правительство, ни Временное не додумались, как предотвращать уход с полей боев. Это Троцкий придумает заградительные отряды с пулеметами позади линии фронта и децимацию — расстрел каждого десятого за отступление.

Сейчас это все уже навязло в зубах, и ловится в романе насущное — «Грузия от России откололась», «не признают ни царских, ни барских, да и самого Христа уже за горло берут...», «под национальные знамена грузины собирают свою армию, армяне — свою, татары — свою», бьют друг друга, режут, жгут во имя поросших травой забвения старых обид. Кабардинцам нужна пушка — «бушка». «Ингуш — собака, чечен — собака, адыге — собака, натухай — собака...» А у русских солдат программа до жути ясная: «Товарищ Ленин сказал: грабь награбленное, загоняй в могилу акул буржуазного класса».

Хотел этого или не хотел Артем Веселый, но он очень отчетливо показал, как с каждым днем революции и гражданской войны жизнь человеческая становилась все дешевле, как убить человека стало, что курчонку голову отрубить. «Ну как, сынок, русскому русского бить не страшно?» — спрашивают в эшелоне солдата. «Сперва оно действительно неловко... а потом, ежели распалится сердце, нет, ништо». Это в начале гражданской, а потом и сердцу не надо распаляться...

И офицеры не лучше. Осознают: «Плохой у нас был император или хороший — история рассудит, но ни один сукин сын не поднял руку в его защиту, ровно все они родились революционерами». Они сами ставили партийные и социалистические интересы выше интересов государственных и национальных. Героизм корниловского Ледяного похода — вынужденный. Зарежут родимые! Поезд их уже ушел, а они на ледяном ветру рассуждают о судьбах революции и социализма. Это верно подметил Артем Веселый, в отличие от нескольких поколений советских историков видевший, что таких монархистов, как Шульгин, у белых было мало, хотя классовую позицию писателя можно проследить даже в

одной отдельно взятой фразе: «Счастливою рукою посланный снаряд сразил Корнилова».

Артем Веселый любовно живописал одного из двух своих главных героев — Ивана Чернoярова, лихого рубаку, страстного, неукротимого, готового «перепахать Россию наново». За такими шли, таких любила революционная вольница, отрицавшая «царский корень», но верившая в «батьку Ленина», инстинктивно монархическая по сути. Русский не может шагу ступить без веры в царя, как бы тот ни называл себя. Это свойство национального характера — бесконечно перечить друг другу и сходиться на признании носителя верховной власти.

Иван Чернояров обречен. Если бы его не повесили белые, расстреляли бы свои. Не во время войны, так после, когда потребовалось единообразие мышления.

Другой герой — Максим Кужель — почти не виден в крестьянской массе, поверившей обещаниям большевиков дать землю. В этом слиянии — удача писателя. И, видимо, Кужеля постигла судьба крестьянства русского...

Но есть у Артема Веселого персонаж, имеющий будущее. Это Филька Великанов из этюда «Филькина карьера», за унылый рост и редкий голосок прозванный Японцем. Озорник, пьяница. Отца отравил мышьяком. При большевиках начал свою карьеру с разъездного инструктора райисполкома, написал идиотский «Доклад в крадцах», а потом «умыриул в милицию».

Однако в первоначальной публикации было другое: «В партию прописался, умырнул Филька в Чеку».

Остались наброски Артема Веселого к продолжению этюда:

«В деревнях бушевали чекисты Упит, Пегасьянц и Филька Японец: о их подвигах далеко бежала славушка недобрая.

...Из Фирсановки попа увезли. Ни крестить, ни отпевать некому — кругом на сто верст татарва...

...Неплательщиков налога купали в проруби и босых по часу выдерживали в снегу.

...Реквизиции и конфискации направо-налево, расписки плетью на спинах».

Троицу вывели на чистую воду. Но Филька был нужен, и его назначили «комендантом могил». Он с конвойцами сопровождал приговоренных и без промаха стрелял в затылки.

Артем Веселый разделался с ним, заставив попасться на мелкой краже. Ну а если бы не попался? Сделал бы небольшую карьеру, под старость был бы на привилегированном положении «старого большевика». Верно, сын такого Фильки и допрашивал писателя в Лефортовской тюрьме, приговаривая: «За что боролись, на то и напоролись!»

* * *

Что впереди? Дай-то Бог, чтобы наша история не развивалась по уже знакомому сценарию: торжество демократии, распад страны, левый переворот, провокационный выстрел очередной Каплан в очередного Ленина, кровавый террор, гражданская война, установление диктатуры проходимцев на десятилетия, уничтожение остатков русского населения согласно схеме, разработанной на неведомом совете нечестивых... Дай-то Бог, чтобы не было нищих русских писателей, помирающих на паперти, либо комму-

ны, либо фондовой биржи, либо бастиона партийной номенклатуры...

Однако времена меняются. В русском народе, кажется, просматривается стойкое отвращение к междоусобному кровопролитию ради «революционных преобразований». Разумеется, швондеры найдут своих шариковых и филек на роли чекистов или носителей мандатов комиссий по расследованию антиконституционной деятельности. Но их ничтожное число, а среди тех, кто посещал демократические митинги и готов был в августе защитить «Белый дом», немало любящих Россию и уже разобравшихся, кто есть кто. Русские люди стали умнее, несмотря на тотальное оболванивание человеческой массы телевидением и многотиражной прессой, захваченной все теми же коммунистами, потомками пассажиров «пломбированных вагонов»: лениных, троцких, дзержинских, лацисов, чуть прикрывших свои зверские лица демократическими личинами.

Хотя поносится само слово «русский», хотя открытое заявление о своей принадлежности к великому народу непременно отождествляется с «шовинизмом», «фашизмом» и прочими ярлыками, позаимствованными из марксистского словаря, мы гордимся своей русскостью. Язык наш покалечен, но не умер, культура наша забита, но не вытравлена, дух наш национальный угнетен, но сопротивляется.

Нет, не все еще потеряно. Пусть малы островки свободного русского слова, но его жадно ловит присматривающееся и прислушивающееся большинство. Оно по-новому осмысляет сказанное некогда Блоком, Буниным, Шульгиным, Артемом Веселым, видит в их судьбах, слышит в их речах предостережение от смуты и взаимоистребления по чужой указке.

Это вселяет великую надежду на преодоление розни, на возрождение святынь и народной нравственности, на былую соборность нашу и возвращение русского народа на его естественный и здравомысленный путь, как это бывало в нашей истории уже не раз.

Зло победить не может.

●

М. Г.: Контактные телефоны редакции для деловых людей и деловых предложений

285-88-86; 285-88-59

Звонить с 12 до 17 час.

Волки и овцы, объединяйтесь!

12 января в Москве состоялась конференция московской региональной организации Национально-Республиканской партии России. Председатель партии Лысенко Н. Н., поздравив присутствующих с официальной регистрацией партии, сообщил, что созданная и действующая в С.-Петербурге НРПР открывает этой конференцией свое московское отделение.

Программное заявление носило характер призывов к единению всех национально-патриотических сил, к возрождению русского национального достоинства. Основной упор сделан на приоритете интересов русского народа — станового хребта Российского государства. Национальная идея должна стать ведущей идеей государственной политики.

Доклад практически не затрагивал экономических аспектов политики партии. По вопросам приватизации и развития частной собственности, сельскохозяйственной политики позиция НРПР оказалась весьма расплывчатой.

Было провозглашено, что НРПР ставит своей целью защиту интересов рабочего класса, трудящихся слоев общества. Этому отвечает и политика привлечения в НРПР бывших коммунистов, хотя в то же самое время Лысенко заявил, что выразителем интересов НРПР он видит зарождающийся класс предпринимателей. Интересно, какой идейный корм будет предложен одновременно и волкам, и овцам, если и те, и другие окажутся в одном загоне и у одной кормушки? Тем не менее конференция посчитала, что она успешно завершила свою работу на данном этапе.

Катунская ГЭС — гибель Алтая

Очередную конференцию, посвященную проекту строительства Катунской ГЭС, провел в Москве Центр Независимых Экономических Программ Социально-Экономического Союза при поддержке Географического факультета МГУ. В работе конференции также приняли участие американские эксперты. Касаясь аналогичных проблем в США, гости из-за океана констатировали тот факт, что подобные проекты никогда не способствовали нормальной экологической обстановке и улучшению условий жизни коренного населения.

Сама идея проекта, рожденная в недрах застоя, когда решалась участь северных рек и разрабатывались планы переброски электроэнергии из Сибири в центральную часть страны, продолжает существовать и воплощаться в жизнь по сей день. В ходе обсуждения были приведены неопровержимые доказательства несостоятельности рассматриваемого проекта как с экономической точки зрения, так и с экологической.

Приводя эти аргументы против строительства, нужно сказать, что у местного населения нет необходимости в ГЭС такой мощности: на Горном Алтае нет крупных потребителей электроэнергии. К тому же ее существование не решит проблему электрификации края, что связано с природными условиями. Экономические подсчеты показывают, что использование малых электростанций, работающих на угле и природном газе, способных самоокупиться в 1—2 года, гораздо выгоднее, чем затянутое на 15 лет многомиллиардное строительство. Нецелесообразно возведение очередного гиганта и для подключения планируемых мощностей в общую энергосистему страны: давно существующие Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС работают не в полную силу, постоянно производя внеплановые сбросы электроэнергии.

Плотина высотой 185 метров создаст водохранилище объемом 7,5 куб. км и затопит территорию в 8 тыс. гектаров. При этом уничтожится уникальная природа, достойная стать национальным парком России. Конечно, по окончании строительства краю достанутся

дороги, бетонные заводы, поселки строителей и прочие атрибуты индустриализации. Но в каком состоянии все это будет после 15-летней беспощадной эксплуатации? И так ли это важно, если саму плотину планируется возвести на месте сопряжения двух тектонических блоков, составляющих Горный Алтай! Перепад масс, возникающий при заполнении и спуске водохранилища, может привести поистине к катастрофическим последствиям.

Мнение участников конференции однозначно: как источник энергии Катунская ГЭС права на существование не имеет. И не прислушаться к голосу разума преступно. Но главным оппонентом по вопросу строительства была и остается верховная власть: законодательная и исполнительная.

Изменит ли что-то в сложившейся ситуации очередное обращение экологов и энергетиков, ученых с мировыми именами, и президенту и правительству России — покажет время. Но завтра спасать будет нечего.

С. РОСТЕГАЕВ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

В связи с переходом на хозрасчет редакция не имеет возможности вести переписку с корреспондентами журнала в прежнем объеме и информирует своих читателей о том, что наиболее интересные письма будут публиковаться столь же широко, как и ныне, но без предварительного уведомления адресата.

Дискуссионная трибуна открыта для всех без исключения! «МГ» постарается учесть в своей работе самый широкий спектр ваших мнений и предложений! От вашего участия зависит популярность и актуальность «Молодой гвардии»!

Редакция не обязательно разделяет точку зрения авторов. Авторы несут ответственность за точность представляемой информации.

Материалы объемом до двух печатных листов, а также фотографии, рисунки не рецензируются и не возвращаются. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.

Главный редактор **Анатолий ИВАНОВ**

Редакционная коллегия: **Сергей БОБКОВ, Анатолий ВАСИЛЕНКО, Валерий ГАНИЧЕВ, Вячеслав ГОРБАЧЕВ** (заместитель главного редактора), **Александр КРОТОВ** (ответственный секретарь), **Михаил ЛОБАНОВ, Александр МАЛЫШЕВ, Петр ПРОСКУРИН, Юрий СЕРГЕЕВ, Иван УХАНОВ, Владимир ФИРСОВ, Валерий ХАТЮШИН, Евгений ЮШИН.**

При перепечатке ссылка на «Молодую гвардию» обязательна.

Главный художник Ю. Киселев

Технический редактор Н. Строева

Сдано в набор 13.03.92. Подп. к печ. 07.04.92.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага кн.-журнальная. Печать высокая.
Усл. печ. л. 15,12. Усл. кр.-отт. 15,75. Уч.-изд. л. 21,8.
Тираж 279 000 экз. Заказ 2273.

Типография Акционерного общества «Молодая гвардия».
103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 1992 ГОДА ПРОВОДИТСЯ В МАЕ — ИЮНЕ

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины на абонементе проставляется оттиск календарного штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выдается с квитанцией об оплате стоимости подписки (переадресовки).

ЦЕНА ОДНОГО НОМЕРА — 40 РУБ.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СУДЬБА ЖУРНАЛА В ВАШИХ РУКАХ!

Для оформления подписки на журнал, а также для переадресовки издания бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах «Роспечати».

Заполнение месячных клеток при переадресовке издания, а также клетки «ПВ — МЕСТО» производится работниками предприятий связи и «Роспечати».

Уважаемые товарищи! Абонементный бланк, оборотную сторону которого вы видите перед собой, облегчит вам подписку на наш журнал. Дополнительная подписка на второе полугодие 1992 года производится во всех почтовых отделениях и учреждениях «Роспечати» в мае — июне без ограничения. В розничную продажу журнал практически не поступает. Подписная цена на «Молодую гвардию» на полугодие — 240 руб.; на три месяца — 120 руб.; на один месяц — 40 руб.

Подписываясь на журнал «Молодая гвардия», вы поддерживаете возрождение Отечества!

Ф. СП-1

Министерство связи СССР
«Союзпечать»

АБОНЕМЕНТ на ~~газету~~ журнал | 70544 |
(индекс издания)

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
(наименование издания)

Количество комплектов:

на 19 ___ год по месяцам											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда
(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

ПВ | место | ли-тер | на газету журнал | 70544 |
(индекс издания)

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
(наименование издания)

Стоимость	подписки	___ руб. ___ коп.	Количество комплектов:
	переадресовки	___ руб. ___ коп.	

на 19 ___ год по месяцам:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда
(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)



Татьяна ГЛУШКОВА

Семьдесят лет журналу... Долгий путь. И были на нем разные вехи, достойные пристального внимания историка нашей страны, историка нашей литературы. Я же выделяю для себя — из всего многогранного 70-летия — последние 7 лет, трагические годы «перестройки», когда журнал, на мой взгляд, приобрел качество ГВАРДЕЙСКОГО — как можно его назвать по аналогии с боевою дивизией.

Все семилетие не сходил и не сходит он с линии огня, не отзывает себя — своих авторов — с передовой, не выпускает священного знамени борьбы за великую Родину, за наше Отечество, за Россию. Раньше всех прочих изданий упорней, бесстрашней развернул он исследование величайшей в истории человечества БЕДЫ, катастрофы, которая нарекла себя скромным именем «перестройки», утаивая до поры свои губительные цели от народа нашей страны. Яснее всех прочих изданий высветила «Молодая гвардия» фигуры нелюдей, палачей, кровавых предателей, которые уничтожили наше великое государство, дабы приступить к беспримерному геноциду народов нашей страны и в первую очередь — славянских. Разоблачая международных преступников — от Троцкого, Ленина, Свердлова, Бухарина и их соратников до их подлейших последышей — современных демократических президентов, лакеев мирового правительства,— «Молодая гвардия» последовательно защищала все эти годы тех, кто боролся и борется за правое дело — и палестинский, и иракский, и сербский народ,— и спасала тем самым честь русской нации, честь великодушной России. Как не гордиться столь благородной, мужественной позицией героического журнала?! И хотя отдельные публикации вызывают на спор, стержневая линия этого патриотического издания и бесстрашие, с которым она проводится, составляют славу отечественной журналистики и заслужат самую благодарную оценку Истории вопреки нынешней хуле и клевете на журнал со стороны транснациональных человеконенавистников, мечтающих о «конце Истории», о конце нашей России.

Как бы ни были тяжки гонения на русское слово, русскую мысль, русское чувство, я знаю: мы умрем, но на колени не встанем. Ни перед мафией «мирового сообщества», ни перед местными «цивилизаторами» с их неуемной «демократической» ненавистью к России — ненавистью к каждому из нас!